

# ТАТЬЯНА ПАВЛОВА

## ЗАКОН СВОБОДЫ

### Повесть о Джерарде Уинстэнли

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### СЕКТАНТЫ

*«То было наилучшее и наихудшее из времен; пора высшей мудрости и высшего безумия, время горячих верований и полного безверия, наступление света и царство тьмы, весна юных надежд и зима отчаяния...»*

ДИККЕНС

#### 1. ДОЖДЛИВЫЕ СУМЕРКИ

«Не я одна такая, — убеждала себя мисс Элизабет Годфилд, глядя в решетчатое окно на унылый ноябрьский дождик. — Девушка, которой не везет с женихами, в наше время — не диво. Время-то какое... Брат восстал на брата, и сын на отца... Кровь льется по всей Англии который год... Что уж мне жаловаться на судьбу».

Мир и впрямь треснул по швам, вздыбился, и то, что было всегда дном, вызываяще вылезло наружу. Седьмой год уже шла борьба между королем и парламентом — борьба изнурительная и беспощадная.

Палата общин с 1640 года почувствовала за собой силу небывалую ранее и потребовала от короля уступок: свободы от произвольных арестов, штрафов, поборов. Она настаивала на отстранении от власти расточительных наглых фаворитов и главное — на отмене епископальной церкви, этого разжиревшего паразита на теле страны. На стороне парламента выступили лучшие умы Англии — публицисты, знатоки законов, пуританские проповедники. Начались волнения крестьян и горожан. И так сильно оказалось сопротивление парламента монархической власти, что уже через год он начинает одерживать первые победы: вот голова королевского наместника в Ирландии, всемогущего «черного графа» Страффорда скатилась к ногам палача на Тауэр-хилле; вот и мрачный догматик архиепископ Лод обвинен в государственной измене. И, взбешенный провалами, Карл первым бросает вызов: 22 августа 1642 года королевский штандарт возносится в Ноттингеме, призывая королевских вассалов с оружием в руках защитить суверена от посягательств непокорных подданных.

Элизабет помнила, как отец уходил на войну, в новую армию, армию непокорных подданных, которую набирал полковник Кромвель. Потом туда записался и Генри — ее брат. Кобэм, городишко в Серри, где жили Годфилды, будоражили слухи о блестящих, невиданных победах: вот королевские войска разбиты при Уинсби; вот доблестный Кромвель, теперь уже генерал и заместитель главнокомандующего, одерживает верх при Марстон-Муре, а потом при Ньюбери. Вот, наконец, решительная битва при Нэсби — и армия роялистов разбита наголову. Король бежит, он сдается в плен шотландцам, а те выдают его парламентским войскам за солидную мзду. Его привозят в Лондон и помещают в старом загородном дворце Гемптон-Корте, на берегу Темзы, совсем недалеко от Кобэма. Но

беспокойство в стране не утихает. Новая партия — левеллеры — требует суда над королем и введения республиканской конституции. И бог знает, что еще придется пережить бедной истерзанной Англии...

Девушка вздохнула и посмотрела на мокрую дорожку сада. От дома к калитке удалялись три женские фигуры: посредине шла, переваливаясь с боку на бок, ее мачеха — полная приземистая дама в огромном чепце и большой теплой шали; по бокам семенили две тощие и прямые, словно жерди, дочери. Сводные сестры мисс Элизабет и их мать вышли на обычную послеобеденную прогулку, которая состояла из обхода все тех же никогда не надоедающих лавок: кондитерской, галантерейной и «Сукна, ткани, заморские товары». Лавки эти они посещали с таким же рвением, как воскресную проповедь в церкви: мода на платье, мода на пуританское благочестие — была ли для них какая-нибудь разница?

Элизабет вздохнула еще раз, провела рукой по аккуратно причесанным светлым волосам, поправила белую косынку у ворота. Серые глаза задумчивы. Ей шел уже двадцать четвертый год — возраст, решающий для девушки. А с женихами ей и вправду не везло. Из деревенских молодых людей, сыновей фригольдеров и мелких дворян, с которыми она встречалась в местном обществе, взгляда остановить было решительно не на ком. Их речи, полные житейских забот и немудреного сельского остроумия, наводили на нее тоску. И Элизабет все ждала, поглядывая на Портсмутскую дорогу, невесть какого заезжего принца, который смог бы победить ее ясный ум и волю своим превосходством. Но такого не находилось, и годы шли в занятиях чтением — она часами просиживала в отцовской библиотеке, в одиноких прогулках, дозволенных деревенской свободой, и размышлениях — по утрам и особенно вечером, в сумерки, когда на холм святого Георгия опускалась мгла и туман сгушался над Молем. Она мечтала и размышляла о жизни.

Дела отца шли туго. Его земельная собственность едва превышала размеры усадьбы и огорода; два арендатора, служившие также в конюшне и в доме, в счет не шли. Семья жила на армейское жалованье, а его последнее время платили очень неаккуратно.

Ах, отец, отец... Один из ведущих полковников Армии, он прошел вместе с Кромвелем через Марстон-Мур и Нэсби, был ему другом и опорой, но не мог и не хотел выпрашивать себе чины и подачки. Элизабет вспомнила маленькую фигуру, бледное лицо с пушистыми светлыми усами, его всегдашнее молчание, и слезы набежали ей на глаза. Где он теперь? В Лондоне, в Виндзоре? Он любил ее больше других дочерей, она это знала. Она была похожа на покойную мать. Но после второй женитьбы — на особе мелочной, корыстной и вздорной — он мог выделить Элизабет более чем скромное приданое. А недавно, в последний краткий приезд в Кобэм, нашел ей наконец жениха.

Девушка невесело усмехнулась. Мистер Патрик Платтен, эсквайр, вдовец, был пастором в соседней деревне Уолтон. Он, конечно, безусловно порядочный человек. Это прямо-таки написано на его гладком с залысинами лбу и выбритых мясистых щеках; порядочностью веяло от его пасторского одеяния, даже, кажется, от больших ушей и редящихся седоватых волос. Но почему ей постоянно хотелось спорить с его размеренными правильными речами?

Элизабет подчинилась выбору отца без сопротивления, хотя особых чувств к мистеру Платтену не испытывала. Она угадывала даже, что и отцу новый избранник не очень-то по душе. Он был пресвитерианином, а отец, сам принадлежавший, как и Кромвель, к независимым — индепендентам, пресвитериан вообще недолюбливал. Они могут общаться с богом, повторял он, лишь с помощью кальвинистского катехизиса. Но отступать было поздно: слово дано, и Элизабет, смирившись перед судьбой, готовилась к лету стать женой этого человека.

Но где же Джон? Девушка уже с беспокойством всмотрелась в сумрак за окном. Дождик все сеял, лужи перед крыльцом уныло растекались. Тревога о мальчике жила в ней постоянно с тех пор, как она поняла всю безнадежную глупость его матери. За этого болезненного и смешного ребенка в отсутствие отца и Генри отвечала именно она, Элизабет. Сам Джон и все в доме это понимали, и если с мальчиком что-нибудь случалось, бежали

всегда к ней.

Джону уже стукнуло четырнадцать. Сейчас он наверняка в таверне, на окраине села, и кто знает, чего он там наслушается! С некоторых пор там собирался странный и сомнительный люд. Элизабет их побаивалась. Какие ереси они проповедовали! Едва воздух свободы повеял над Англией, едва парламент прогнал епископов, многим показалось, что теперь можно все — верить и молиться, как хочешь, исполнять невиданные ритуалы, проповедовать что угодно. Были сикеры — ищущие бога, были уэйтеры — ожидающие его пришествия, были милленарии, которые молились об установлении Тысячелетнего царства Христа на земле, были баптисты и анабаптисты, беменисты и фамилисты, адамиты и антитринитари...

Элизабет плохо разбиралась в их доктринах, но со слов жениха, пастора Платтена, а больше того — со слухов, которыми полнился дом, знала о них ужасные вещи: они отрицали святую Троицу и воскресение Христа; не верили в бога и дьявола и говорили, что все в мире произошло «само собой, по природе». Каким восторгом горели глаза Джона, когда он все это рассказывал! Мальчишки не пропускали ни одного из таких чудачков, они вихрем носились вокруг толпы, молчаливо внимавшей горячечным речам. В пуританской Англии, где театр, воскресные развлечения, праздники и обряды были запрещены и даже игры на лугу в воскресный день считались грехом и богохульством, проповедники стали главным развлечением и источником новостей. Таверна или базарная площадь, где они говорили перед толпой, заменила юнцам и церковь, и домашнюю гостиную, и танцевальную лужайку.

Элизабет смотрела на дорогу. Смеркалось. Порывы ветра то усиливали, то ослабляли шум дождя, оголенные ветви вязов метались, ударяясь друг о друга. Если зажечь свечу в комнате, за окном будет совсем темно. Но вот — наконец-то!

По темной дорожке, глядя вверх на окна и потому как бы нарочно ступая в самые глубокие лужи, шел большими прыгающими шагами худенький долговязый мальчик с нежным открытым лицом и улыбался. Дождя и ветра он не замечал. Тонкая шея беззащитно белела над застежкой плаща, шляпа съехала набок. Увидя сестру в окне, он замахал руками и принялся что-то кричать и объяснять ей жестами, не в силах дотерпеть до встречи. Элизабет просияла, зажгла свечу и пошла вниз.

В большом зале сразу запахло дождем, свежестью, стало весело.

— Бетти, — возбужденно тараторил Джон, выбираясь с ее помощью из мокрой одежды, — ты не представляешь, как там было интересно! Ты знаешь, скоро будет конец света! Совсем скоро, в будущем году! Придет Христос и будет править нами тысячу лет!

Он победоносно взглянул на нее и, пока она усаживала его на стул и помогала стягивать с длинных детских ног облепленные грязью сапоги, продолжал, захлебываясь словами:

— Там был один... Он сказал, что первый ангел уже вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, а деревья и трава сгорели... Понимаешь, град — это мушкетные пули, а огонь, дым — от выстрелов. Война с королем! Теперь второй ангел вострубит, и огненная гора низвергнется в море. Потом третий — и упадет звезда-полынь, и все реки станут горькими. Он так страшно говорил: горе, горе живущим на земле... — Глаза мальчика остановились, он замолчал, еще раз переживая услышанное. Стало заметно, что он косит.

— А кто там еще был? — спросила Элизабет.

— Много... И из нашей деревни, и незнакомые... Одна женщина мне говорит: ты хороший мальчик, приходи вечером, будем бога искать. Бетти, я обязательно пойду! — голос его стал требовательным. — Я хочу знать про конец света! А матушка где?

— Сейчас придет. Джон, у тебя и панталоны все мокрые, пойдешь наверх переоденешься. Возьми теплое питье там, на камине. Джонни! Не надо тебе никуда ходить сегодня вечером, — добавила она. — Такой дождь на дворе и холод...

— Пустяки! — в голосе Джона зазвучали совсем детские, петушинные нотки, — Дождь пустяки, главное — узнать, когда это будет. Ведь мы должны подготовиться. Бетти, мы тогда, наверное, уйдем из дома и будем ходить с Христом по всему миру, как апостолы. И

имение свое раздать — ведь все будет общее.

Входная дверь стукнула и распахнулась.

— Ну вот, опять лужа на полу! И убрать некому! Вы-то что стоите, позовите кого-нибудь, чтобы вытерли. Джон! Ты где бегал, скверный мальчишка? Я тебе сколько раз говорила, чтобы ты из школы сейчас же шел домой! Ну помогите же мне развязать этот узел, я не могу снять шаль!..

Покойный и ласковый уют дома сразу улетучился. Мистрисс Годфилд обладала удивительной способностью всюду, где она появлялась, вносить с собой дух раздражения и напряженной враждебности. Пока они возились у двери с мокрой одеждой, Элизабет повела Джона наверх, подальше от материнского гнева; служанка захлопотала у очага. Старый Томас зажег свечи, и тьма плотнее облегла дом снаружи в этот сырой и ветреный вечер 11 ноября 1647 года.

## 2. ПИСЬМО

Все стояли вокруг стола у своих мест. Джон, как единственный теперь мужчина в семье, заученно прочел молитву. Затем все сели и принялись за ужин.

— Ты знаешь, Бейкер закрывает лавку и уезжает в Голландию. — Мистрисс Годфилд обернула лоснящееся жующее лицо к Элизабет. — Сукно кончается, ни атласа, ни бархата нет... На прошлой неделе я покупала шелковую тесьму по пяти пенсов за фут. Слыхано ли!

Средняя сестра, Френсис, скорбно опустила глаза.

— Что ж, скоро будем и сукно носить домотканое, и башмаки, сшитые Томасом. И так уже ходим бог знает в чем, — она с презрением приподняла краешек светлой косынки.

— А парижская булочка стоит теперь не полпенни, а полтора! Чем я буду кормить голубей? — хихикнула смешливая Анна.

— Помолчи со своими голубями! Тут самым неизвестно как прокормиться! — мачеха поспешно уплетала яблочный пирог, словно он был последним в ее жизни.

— Парижские булочки, мисс! — Томас, убиравший тарелки, покачал головой. — Что булочки! А вот когда горох, или рожь, или овес тянут по сорок шиллингов за четверть, тогда хоть ложись и помирай!

— Многие голодают, — сказала Элизабет. — Колтоны — знаете, третья хижина от реки — вернули лорду землю. Им троих солдат в дом поселили. Ренту им не уплатить. Что с ними будет...

— При чем тут Колтоны! — мистрисс Годфилд словно обрадовалась новому случаю возмутиться. — Мало ли что они не могут платить! Работать не хотят, вот и не могут! Да и какое мне дело до этих Колтонов, я говорю про нас. Вашему отцу опять задержали жалованье. Нет, что ни говорите, а при его величестве жилось спокойнее.

— Мама! — голос Джона возмущенно зазвенел. — Ну что ты говоришь! Король заставлял платить корабельные деньги... И молиться надо было в церкви по этой дурацкой книжке, я же помню!

— Что ты помнишь? — визгливо воскликнула мистрисс Годфилд. — Тебе было восемь лет, когда все это началось. Я говорю, при короле был порядок. А сейчас даже неизвестно, кто нами правит.

— Как кто, парламент!

— Парламент? А почему армия держит короля взаперти? Кто главный человек в стране: спикер Ленталл? Нет, и мы все это знаем. Главный человек — Кромвель, как он захочет, так и будет. А его помощники! Твой отец сам говорил: в Армии старшие офицеры — сплошь мастеровые! Майор Харрисон — сын мясника! А полковник Прайд — ха-ха! — извозчик!.. Нет, уж лучше поклоняться королю. Он унаследовал престол по закону, и манеры знает, и одет, как подобает, а не этому... мужлану!..

Джон поперхнулся пирогом и закашлялся. Анна фыркнула и дернула его под столом за штанину. Томас выпрямился, торжественно унося блюдо.

— Вы, верно, забыли, — ни на кого не глядя, сказала Элизабет, — что отец служит под командой генерала Кромвеля. И Генри — тоже офицер его Армии. И все мы...

Дробный, поспешный стук копыт послышался у самой двери, кто-то тяжело спрыгнул на землю, и сразу грохнул входной молоток. Сидевшие за столом переглянулись, Джон побледнел и вскочил с места, вслед за ним встала Элизабет. Томас двинулся к двери.

— Кто здесь? — спросил он.

— Гонец! — прокричал снаружи глухой голос. — Вам письмо от мистера Генри!

— Фу ты, боже мой, — произнесла мистрисс Годфилд. — Как он меня напугал!

Томас меж тем торжественно внес письмо и с поклоном передал Элизабет. Оно и впрямь было от Генри, ее родного брата. Это его появление на свет двадцать лет назад стоило жизни их матери. Обрадованная, порозовевшая Элизабет сломала печать.

— Читай скорее... — заторопили ее со всех сторон.

— О, он сейчас совсем близко от нас, в Петни! «Дорогая сестра, прости мое долгое молчание. Меня и самого мучит совесть, но если бы ты знала, что творится сейчас в Армии, ты бы все поняла. Теперь же я всего в каких-нибудь 20 милях от вас; не написать было бы настоящим преступлением. Полк наш стоит в Сент-Олбансе, но меня вместе с другими агитаторами послали сюда, в Петни. Здесь с 28 октября заседает Совет Армии. Они сидят в церкви св. Марии — генерал-лейтенант Кромвель, его зять Айртон, проповедник Хью Питерс и наши, агитаторы. Отец тоже там, он занят с утра до ночи, и я его почти не вижу. Они все спорят о новой конституции. Мы хотим, чтобы было принято „Народное соглашение“; только тогда кровь, пролитая в войне, будет оправдана...»

Три отдельных громких удара сотрясли дверь, но на этот раз стук никого не испугал. Так стучал к ним лишь один человек. Элизабет еще больше порозовела и не подняла глаз от письма. Вот это неожиданность! Он ведь был в Лондоне!

— Этого еще не хватало, — пробурчал Джон.

— Томас, ну скорее же открывай, как ты возишься! — прикрикнула заметно оживившаяся хозяйка. — Это мистер Патрик!

Дверь отворилась и вместе с порывом сырого ветра впустила одетого в черное высокого человека. Он церемонно поклонился сидящим за столом, отдал Томасу плащ и шляпу, подошел к мистрисс Годфилд и поклонился еще раз. Затем взглянул на Элизабет и в третий раз склонил полнеющее тело в почтительном поклоне.

— Я только утром из Лондона, — сказал он с уверенностью человека, сознающего непререкаемую важность своих слов. — Дела поместья... Пять держателей отказываются от краткосрочной аренды! Они не могут платить ренту. Но я тоже не могу им ничем помочь. Не моя вина, что цены растут и жить становится тяжелее. Я и приехал дня на три, они там в парламенте пускай без меня... И заодно повидать вас...

Он снова взглянул на Элизабет и с достоинством уселся к столу на указанное хозяйкой место. Джон насупился: он недолюбливал пастора.

— Да... — говорил меж тем мистер Платтен, со вкусом прожевывая телятину и запивая ее домашним пивом, — а в Лондоне беспокойно. Все почтенные члены парламента, да и Сити, возмущены этими агитаторами... левеллерами... уравниателями... Вы подумайте, они собираются отдельно от офицеров, составили свою конституцию и требуют всеобщего избирательного права! А к чему это поведет? К хаосу! Уж лучше договориться с королем...

— Ну, что я говорила? — мистрисс Годфилд победоносно оглядела домашних. — Я совершенно с вами согласна. А кто эти левеллеры?

— Видите ли, — Платтен охотно стал объяснять, — левеллеры — это всякий сброд из подмастерьев, лавочников, солдат... Они хотят распустить нынешний парламент и собрать новый, но так, чтобы выбирали в него не почтенные люди, имеющие, как оно и справедливо, сорок шиллингов годового дохода, а все достигшие двадцати одного года — независимо от состояния...

— Как все?

— Вот так, буквально все, все англичане.

— Так что же, и Томас наш будет избирать в парламент? И кучер?

— Именно так. И Томас, и кучер, и последний бродяга.

— Но их же вон сколько! Кого же они выберут?

— Вы совершенно правы, сударыня. Произойдет раскол, нарушится единство нации и церкви. Мы, избранный богом народ, не можем такого допустить. Главари этих смутьянов, некто Джон Лилберн, теперь находится в тюрьме. А в Петни, неподалеку отсюда, сейчас заседает армейский совет. Я надеюсь, Кромвель и генералы не позволят опасным принципам одержать верх.

— Пойдите, ведь об этом совете пишет Генри! Бетти, ты не дочитала письма! — Джон затеребил сестру. — Ну читай же, читай дальше!

Элизабет посмотрела на Платтена. Тот кивнул.

— «...Наши хотят, чтобы было принято „Народное соглашение“; только тогда кровь, пролитая в войне, будет оправдана. Но генералы против. Мы писали в „Деле Армии“, что права короля после войны, которую он развязал, недействительны перед законом, ибо основой справедливого правительства является свободный выбор представителей. Полковник Рейнсборо прав: самый бедный человек в Англии вовсе не обязан подчиняться власти того правительства, в образовании которого он не участвовал...»

Элизабет запнулась и подняла глаза на Платтена.

— Продолжайте, — великодушно разрешил он.

— «...А они хотят сохранить монархию, что, по-моему, гораздо более опасно, чем перемены в правлении. Сейчас возвращение к королевской власти — это предательство прав народа. Мы потребовали усилить стражу над королем в Гемптон-Корте и удалить оттуда придворных шаркунов. А некоторые у нас думают, что король и есть тот самый Человек Кровавый, о котором сказано в Писании, и что нужно привлечь его к ответу...»

— Короля к ответу? — встрепелась мистрисс Годфилд. — Какой вздор!

— Нет, это не вздор, — веско ответил Платтен.

— «Хуже всего, — голос Элизабет дрогнул, — что отец вместе с генералами. Он, правда, не выступал открыто, но я знаю, он держит сторону Кромвеля. Элизабет, я очень люблю отца и всегда почитал его. Но свобода Англии дороже. Если мне придется умереть за дело народа, за его прирожденные права, — я, не задумываясь, предаю свою душу богу, и пусть он рассудит меж нами!...»

Она подняла голову. Все молчали. Мистер Патрик, сознавая свою роль духовного руководителя семейства, обдумывал первую фразу.

— Конечно, — сказал он неторопливо и задумчиво, — мы в страшной опасности. Я говорил это в парламенте и опять скажу по возвращении. Мы не должны допустить разгула черни. Что для нас важнее всего? Единство. Англия — тот Новый Израиль, который выведет весь мир к истинно божьему царству, к Новому Иерусалиму. А для этого нужна прежде всего дисциплина, подчинение духовному руководству единой пресвитерианской церкви. Генри отличный воин, мне искренне жаль, что он делает такую роковую ошибку...

По всему было видно, что речь предстоит долгая, женщины терпеливо приготовились слушать, и только Элизабет с беспокойством поглядывала на Джона. Тот насупился и ковырял пальцем стол. А мистер Патрик, с видимым удовольствием слушая себя, продолжал:

— Они толкуют о прирожденном праве. Сам факт, что они родились в Англии, дает им право на воздух этой страны, на ее солнце и воду. Но это совсем не означает вседозволенность, или, как они говорят, свободу. Сейчас они заявляют, что имеют право избирать в парламент, хотя у них нет ни гроша за душой, а завтра скажут, что свободны и от власти парламента, и от любого правительства. А потом схватятся за оружие и повернут его против всякого, кто не согласен подчиниться их воле! Они требуют призвать к ответу его величество! Они требуют, как они это называют, «свободы совести»! Не кажется ли вам, что эти притязания могут завести слишком далеко? Что они скоро потребуют свободы жить, где им вздумается? Общности имуществ? Общности жен?

Взор мистера Патрика обратился к Элизабет. Его логика казалась безупречной. Но она

все же осмелилась:

— А бедные? Они тоже люди...

Платтен будто только того и ждал. Гладкое лицо покраснело, рука взлетела над столом, подобно карающей деснице.

— Бедные, говорите вы! А вы знаете, сколько сейчас бедных? Посмотрите на дороги! Зайдите в ночлежки! Попробуйте проехать ночью по лесу! Бедные плодятся, как блохи, от них нет никакого спасения. Они не желают работать, только едят. Один наш приход кормит почти сто бездельников. Дай им волю, они пожрут нас с нашими землями и домами в придачу. С бедными надо поступать просто: собрать всех в работные дома и заставить трудиться. Пусть сами содержат себя. И запретить им плодиться, чтобы не было нищих детей. В церковь войти невозможно — попрошайки за полы хватают.

— А между прочим, скоро вообще никаких бедных и богатых не будет. Между прочим, скоро будет конец света, и еще неизвестно, куда отправятся ваши пресвитериане: может быть, прямо в ад!

Платтен ударил ладонью по столу.

— Откуда здесь сектантские речи! Неужели чума ереси проникла и в этот дом? Джон, где ты этого наслушался?

— Он в таверну после школы ходит, — наябедничала Анна.

— А-а, в таверну! То-то я чувствую, повеяло зловонным духом схизматиков! Ты знаешь, кто проповедует в таверне? Все эти лодочники и ткачи, пуговичные мастера и извозчики годны лишь на то, чтобы удивлять и забавлять таких же невежд, как они сами. Они воображают, что сидят в кресле Моисея, и наставляют всех как посланцы высших сил. Они берутся раскрывать тайны всемогущего господина и спасать человеческие души. Знай же: слушать, как они говорят о святой Троице, о божественном предопределении и других глубоких богословских материях, — все равно что слушать сумасшедших в Бедламе. Не ходи к ним, Джон, ума не наберешься.

— Сумасшедшие? Да они знают Писание не хуже любого... пастора! — Джон выговорил это слово с презрением. — Это мы живем во тьме... А сейчас идут последние дни, скоро все кончится! Да, да, будет конец света!..

Он выхватил из кармана какие-то листки и потряс ими:

— Дай-ка сюда, — Платтен властно протянул руку. — Ты уже и памфлеты их читаешь. Дай-ка я посмотрю. Так, так... «Предсказания Мерлина»... «Сверхъестественные знаки и явления»... «Пророчества белого короля»... Это астролог, доктор Лилли. — Он раскрыл наугад и прочел:

— «Марс в третьем доме предвещает войны и убийства... Знатные и дворяне древних кровей приходят в упадок... Низший сорт людей возвышается»... Гм, это пока все правильно. Постойте, вот и о короле: «Перед концом концов произойдет обуздание монархической власти; король потерпит страшное поражение; конец его будет ужасен».

Он строго посмотрел на Джона:

— Ты знаешь, что за такие предсказания можно попасть в тюрьму? Мне известно, кто в парламенте за них платит! Ты стоишь на опасной дороге, Джон. Мистрисс Годфилд! Вы обязаны материнской властью запретить мальчику ходить на эти сборища. Его отец в Армии, он занят важными государственными делами, а старший брат... гм... тоже, боюсь, не по правильному пути идет. Я, как будущий член вашего семейства, обязан вас предостеречь. Будь это мой сын, я запер бы его дома.

— А я тебе что говорила! — сразу накинулась на мальчика мать. — Я тебе запретила ходить к этим негодьям! И не смей возражать! Они тебя не такому еще научат! Я теперь буду в школу за тобой присылать Томаса, пусть приводит тебя за руку!

— Да? За руку? Может, еще в тюрьму посадите?

Джон вскочил, стул за ним с грохотом упал на пол.

Неистовое мальчишечье бешенство охватило его.

— Вы вообще не распоряжайтесь в нашем доме! — закричал он опешившему

пастору. — Вы здесь никто... Отца нет, и Генри нет, и вы не имеете права... Мама! — мальчик чуть не плакал. — Ты его не слушай! Никто не слушайте!.. Убирайтесь вон!.. Вон отсюда!..

Он сжал кулаки и стал наступать на Платтена. Шея пастора налилась кровью.

— Замолчи, скверный мальчишка! — завизжала мистрисс Годфилд что было силы. — Я прикажу тебя высечь! Замолчи, или я пошлю за кучером!

— За кучером! Хорошо! Посылайте! Я вас всех ненавижу! Я от вас убегу! Совсем убегу!..

Он повернулся и бросился вверх по лестнице. Слышно было, как грохнула дверь, он крикнул что-то еще, и все затихло.

### 3. ВСАДНИКИ НА ДОРОГЕ

Как только мистер Патрик раскланялся, хозяйка встала и приказала всем идти спать. Угли в камине давно подернулись пеплом, одна свеча, догорев, чадила. Томас запер за гостем дверь и заложил засов на ночь.

Скоро дом погрузился в тишину. Элизабет на цыпочках подошла к двери, которая вела в комнату мальчика.

— Джонни! — прошептала она и легонько подергала ручку. — Джонни, открой, это я!

Молчание. Элизабет нажала, и дверь растворилась. В темноте она двинулась к кровати, отдернула полог и протянула руку к изголовью, чтобы погладить, ощупать, обнять дорогую вихрастую голову. Но рука ощутила холодную гладкую подушку, ворс одеяла... Постель была пуста.

Девушка дрожащими руками нащупала на столе свечу, трут, огниво и, стараясь сдержать дрожь, со второго раза высекла огонь. Зажгла свечу, подняла ее над головой. Комната была пуста. Стол намок от бивших в окно капель, решетчатая створка приотворена. Элизабет подбежала, распахнула окно и высунулась наружу. Резкий сырой ветер обдал холодом, темные облака проносились низко над домом. Внизу шелестели облетевшие кусты жасмина. Неужели он прыгнул? Она ощупала нижнюю раму снаружи и вытянула болтавшийся кусок веревки. Мальчик не такой дурень! Теперь надо было решать, что делать.

Он, конечно, побежал в таверну, в этом не могло быть сомнения. Элизабет вспомнила: там сегодня собираются искать бога. Он убежал, наверное, больше часа назад, а то и раньше...

Она взяла свечу и спустилась по лестнице в нижнюю залу. Дом спал, все было погружено во мрак. Зашипели и стали отбивать четверти старые часы в столовой. Элизабет остановилась, досчитала до конца: двенадцать. Пора бы ему и воротиться. Она подошла к двери, сняла засов, открыла замок и выглянула наружу. Никого. Где-то скучно лаяла собака. Ветер налетал порывами, обдавая каплями — то ли с голых деревьев, то ли из низко пробегающих облаков. Господи, подумала она, скорее бы он пришел. Она постояла еще, прислушиваясь, потом закрыла дверь, прошла несколько раз по зале, опять постояла. Потом быстро поднялась к себе и через минуту вышла в чепце и теплой шали. Она пойдет ему навстречу. И если он еще сидит в таверне — приведет его домой.

Днем добраться до таверны, стоявшей при въезде в городок со стороны Лондона, было пустяшным делом: широкий разбитый проселок шел сначала мимо заросших деревьями усадеб, затем, повторяя движение невидимой реки, круто сворачивал влево, к мосту через Моль, а оттуда, не пересекая моста, направо, на Лондон. Но ночь, одиночество и скверная погода, казалось, удесятярили расстояние. Из тьмы выступали не замеченные днем уродцы: то колючий куст протягивал цепкие ветви чуть ли не на середину дороги, то камень неясной глыбой преграждал путь; ноги вязли в глубокой скользкой колее, подол быстро намок и тяжело бил по щиколоткам. За ближним забором, потревоженная шагами, залилась собака, ей визгливо ответила другая, третья...

Вот наконец поворот. Элизабет заспешила, поскользнулась и чуть было не упала в



грязь. И в этот самый миг где-то сбоку затрещали кусты и на дороге возник всадник. Девушка замерла на месте. Всадник придержал танцующего нервного коня, оглянулся, пригнул голову, всматриваясь в одиноко застывшую фигуру.

Сердце Элизабет бешено заколотилось, она оглянулась на кусты, готовая уже прыгнуть туда, и вдруг услышала всхрап еще одной лошади и тихую возню. Она была окружена; горло захлестнуло от неистового волнения.

Всадник меж тем спешил и, все еще всматриваясь, приблизился к ней. Он был высок ростом и плотен, длинные волосы изобличали кавалера<sup>1</sup>; одно из перьев на шляпе, намокнув, свисало вниз.

— Не бойтесь, мисс, мы не причиним вам вреда, — сказал он тихо. — Вы ведь, наверное, здешняя; не укажете ли дорогу на Портсмут?

— Ежели вы хотите через Гилфорд, — ответила она чужим, тусклым от волнения голосом, — надо ехать через этот мост и там, за озером, первый поворот налево.

— А есть еще другая дорога?

— Да, есть другой мост, он ведет к парку. Надо сейчас свернуть направо, через село, потом еще направо, мимо церкви...

Человек легонько свистнул, махнул рукой, и на дорогу из кустов выехали еще трое. Один быстро соскочил с коня, подошел и оказался маленьким живым человечком. Двое других остались в седле; у одного лицо почти до глаз было замотано шарфом.

— Здесь две дороги, — сказал первый. — Одна — сейчас через мост, другая — через город мимо церкви. Как поедem?

Оба снизу вверх посмотрели на человека с завязанным лицом; высокий почему-то снял шляпу. Элизабет тоже посмотрела вверх. Ветер разорвал облака, и сквозь серую мглу засеребрился месяц. Человек в шарфе помолчал.

— Я д-думаю, — сказал он наконец высоким, слегка надменным голосом, — лучше нам м-миновать селение.

Элизабет все еще стояла, не зная, можно ли ей двинуться дальше. Месяц совсем вышел из-за рваных, быстро несущихся туч; замотанный нагнулся, шарф с одной стороны упал на воротник, и она увидела, как чуть пониже уха тусклой слезой блеснула большая продолговатая жемчужина серьги.

— Б-благодарю вас, мисс, — сказал он милостиво, слегка заикаясь. — Как это вы н-не боитесь гулять одна в т-такую ночь?

Минуту спустя Элизабет услышала стук копыт по деревянным доскам моста, и скоро все стихло. Она перевела дух и пустилась дальше, к таверне.

#### 4. У «БЕЛОГО ЛЬВА»

Духота тяжелым маревом висела под низкими дубовыми балками; деревянные кружки гулко стучали по длинным, мокрым от пролитого пива столам; лица присутствующих были красны, глаза масляно блестели, рты скалились. Народу было так много, что у входа стояла толпа, прислушиваясь к речи оратора, который, взмахивая длинными руками, граблями торчащими из коротких рукавов, что-то говорил у стойки. В зале было много женщин, что несколько успокоило Элизабет.

Она приподнялась на цыпочки, стараясь разыскать Джона в дыму и суетлоке. Дружный взрыв хохота заставил и ее прислушаться.

— Это воистину черпая гвардия Сатаны! — выкрикнул тот, у стойки, с длинными руками. — Они нас поучают, требуют, чтобы мы соблюдали заповеди и повиновались лордам, а сами богатеют за наш счет! Они гребут десятину и обидают вдов и сирот!

— Десятины, десятины... — загудело по залу. — Долой десятины! — крикнул чей-то

---

<sup>1</sup> Кавалерами называли роялистов, сторонников короля.

высокий голос.

— Они продают свою проповедь за деньги! — бросил опять оратор, перекрывая шум. — Они продают за деньги имя и учение Христово! Они думают, что если учились в университете, то могут толковать Писание! Книжники и фарисеи! Может, простой крестьянин лучше понимает бога в душе, чем профессор со всей своей ученостью!

— Правильно! — крикнул тот же высокий голос. — Мы сами можем проповедовать не хуже их! Давай дальше!

Зал зашумел, задвигался, плечи стоявших впереди на мгновение разошлись, и Элизабет заметила, что говоривший был одет в потрепанный красный мундир парламентской Армии.

— Эти так называемые пасторы и проповедники, — опять крикнул он и взмахнул граблями рук, — тяжелое бремя для всей нации! Земля стонет под их ногами! «Господи помилуй, господи помилуй», — он закривлялся, кланяясь во все стороны и скроив постную мину. — «Плач и скрежет зубовой ожидает вас, дети мои, если вы не будете исполнять заповедей, повиноваться господам и покорно сносить все обиды...» Тьфу!

Он плюнул в сердцах и снова вскинул руки:

— Вот что, братья! С этим надо покончить! Все мы дети божьи и братья между собой, правду говорили в старину: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был господином?»

Он вытер рукавом пот со лба, отхлебнул из услужливо поднесенной кружки и сел прямо у стойки на ступеньку. Элизабет то бледнела, то заливалась краской: что, если бы ее жених, мистер Патрик Платтен, все это слышал! Ведь это против таких, как он, метал громы и молнии подвыпивший армейский пророк. Стараясь прогнать из мыслей образ пастора, она стала искать глазами Джона.

На место оратора меж тем вышел плотный приземистый человек.

— Вот мистер Эверард тут говорил, что каждый из нас может проповедовать не хуже ученых священников. Это правильно. Зачем обязательно быть ученым? Апостолы — они ведь тоже были простые люди: рыбаки, работники. Павел — тот шил палатки. А я шью одежду. И вот что я хотел сказать. Легче верблюду, сказано, пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в царствие небесное!

В зале зашумели. В правом углу, скрытом от Элизабет, послышалась какая-то возня и раздался громкий женский хохот.

— Давай, портной, смелее! — крикнул снизу Эверард.

— Так вот что я хотел сказать, — заговорил тот опять с упорством основательного человека. — Я не вижу причины, почему кто-либо из нас может сомневаться в своем спасении. Сказано в Писании: «Я живу близ сокрушенного сердцем и смиренного духом, чтобы оживить дух смиренных и оживить сердце угнетенных». Господь во плоти ходил, и сидел в домах, и пил вино с мытарями и грешниками — так почему же мы, бедняки, должны чувствовать себя проклятыми?

— Правильно! — Эверард вскочил, все взоры опять обратились к нему. — Братья! Господь не в небе, не в церкви, не в иконе, господь в нас, в нас с вами! — Он ударил себя в грудь. — Никогда не надейтесь найти бога вне себя, ибо он пребывает внутри. Здесь он проповедует, здесь наставляет, а все наружное — просто непроглядная тьма.

Назойливый женский смех опять раздался в правом углу, и Элизабет увидела, что к стойке, пошатываясь, идет женщина — простоволосая, в распахнутом на груди платье.

— Ты говоришь, во всех нас? Ха-ха-ха! Бог!.. И в тебе, пьянчуга? И... и во мне бог, да?

В углу загоготали:

— Давай, давай, Бриджет! Проповедуй и ты! Бог и через женщину может!..

Лицо Эверарда стало очень серьезным.

— Да, — сказал он. — И во мне. И в тебе, Бриджет, хотя ты сейчас пьяна и живешь в разврате.

— Ну и что, что пьяна! — К стойке выскочил маленький, сухой, со злым лицом человечек. — Все мы здесь не безгрешны. Но нам открылся господь! Значит, мы наследуем землю! Мы обрели свободу во Христе и, значит, свободны теперь от всякого земного закона.

Законы, придуманные лордами, для нас теперь все равно, что для Англии законы Испании! Это не мы нарушаем законы божьи, а они — лорды и джентри! Они — отъявленные предатели и мятежники против бога!

Что поднялось в зале! Люди повскакали с мест, кружки, расплескивая пиво, стучали по столам, ноги топали, кулаки взлетали.

— Правильно! Долой! Давай, Саймон Соьер, давай! — раздавалось со всех сторон. Кто-то напирал на Элизабет сзади и тяжело дышал в затылок. От духоты и криков ей почти сделалось дурно. Она прислонилась к дверному косяку и опять стала оглядывать зал, ища и не находя Джона в этой распаренной и разъяренной людской каше.

Саймон Соьер подождал, подобравшись, пока кутерьма немного уляжется, и снова начал, с враждебной напористостью выставив подбородок:

— Эверард здесь правильно сказал: Адам пахал, Ева пряла, а кто был господином? Довольно нам делиться на господ и слуг, перед богом равны все! Нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного! Где в Писании сказано, что один должен иметь тысячу фунтов в год, а другой ни одного? Что один должен быть лордом, а другой его рабом? Пусть дворяне работают сами, как и мы, чтобы добыть себе пропитание. Ибо, кто не трудится — да не ест! Пусть пасторы работают в поле или в мастерской шесть дней в неделю, а на седьмой проповедуют!

Новый взрыв ярости и энтузиазма потряс душную залу, люди закричали, затопали, застучали кружками. Истерически вскрикнула какая-то женщина. Тощий маленький человечек в бедной одежде появился у стойки, молитвенно сложил ручки и, как бы плача лицом, заговорил тонким голосом:

— Настали, настали последние времена! Час близок — Христос, ваш спаситель, грядет во славе своей и всем дарует свет и благодать — и овцам, и козличам. Готовьтесь, братья, придет великое Тысячелетнее царство господа, все уподобятся королям и королевам, все возлюбят друг друга, все обнимутся, лорд и арендатор, хозяин и наемник, лев и агнец; все спасутся, кроме Змия огненного, Антихриста, который будет ввергнут во тьму и пучину навеки! Единственным лордом нашим станет господь.

— Это Полмер, Джон Полмер из «семьи любви», — негромко сказали сзади. — Фамилист.

— Голос Иисуса Христа, — продолжал меж тем проповедник, протягивая в зал молитвенно сложенные ручки, — сперва зазвучит в толпе простых людей, бедняков... Возлюбим друг друга! Это и будет воскресение наше. Нет нужды в человеческих законах, в книгах, нет нужды в посещениях храмов, в обрядах, в десятинах...

— А за такие речи и к судье повести можно! Был же декрет! — Толстый человек с красным сердитым лицом встал от близкого к стойке стола и обличительно вытянул палец: — Из речи вашей явствует, что вы принадлежите к зловерной и порицаемой секте — «семье любви»!

Тот, кого называли Полмером, кротко взглянул на обличителя;

— А ты из какой семьи, брат? — спросил он.

Зал победно загудел, в углах загоготали, к толстому подбежал хозяин и что-то торопливо зашептал на ухо. Еще один человек, без руки, в армейском мундире, вышел вперед, потрясая над головой книгой.

— Вот книга, — сказал он, — которую вы так почитаете. Она состоит из двух частей: Ветхого и Нового Завета. Я должен сказать вам, что она больше не существует. Кому нужно это нищенское рубище, молочко для младенцев? Христос здесь, среди нас. Как Новый Завет отменил Ветхий, так и свет христов в сердцах наших отменит всякое написанное слово!

Однорукий еще потряс книгой, хотел что-то добавить, но у стойки уже вырос длинный, нескладный, обросший волосами субъект с темным больным лицом. Закатывая глаза, он закричал высоким кликушеским голосом:

— О, вы, жаждущие! Идите, берите и ешьте, идите, берите вино и молоко без денег и без платы!

— Уриель, — сказали сзади. — Сейчас начнется...

Длинный воздел руки, голос его поднялся еще выше, стал тоньше:

— Братья! Нет на нас греха! Нет проклятых и спасенных! Есть те, кому открылся свет, и те, кто пребывает во тьме. Дыхание господа в нас, сольемся же с ним снова, как капли в океане! Пойте, братья, пляшите, пейте вино, целуйте женщин — все дозволено, все свято в госпoде Иисусе! Воспоем ему хвалу и обнимемся, воспляшем и откроем сердца наши новому Сиону и царству его!

Он стал нелепо подсакивать, сотрясаясь всем телом.

— Вот, вот, вот оно, слово! Идет, идет госпoдь затушить огонь геенский! Идет, идет кормилец! Вот, вот, вот он!..

Элизабет с ужасом увидела, что и в зале кое-кто задержался в такт его выкрикам, запричитал бессвязными словами, запрокинув голову к продымленным темным балкам. Пронзительный визг, словно нож, прорезал гул, какая-то женщина упала на пол, дергаясь в конвульсиях. В углу раздался истерический хохот. Люди, стоявшие в дверях, полезли вперед, вокруг упавшей началась невообразимая сумятица. Элизабет притиснуло к двери, затем с общим потоком разгоряченных тел внесло в залу, там стало свободнее, и тут она увидела Джона. А увидев, поняла, что дело плохо.

Он сидел в том самом правом углу, откуда вышла пьяная Бриджет. Лицо его покрывали красные пятна, губы бессмысленно ухмылялись, глаза чудовищно косили. Куртка была залита. Голова хмельной сорокалетней Бриджет с налипшими поперек лица темными прядями волос лежала на его плече. Слева сидела известная в городке дурочка Мэри с неподвижным, уродливо непропорциональным лицом и обеими руками тыкала ему в грудь наполненную плескавшуюся кружку.

Элизабет не помнила, как она пробралась к этому мерзкому, залитому пивом столу, как обошла сидевшую, расставив ноги, дурочку. Она не сводила отчаянных глаз с искаженного тупой ухмылкой лица мальчика.

— Джон! — Он заметил ее только тогда, когда она положила ему на плечо руку. Но заметив, лишь бегло взглянул и отвернулся.

— Подожди... Подожди, Бетти...

Его глаза были устремлены на кутерьму в зале, но не с обычным пытливым вниманием, а все с тем же бессмысленным и отсутствующим выражением.

— Джон! — сказала девушка твердо и резко. — Сейчас же пойдем домой! Уже час ночи, Джон!

Она потрясла его за плечо, пытаясь вывести из отупения, и заметила темные грязные потеки на его щеке и ниже, на шее.

— Джон, что с тобой? Ты плакал? Джон!

— Тише, милая! — Бриджет подняла голову, облизнула губы и отвела прядь с опухшего лица. — Не волнуйся. Видишь, мальчику весело. Да. Он уже большой, правда, Джон? — Она тяжелой рукой надавила ему на плечо и снизу заглянула в глаза.

Джон и ее не слышал. Он все так же, глупо ухмыляясь, смотрел в зал, где кричали, бесновались, молитвенно воздевали руки и пророчествовали одурманенные вином и призраком свободы бедные люди.

— Да ты сядь, — Бриджет кашлянула, пытаясь освободить от хрипоты голос. — На вот кружку, выпей со всеми! Слышала — все люди братья... Вот и выпьем... А Джон — он хороший мальчик. И все-е понимает, правда, Джон? — Она толкнула его плечом.

— Спасибо. — Элизабет не знала, как ей разговаривать с этой женщиной. — Уже поздно. Джон! Джон, ну встань, пойдем же отсюда!

Она чуть не плакала. Ее окружали пьяные, чуждые, непонятные ей люди — мужчины в грубой одежде и развязные женщины, которые внушали ей еще больше страха, чем мужчины. Джон не поддавался никак, и, несмотря на все усилия, она не могла увести его. Он очнулся наконец от оцепенения и понял, чего она от него хочет. На его лице появилось злое, упрямое выражение, пухлые губы надулись, он вырвал рукав и отмахнулся от нее.

— Не хочу. Никуда я не пойду. Мне здесь нравится!

Она стояла за его спиной в полном отчаянии, не зная, что делать дальше, и не слушая бессвязных уговоров Бриджет «остаться... выпить... послушать господа...» Глаза ее, ища спасения, скользили по искаженным страстями, вином, злобой или бессмысленным весельем лицам. И вдруг, как на что-то твердое и ясное и — удивительно — давно знакомое, почти родное, натолкнулись на трезвый, спокойный, умный взгляд, обращенный прямо на нее. Темноволосый человек, сидевший неподалеку, уже некоторое время внимательно наблюдал ее усилия, и, когда ее отчаянные глаза обратились к нему, он чуть заметно ободряюще кивнул ей и поднялся с места. Не вполне отдавая себе отчет в том, что она делает, лишь всем своим существом доверившись этому засветившемуся в море бессмыслицы разумному взгляду, Элизабет протянула ему навстречу руки и через головы сказала:

— Будьте добры... Помогите мне увести его отсюда...

Темноволосый не спеша приблизился к ним.

— Ты знаешь, — сказал он Джону, положив ему руку на плечо и низко наклонясь над ним ладным плотным телом, — здесь больше интересного не будет. Сюда господь больше не придет. А если хочешь знать о конце света, идем, я тебе расскажу.

Джон взглянул на него исподлобья, с недоверием, но, видно, и на него подействовала спокойная сила, исходящая от незнакомца. Мальчик вдруг встрепенулся и встал, не заметив, как Бриджет, пытаясь поймать подошедшего за рукав, опрокинула кружку. Вслед за темноволосым он стал пробираться, натываясь на скамьи и чьи-то ноги, к выходу. Элизабет поспешила за ними.

## 5. СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ночной ветер дохнул в лицо свежестью. Незнакомец шагал впереди широко и неторопливо. Элизабет, поспевая следом, старалась в то же время плотнее укутать шарфом шею брата. Шарф не слушался, Джон упрямо крутанул головой и отстранил ее руку.

— Ну и что же конец света? — с вызовом бросил он в широкую спину.

Незнакомец обернулся, поджидая. Они выбрались на дорогу и теперь пошли рядом все трое. Элизабет не могла в темноте рассмотреть его лица. Заметно было только, что роста он среднего, широк в плечах. Простой черный плащ хлопал под ветром. Рядом с ним Джон казался длинной ломкой тростинкой.

— Конец света близок. — Он повернулся к Джону. — Только он произойдет совсем не так, как мы думаем.

— А как?

Тот помолчал и ответил как будто невпопад:

— Бог не в небесах, не в горнем граде, а внутри нас — в тебе, во мне.

— Но это говорил Эверард! Он сказал, что бог — даже в Бриджет.

— Бог везде. Только некоторые люди противятся ему. Но скоро настанет время, когда он проснется в каждом человеке.

— А конец света?

— Он уже начался. Люди поняли, что значит свобода. И через них бог станет править миром. Ты сегодня видел этих святых.

— А почему они собираются ночью в таверне?

— Потому что змий еще силен. Алчные преследуют бедняков, плоть ополчается против духа.

— Значит, война с королем... — Джон подумал, — это война бога и змия? Дьявола?

— В общем так. Эта война шла всегда. Ее поле — сердце человеческое. Ты посмотри в себя. В тебе как бы живут два человека. Один хочет долго спать, много есть, ничего не делать весь день... Он ищет удовольствий в услаждении своих пяти чувств. А другой, разумный и чистый, ищет неведомого, стремится к правде. И когда ты слушаешь этого второго, и тело и дух твой радуются.

Джон молчал. Он шел, опустив голову и ссутулившись; впечатления ночи кружились в одурманенной голове... Они уже достигли поворота, и Элизабет вспомнила странных ночных путников, остановивших ее у моста. «Мир и вправду перевернулся, — подумала она. — Раньше все было так понятно: король и его благородные лорды — от века богом данная и справедливая власть. Мудрость и правда, которой следует верить и поклоняться, идет из церкви... А сейчас король — пленник парламента, лорды воюют против общин, а церковь...» Она спросила:

— Но ведь о борьбе добра и зла в душе человеческой говорили всегда. И в Писании об этом есть, и пастор в церкви учит... Почему же сейчас все об этом спорят? В чем разница?

Незнакомец живо обернулся к ней.

— В чем разница между проповедью с кафедры и взглядами этих святых? Разница большая. Церковь учит, что одни люди изначально избраны богом, а другие прокляты и обречены на вечный огонь. И пасторы, благополучные люди, считают, что они избраны богом, а прокляты — нищие и бедняки, которых они презирают. Но Христос пришел на землю спасти всех, и нищих, убогих, презираемых — в первую очередь. Официальная церковь поклоняется мертвой букве, а не живому духу. — Он повернулся к Джону. — Ты хорошо помнишь проповедь вашего пастора?

Тот кивнул:

— Он говорит, будто читает по бумаге.

В голосе незнакомца послышалась улыбка.

— Ну да, он сыплет цитатами и примерами из Писания, но все это мертво. А в рабочих и мастеровых, которых ты видел сегодня, засиял дух божий. Именно церковь и убила учение Христа.

«Засиял дух божий? — подумала Элизабет. — В этих убогих, крикливых людях?»

Джон спросил:

— Убила учение Христа?

— Именно так, убила. Она несет угнетение взамен любви. Требуется соблюдения ничемных обрядов, отбирает десятую долю со всех доходов. Главная причина бедственного положения Англии — это давление церковной власти. Она душит всякое движение истины в сердцах.

— Но церковь учит по Писанию, — Элизабет, волнуясь, ускорила шаги. — Все, что говорят в церкви, основано на Библии. Как же вы утверждаете, что церковь убила учение Христово?

— Никто не может проникнуть в смысл Писания, пока в душе его не засияет свет разума. Только тот, кто постиг любовь и истинную справедливость, может толковать его.

Незнакомец помолчал. Брат и сестра молчали тоже. Удивительно было то, что он говорил вроде бы то же самое, что сектанты в таверне; но как отличалась его речь от их горячечных излияний!

— Тайна бога состоит в том, — продолжал он задумчиво, — что он вынет Змия из груди человеческой, разрушит власть тьмы и поселится там навеки.

Уверенность и скрытая сила звучали в этих словах; брат и сестра переглянулись. Кто был этот человек, дерзнувший открыть тайну бога? Как он сам познал ее? И почему его лицо казалось знакомым? Он словно бы прочел их мысли и сказал, глядя во тьму перед собою:

— Я ведь через все это прошел сам. Я был сначала строгим исповедником веры, ходил в церковь, исполнял обряды. Я был благочестивым ханжой, сидел в своей лавке и заботился больше всего о прибыли. Я ничего не знал, кроме того, что получал из книг и из проповедей. Я молился богу, но не ведал, ни кто он, ни где обитает. Я жил во тьме и грехе, ослепленный влечениями моей плоти... Пока не понял, что эти мои земные радости — смерть, позор, тюрьма для души. Тогда я ушел из церкви и пошел к баптистам. Меня привлекла их терпимость и независимость от власти. Кроме того, они первые заставили меня поверить в то, что нет избранных и проклятых. Я даже сделался у них проповедником. Потом и от них отошел, стал искать дальше...

— А скажите... — Элизабет перебирала в уме слышанное в таверне. — Кто это говорил, что все должны любить друг друга?

— А, это Полмер. Фамилист. Они много верного говорят. Наша грубая природа толкает нас к ненависти, зависти, даже заставляет убивать тех, кто мыслит и живет не так, как мы. Дух же истины незлобив, он полон любви. Полмер — прекрасный человек.

Джон вскинул голову, локоть выехал из-под плаща.

— Дух истины? А почему тогда вы сказали, что господь туда больше не придет? Почему увели меня?

Он даже остановился, словно бы собираясь повернуть обратно.

— Джон, там же не все были такие... — Элизабет мягко обняла брата за плечи, подталкивая к дому. — Ты же видел, там были разные люди — одни осуждали власть, другие пили вино и ругались. Пойдем скорее, мы уже совсем близко.

Она только теперь заметила, как тяжело идти. Башмаки и подол платья были совсем мокрыми, на подошвах налипли пуды грязи. Губы пересохли, тело изнемогало от усталости.

— Да, этой ночью господь больше не придет к ним. Эти бедняки тоже обратились к плотским радостям. Ты помнишь, что говорил последний проповедник? «Ешьте, пейте вино, целуйте женщин...» Разве это путь духа?

Джон почувствовал себя пристыженным. Ему уже хотелось нравиться этому человеку. Элизабет замедлила шаги. Они подошли к дому. Станный человек остановился против брата и сестры и сказал серьезно:

— Но все эти грехи, заблуждения, ошибки — не даром. Учась на них, мы познаем смысл того, что происходит.

— Скажите... — Джон запнулся. — Кто вы? И... можно еще с вами встретиться?

— Встретиться можно. Но помни, ты внутри себя имеешь лучшего наставника, чем кто бы то ни было. Думай сам, ведь скоро ты станешь взрослым. Как ты будешь жить? Что принимать, что отвергать? Против чего бороться? От этих вопросов не уйдешь... Что до меня, я живу здесь неподалеку, в Уолтоне. Мое имя — Уинстэнли, Джерард Уинстэнли, из Ланкашира. До свидания, мисс...

— Годфилд, сэр. Элизабет Годфилд. Благодарю вас за Джона и за все... Да хранит вас господь... — Она низко присела.

— До свидания, мисс Годфилд. Мы еще увидимся!

Он слегка поклонился, не снимая шляпы, и помахал рукой отступая. Элизабет с Джоном, скрипнув калиткой, вошли в сад. Сырой ночной воздух уже не казался промозглым, порывы ветра — такими резкими. Джон обнял сестру за плечи, и они, сами не зная почему, поцеловались. Неведомое предчувствие будущего счастья — не просто счастья для них, а великого, вселенского счастья и мира овладело их сердцами. Тихонько смеясь и не обращая внимания на лужи, они, обнявшись, шли к дому. Ночь с 11 на 12 ноября 1647 года подходила к концу.

## 6. БУНТ

Тревожный, ветреный рассвет 15 ноября был еще далеко, но в пехотном полку мало кто спал в эту ночь. Генри, впрочем, вздремнул немного, не раздеваясь, на ворохе соломы в углу: он знал, что день предстоит тяжелый.

На 15 ноября был назначен смотр семи армейских полков близ местечка Уэр, в Хартфордшире. Еще на заседаниях армейского Совета в Петни было решено, что смотр войск, которого требовала Армия, будет проводиться по частям — так генералам не в пример легче договориться с солдатами.

Брожение в Армии вот-вот готово было вылиться в мятеж. Памфлеты левеллеров ходили по рукам. Лилберн призывал: «Добивайтесь чистки нынешнего парламента! Настаивайте на выплате жалованья! Требуйте уничтожения церковной десятины, отмены монополий, принятия „Народного соглашения“! Но главное — не доверяйте генералам, ибо

они в сговоре с парламентом!»

Мятежный левеллерский полк шел к Уэру вопреки приказу. За вчерашний день они прошагали по грязи почти двадцать пять миль и расположились на ночлег в деревушке близ Хартфорда. Агитаторы связались с другими полками и еще — великолепная идея — с ремесленниками близлежащих городков: все они должны собраться под Уэром и заставить офицеров объявить «Народное соглашение» общеанглийской конституцией.

В полках уже стало известно, что король Карл в ночь с 11 на 12 ноября 1647 года бежал из своей почетной тюрьмы в Гемптон-Корте. Но где он, никто не знал. Во все гавани и порты были разосланы специальные декларации: ни один корабль не должен отплыть от берегов Англии. Тому, кто укроет короля, грозила смертная казнь.

В неглубокий, готовый каждый миг прерваться сон вползали отрывки разговора. Как Генри ни натягивал на голову плащ, уйти от приглушенных настойчивых голосов, а главное, от того, что они говорили, было невозможно.

— Так вот, собрались они на ужин, — рассказывал спокойный, рассудительный голос рядового Джайлса. — Стоят у своих приборов, а он все не идет. Послали лакея, тот прибегает, говорит — нет его нигде. Ну бросились в его комнаты, глядят — на столе три письма.

— Подожди, как же он сбежал? — спрашивал молодой и резкий голос Дика Арнольда, — Ведь стража везде.

— В том-то и дело, что половина стражи была снята.

— Случайно? Или кто приказал?

— Неизвестно. Снята и все. Вот он и вышел тихонечко, один, через заднюю калитку, и никто его не заметил.

— ...А в письмах что было?

— Одно было к спикеру палаты лордов. Он там про нас писал.

— Как это про нас?

— Что агитаторы строят заговоры с намерением лишить его жизни. И что он, король, имеет право, как и любой другой гражданин, жить на свободе и в безопасности. А в другом письме, начальнику охраны, милостиво благодарил за хорошее содержание и распоряжался беречь его лошадей, собак, картины...

— Вот дерьмо!

— Тише, Дик, спят же люди.

— А Кромвель, что?

— В Кромвеле-то вся и загвоздка. В ту же самую ночь он обо всем уже знал. А был довольно далеко, в Виндзоре.

— Кто ж ему донес?

— Кто донес, тот нам с тобой не доложил. Кромвель сразу сообщил в парламент, и парламент приказал закрыть все порты, чтобы не дать ему улизнуть за границу.

— Так Кромвель сам все это и подстроил, — сказал третий голос, низкий и хриплый, будто рычащий. — Это ясно, как божий день. Он еще летом интриговал с королем. А сейчас совсем продался. Король ему даст орден подвязки и сделает графом.

— Э, нет, капрал, вот тут ты ошибся. Если бы Кромвель и король договорились, зачем бы королю бежать невесть куда? Гемптон-Корт рядом с Лондоном, здесь составлять заговоры не в пример удобнее. Кромвель, наоборот, сейчас станет к нам ближе. И жалованья нам добьется, вот увидите. Правда, Дик?

— Не знаю.

— А ты слушай. Сдается мне, что против Кромвеля сейчас агитируют роялисты — им раздоры в Армии выгоднее всего.

— Ну знаешь... — капрал засопел, обидевшись.

При имени Кромвель Генри проснулся окончательно. Любой слух об этом человеке заставлял его встрепенуться. И не потому, что генерал создал великую Армию. И не потому, что победы его над роялистскими войсками потрясли мир. И не потому даже, что самые



причудливые легенды громкою славой окружали это имя. Два года назад — Генри помнил этот счастливый день, как сегодня, он в самозабвенном упоении гнал, смеясь, большого красного оленя стремя в стремя с нежной и так естественно уверенной в себе девушкой. Плыл долгий-долгий, блаженный, неповторимо прекрасный день, полный легкой здоровой усталости, от которой звенело в голове и едва заметно саднило в горле. И полный ею. Вот она, усмехаясь и лукаво отводя руку конюха, легко вскакивает в седло. Вот она сидит в лесу, среди играющих на траве солнечных пятен, и крепкими ровными зубами кусает яблоко. Вот она с небрежностью любимой и балованной дочки кладет руку на плечо плотного грубоватого отца, и взгляд его тотчас смягчается, теплеет. Вот вечером, в прохладных сырых сумерках, она протягивает ему, Генри, пальцы, легонько сжимает их на его руке и говорит, значительно расширяя глаза: «Прощайте!..» Но больше всего — залитое солнцем поле, кущи деревьев вдали, и эта бешеная скачка стремя в стремя за мелькающей впереди спиной оленя, и ее локоны, задевающие его щеку, — ничего прекраснее не было в жизни.

Эта девушка носила тогда фамилию Кромвель. Через год он узнал, что она вышла замуж за кавалерийского офицера Джона Клейпула. Но с того волшебного дня великий полководец был для Генри прежде всего «ее отец», вызывающий благоговение, что бы там о нем ни говорили.

— Все равно Кромвель предатель. — Хриплый голос капрала ожесточился. — Лилберн прав: он пошел вместе с нами, обещал призвать короля к ответу, а сам мел перед ним пол своей шляпой. И жена его, и дочери на балы ездили в королевский дворец, это все знают. Недаром в манифесте сказано...

— Слушай, капрал, — рассудительный Джайлс тоже начинал заметно горячиться. — Я не знаю, кто писал этот манифест, но он сейчас во вред всем нам — понял? Кровавый тиран сбежал, он на свободе, он того и гляди возглавит шотландцев — и тогда нам несдобровать, у них больше сорока тысяч войска!.. А манифест кричит, что мы не должны слушаться генералов. Кромвель и Фэрфакс нам сейчас нужны, понимаешь? Нужно единство в Армии, для этого мы сейчас и идем на смотр.

— Не только для этого! — Дик вдруг перешел на крик, и Генри поморщился от его резкого голоса. — Мы идем, чтобы потребовать принятия «Народного соглашения»! Мы идем потребовать свободы от тирании! Мы идем отстоять свои права!

Генри откинул плащ и сел. Дик Арнольд был великолепным агитатором — преданным, бесстрашным. Мало кто мог сравниться с ним в умении убеждать солдат. Но здесь Генри был скорее согласен с Джайлсом. Если завтра начнется война с королем — лучше Армии сохранять единство. Он уже открыл было рот, чтобы вмешаться, но резкий звук трубы оборвал разговор.

Все моментально пришло в движение: люди поднимались, прицепляли оружие, наскоро укладывали походные пожитки. На улице было еще совсем темно, между домами перебегал свет факелов. Никем не понукаемый, полк поднялся и построился в считанные минуты.

Генри шел сбоку своей маленькой роты, охваченный, как и она, оживлением и ожиданием. Через несколько часов произойдет нечто очень важное: солдаты заявят офицерам свою волю. Они потребуют полного разрыва с королем, привлечения его к суду и главное — введения демократической конституции, «Народного соглашения». Черным по белому там перечислены исконные права англичан: всеобщее избирательное право, свобода от произвольных арестов, поборов, штрафов, равенство всех перед законом... Вперед, вперед! Невиданная радость ожидает их, невиданная свобода! Отныне все будут создавать высший орган власти, выбирать парламент... Пусть его выбирают все: и богатые, и бедные, и титулованные, и простые. Никого не будут судить и сажать в тюрьму по произволу, не будут преследовать за веру. Свобода — главное в жизни. За свободу можно вынести все, пойти на смерть. И против отца? Да, и против отца можно за свободу. Генри несло, словно ураганом.

Полк быстрым маршем прошел через лесок, пересек большое вспаханное поле, взобрался на холм. На холме остановились: стало видно, что справа из деревни длинной могучей змеей выползает конница. Харрисон!

— Ура!.. Ура, Харрисон! — солдаты посывали шляпы, колонна будто замахала множеством черных крыльев.

Щеголеватый и подтянутый, как всегда, полковник Харрисон соскочил с коня. Он тоже вел свой полк на смотр вопреки приказу. Генри почувствовал, как сердце запрыгало в груди, ему захотелось бежать, лететь скорее туда, на смотр, пред лицо командиров. Он глянул на свою роту и увидел в руках солдат белые листки. Они мелькали везде, по всей колонне. Конники Харрисона щедро раздавали их солдатам; кое-кто пытался прикрепить их на грудь, кое-кто засовывал за ленту шляпы.

Лилберн! Это имя вдруг полетело между рядами, подобно листкам, его передавали от одного к другому. Лилберна на день выпустили из тюрьмы. Совесть и душа левеллерского движения, Джон-свободный тоже едет на смотр в Уэр! Его уже видели: он спешит туда напрямик, короткой дорогой. Радостное оживление и ожидание на лицах... Генри взял протянутый листок. «Народное соглашение» было напечатано крупными буквами сверху. Дальше, мелко, шел текст новой, самой справедливой конституции. На обороте стоял девиз: «Свободу Англии! Права солдатам!» Он засмеялся и тоже стал прикреплять листок к шляпе: пусть не мишурные роялистские перья, а текст Конституции красуется на ней!

Широкое, обрамленное черноватым лесом Кокбушское поле сдержанно и грозно гудело. Четыре полка кавалерии и три пехотных, повинувшись генеральскому приказу, выстроились в отличном порядке. Полк Харрисона, украшенный белыми прямоугольниками на шляпах, лихо развернувшись, подлетел к свободному месту слева и стал как вкопанный. Все поле, будто услышав команду, обернуло к нему лица. Вслед за ним пехота, топча вереск за все убыстрявшим шаг Бреем, подошла и стала еще левее — стала и затихла, будто перед большим сражением. Генри повертел головой: должны прийти еще полки и еще... И ремесленники из Спитфилдса... Хватит ли поля? Но ничего больше не было видно: лес и холмы молчали, ноябрьское небо низко нависло над войском.

И тут издали, со стороны Уэра, звонкое серебро трубы возвестило, что едут генералы. Вот оно! Сейчас начнется!.. Генри всматривался в лежащее перед войском плато. Вот появился всадник на белом коне, должно быть Фэрфакс. Рядом с ним грузный, на вороном, — конечно, Кромвель, Генри узнал бы его широкие плечи где угодно. Чуть поодаль — полковники, адъютанты, небольшой отряд личной гвардии. Где-то там среди них должен быть отец.

От громадной черноголовой массы войска отделяется всадник и скачет наперерез генералам. В его протянутой руке — такой же белый листок, как у Генри на шляпе. Это левеллер Гейнсборо. Сейчас он вручит командованию Конституцию, генералы, убежденные единодушием Армии, примут ее, и солнце свободы взойдет...

Но что это? Два, три всадника из гвардейцев выскакивают вперед, подлетают к тому, с листком, теснят его лошаадьми... отнимают листок... Заставляют повернуть назад... Они не дали вручить генералам «Народное соглашение»!

Дальше начинается что-то совсем уж непонятное и чудовищное в своей серой, будничной скуке: Фэрфакс и Кромвель со свитой объезжают полки, перед каждым говорят речь, и все отвечают им дружным «Ура!». Они готовы жить и умереть за генералов! Генри не в силах понять этого. Серое ноябрьское небо словно спускается еще ниже, ни одного просвета в облаках... Где ты, солнце свободы?

Вот важная процессия совсем близко, у полка Харрисона. Полк замер, белеют лица кавалеристов, белеют листки на шляпах. Грузный всадник на вороном коне выезжает вперед. Навстречу ему — мятежные выкрики. Грубоватое, с резкими крупными чертами лицо темнеет. Хриплый, привыкший выкрикивать команды в бою голос говорит: отечество в опасности... роялистская угроза... враги теснят со всех сторон... Армия должна подчиниться... «Народное соглашение» будет в свое время рассмотрено Советом офицеров...

Отдельные нестройные выкрики: «Почему офицеров, а не агитаторов?», «Общеармейский совет!», «Мы проливали кровь...» — жалкие, слабые выкрики. Одного

грозного взгляда полководца достаточно, и они гаснут.

— А теперь, — сдерживаемым гневом дышит голос Кромвеля, — вы должны подписать присягу верности своему командованию. И снять эти бумажки со шляп! Не к лицу солдатам такие украшения.

У Генри падает сердце: он видит, как руки кавалеристов тянутся к шляпам... головы обнажаются... шляпы снова становятся черными, безнадежно черными.

И вот наступает очередь его полка. Генералы подъезжают совсем близко. Впереди — Фэрфакс с бумагой в руке. Он читает ее, и привычные, безликие фразы будто гасят, одну за другой, свечи: «Обвинения против генералов не имеют оснований... Дисциплина должна быть восстановлена, тогда они приложат все усилия, чтобы добиться от парламента своевременной выплаты жалованья... Срок полномочий парламента будет ограничен... Необходимые реформы будут со временем...» «Все это слышано уже много раз». Генри смотрит на побелевшие губы капитана Брея и ждет. Сейчас, вот сейчас тот же позор постигнет и их полк. Все кончено!..

— Солдаты! — резкий, как удар кнута, голос совсем близко. — Не отдадим нашу свободу генералам! За что мы воевали?!

В голосе отчаяние, почти слезы. Это кричит дружище Дик, он так громко умеет кричать перед толпой. Все расступаются, а он, словно вырастая, кричит и взмахивает шляпой с белым крылом:

— Мы пришли сюда, чтобы потребовать от генералов принять нашу Конституцию, цену нашей крови! Мы не уйдем, пока они не подпишут «Народное соглашение»! Да здравствует свобода!

— Ура!.. За свободу!.. — кричит воодушевленный полк. — Конституцию! «Народное соглашение»!..

Выкрики множатся, дружный гул взлетает над полком, и вот все перекрывает хриплый рык капрала:

— Ребята! Генералы нас предали! Они служат королю — виновнику наших бед! Долой генералов! Анархия не хуже монархии!..

И вдруг — широкая, огромная грудь вороного коня выросла, надвинулась, тяжелые копыта на миг повисли над головами. Солдаты, давя друг друга, шарахнулись назад, кто-то больно наступил Генри на ногу. Совсем близко от себя он увидел страшное, налитое кровью лицо Кромвеля — на губах, как и на мундштуке коня, выступила пена. Над головой сверкнул клинок:

— Ах, вы бунтовать! Негодяи! Изменники! Хватайте их, вяжите! Я вам покажу анархию!..

Его рука сдирала, комкала, рвала в бешенстве белые листки. Генри вдруг почувствовал чьи-то сильные руки на плечах, на запястьях, рванулся и тут же согнулся пополам, оженный болью: руки ему заломили назад, скрутили веревкой, вытолкнули из строя.

Когда темень в глазах чуть прошла, захотелось отереть лоб. И невозможно: руки не разорвать, кисти уже начали неметь. Генри оглянулся: он стоял немного поодаль от войска, в кучке, как и он, связанных людей. Сколько их? Двенадцать? Четырнадцать? Рядом с ним — майор Томас Скотт, известный левеллер, член парламента. Чуть подальше — Эйрс, тоже лидер партии. А вот и свои: капитан Брей с высоко вскинутой головой, без шляпы, капрал Саймондс, Дик Арнольд — его и схватили, кажется, первого. Вокруг — на конях — гвардейцы. И страшные слова, брошенные кем-то, все еще звенят в воздухе: немедленно военно-полевой суд.

Сам суд Генри потом помнил плохо. Их перегнали на холм, выстроили в ряд, громко прочли давящие слова обвинения. Недавно изгнанный из полка командир прошелся со своими офицерами перед строем. Они всматривались в лица схваченных, потом поговорили меж собой.

И вдруг Генри вздрогнул: он увидел бледное, родное, жалкое лицо отца; он сначала крупными, нервными шагами подошел к офицерам и стал что-то тихо объяснять. Потом от

них тем же крупным шагом, резко ломавшим обычное изящество его невысокой фигуры, — к Кромвелю. Тот важно наклонился — темное от неостывшего гнева лицо, сдвинутые брови, слушал молча. Взглянул в сторону связанных, помедлил немного и нехотя кивнул.

А потом высокий голос выкрикнул три имени:

— Капрал Саймондс! Рядовой Уайт! Рядовой Ричард Арнольд!

Трое названных выступили вперед, их повели вниз, к войску, и Генри понял, что отец только что спас ему жизнь.

Барабаны забили гулкую дробь. Мороз побежал по спине, Генри взглянул туда, куда сейчас смотрели все. Троим обреченным развязали руки. Они сняли мундиры и стояли, как братья, как дети, в белых рубашках друг подле друга. К ним направился человек, держа в вытянутой руке три соломинки. Слава христианскому милосердию генералов: вместо трех осужденных на смерть решено расстрелять только одного. Им предлагают тянуть жребий. Трое опускают головы, медлят... Дробь стихает, ни звука не издает огромное, полное людей поле. Наконец самый молодой, самый смелый Дик Арнольд решается. Первым вздергивает он подбородок, рука с размаху вытягивает крайнюю слева... Соломинка предательски коротка. Это смерть. Он оглядывается вокруг, и все скучное, привычное, будничное — мундиры солдат... переступающие копытами кони... сухие кусты вереска вдоль изгиба пыльной дороги — кажется ему таким драгоценным! И все отступает куда-то, все уже не принадлежит ему, чужое, потерянное навсегда...

Снова гремят барабаны, дула дюжины мушкетов целят в грудь единственного человека в белой рубашке. Взмах руки, залп, сизый дымок, недолгие конвульсии поверженного в пыль тела.

Бунт подавлен. Остальных будут судить позже. Армия теперь едина и покорна доблестному генералу Кромвелю.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДЕРЕВНЯ

*«Внимательно всех тварей изучив  
И убедясь, что хитростью коварной  
Никто из них со Змием не сравнится,  
Решился он под оболочкой Змия  
Преступные намеренья укрыть».*  
**МИЛТОН**

### 1. ИЗГОРОДЬ

Работа была окончена. Лоб его пылал, глаза рассеянно обводили каморку, не видя ни топчана с тряпьем, ни грубо сколоченного, заваленного бумагами стола, ни оплывшего огарка. Хотя точка была уже поставлена на последней фразе и он понимал, что сказал все, что хотел, огонь в нем еще горел, и душа жаждала излиться. Последний лист бумаги был донизу исписан, он перевернул его, поднял лицо к сумраку потолка, немного помедлил, и перо само быстро-быстро заскользило по чуть косо положенному белому полю.

*Главнокомандующий Господь,  
Он правит нашей душой.  
Ищите его, смиряя плоть,  
И вы обретете покой.  
Кому же плоть дороже всего,  
Цель жизни и поводырь, —  
Низвергнет, накажет себя самого*

*И лопнет, как мыльный пузырь.*

Огарок затрещал и рассыпал искры. Тень шелохнулась на потолке. Стихи сами полились дальше.

*Средь бурь, испытаний, и бед, и страстей,  
Свергая обычай времен,  
Бог Зверя теснит и спасает людей,  
Их дух очищая огнем.  
Отбрось же вражду, человеческий род!  
(Сколь многие брани хотят!)  
Господь спасет угнетенных: придет  
Христос, наш старший брат.*

Он поднялся, прошелся по каморке. Четыре шага до двери и опять к столу, к груде исписанных, закапанных воском листков. За тонкой перегородкой заворочался, забормотал во сне старик. Сколько времени он писал? Час, два? Всю ночь? И словно в ответ ему в деревне сонно и хрипло прокричал петух. Счастливая ночь кончалась. Скоро начнут выгонять коров.

Джерард Уинстэнли взял в руки последний листок, перечитал написанное, вздохнул и дописал:

*Но нет, беспокойны, несыты еще  
И злобны сердца людей.  
Вчера было жарко, сейчас горячо,  
А будет еще горячей.  
Ведь должен же Зверь свершить свой труд,  
Сыграть свою роль до конца.  
Но вот он низвергнут. Святые встают,  
Поют «Аллилуйя» сердца.*

Почти под самым окном громко замычала корова, защебетали, просыпаясь, птицы. Джерард задул огарок и вышел на улицу.

Небо светлело. Стоял апрель 1648 года. И явственно, волнуяще пробуждалась земля. От нее исходил ни с чем не сравнимый сырой запах ранней весны. И этот запах, и розовеющая на небе полоска, и ликующий весенний гомон птиц, и ночь, полная самозабвенного высокого труда, все казалось ему прекрасным. Божественный свет переполнял его. Он был счастлив.

— Мистер Уинстэнли! Мистер Уинстэнли!

По дороге бежала, задыхаясь, женщина. Из фартука, который она придерживала на животе руками, вываливался хворост. Он шагнул навстречу, подхватил готовую было рухнуть грудю.

— В чем дело, Дженни? Заболел кто-нибудь?

— Нет, мистер Уинстэнли... — она задыхалась. — Беда!

— Что случилось? Может, зайдешь в дом, присядешь?

— О нет, благодарю... Мне кормить своих надо, я сейчас побегу... Я пошла собирать хворост на ближний выгон... Подхожу, темно еще, и вижу: будто я не туда зашла! Изгородь! Ее отродясь там не было. Это что же теперь — ни хворосту собрать, ни коров выгнать? Вы все время там пасли, вы знаете. Как же?..

Круглое честное лицо Дженни, тронутое ранними морщинами, горело, волосы выбились из-под чепца, над верхней губой блестели капельки пота. Испуганные глаза ждали помощи.

Значит, вчера вечером лорд, владделец земли, приказал своим работникам огородить общинный выгон. Весь манор, большое поместье, принадлежал ему по наследственному праву. Пахотную землю обрабатывали для него крестьяне — держатели и бедные арендаторы, чьи хижины лепились к подножию холма святого Георгия со стороны Уолтона. Но в манор входили еще и заливные луга вдоль Моля, и пойменные болотца, и обширные выгоны, на которых никогда никто не сеял, и рощицы, и сам холм, огромный и горбатый. Испокон века крестьяне косили здесь траву, пасли коров, собирали хворост. Теперь же, когда бедняков стало так много, когда поборы, произвол лордов и война разорили деревню до нищеты, выгоны и болотца эти стали для многих чуть ли не единственным спасением. В прибрежных тростниках можно было поймать в силки дикую утку, на лугу подбить зайца или, если повезет, лису. В роще собрать хворост для очага, в овраге скосить траву для коровы. Древний обычай свято охранял эту землю — общинные крестьянские угодья. А вот сейчас лорд, пользуясь междувластием, отгородил ее, вытеснив деревенских жителей, объявил ее своей безраздельной собственностью. Все помешались на собственности. Как будто и борьба в парламенте, и кровь гражданской войны, и бесконечные потери и бедствия были только прелюдией. Главное же — хватать, огораживать свое добро, никого не допускать к нему...

Он посмотрел на женщину. Ветхая шаль, стоптанные деревянные башмаки, исцарапанные, огрубелые руки... Как ей помочь? Ей и всем тем, кого эта проклятая изгородь лишила пищи, сена, топлива? Сердце стеснила знакомая тупая боль, радостное возбуждение ночи потухло. «Аллилуйя» петь еще рано, горько усмехнулся он про себя. Надо что-то делать. Groш цена тому, кто говорит и не делает.

— Дженни, ты сейчас иди домой. Я соберу стадо, прихвачу кое-кого из людей, и мы пойдем туда посмотрим. Не горюй, что-нибудь придумаем. Держи свой хворост.

Он бережно положил охапку в старый фартук, ободряюще улыбнулся и, только когда она, несколько успокоенная, пошла прочь, оглянулся вокруг. Лицо его сделалось озабоченным.

Дорогу постепенно заполняло теплое, сонное, пахнущее молоком и навозом стадо. Кое-где дети хворостинками стегали по бокам непослушных. Стадо шло знакомым, изо дня в день проторенным путем — дорога через село, малая роща, ближний выгон с болотцем и осокой... И вот теперь поперек этой дороги — наглая новенькая изгородь. До последнего придорожного кустика знакомые, исхоженные, вдоль и поперек места недоступны. Куда же теперь гнать коров?

В гуще черно-белого стада произошло движение. К нему шел, почти бежал маленький человечек со злым, сморщенным лицом. Огромный бык с отталкивающей тупой мордой и дважды перевязанными цепью рогами двигался за ним следом.

— Ну вот, дожили, — сказал человечек. — Ты уже знаешь?

— Знаю, Саймон.

— И что теперь?

— Надо пойти посмотреть. Что он нам оставил.

— А потом?

— Тогда и будем решать.

— Эх! — Саймон Сойер в сердцах взмахнул кулаком, на котором была намотана цепь, она зазвенела, бык боднул короткими рогами воздух. — Разрази их всех гром! Дьяволы! Мало им нашей крови! Мало того, что в каждом доме ночуют солдаты! Мало рент, штрафов, поборов! Они выгоняют бедняков из родного прихода, едва те заболеют или покалечатся на их же пашнях! Больных везут на телегах за сто миль, лишь бы не давать им пособия! А теперь и последнее у нас отбирают — пустошь! Отродья сатаны! Чтоб им никогда больше имени божьего не услышать! Чтоб им сгнить заживо!..

— Подожди... — Джерард поморщился. Он давно уже понял недейственность злобы. Разум должен быть спокоен. Вот и старый Кристофер вышел из лачуги — одной головой больше. И еще несколько фигур спешат с разных концов деревни. Джерард поднял руку, старик протянул ему кнут, и три удара, как выстрелы, как сигнал, хлопнули в воздухе. Бык взревел, коровы с краю шарахнулись, и вся лавина — коровы, козы, ягнята, подростки, вслед за вскрикивающими и тревожно переговаривающимися взрослыми покатились за село, к роще, к ближнему выгону, которого больше для них не существовало.

Несколько часов спустя Джерард сидел один на холме святого Георгия под дубом, коровы вольно разбрелись по пустоши, а он все переживал события утра.

Ближний выгон вернуть не удалось. Со сказочной быстротой выросшая за ночь прочная ограда, для остратки перевитая терновником, закрыла к нему путь. Так распорядился владелец манора — сэр Фрэнсис Дрейк. На него того и гляди наложат крупный штраф за связи с роялистами — вот и надо поднять доходы. Он будет разводить овец, наемники его — шустрые перекупщики из города — станут продавать шерсть на суконные мануфактуры. Благо управы теперь нету — король в плену на острове Уайт, парламент занят внутренними распрями, Армия бунтует. Раньше хоть статуты против огораживаний выпускались...

Ну собрались они на заре к этой изгороди, ну поохали, ну покричали. Женщины поплакали. Кое-кто из самых рассудительных поговаривал, что надо писать петицию в парламент. Так и сказать: житья от лордов нету, при короле и то больше порядка было. Саймон Сойер, неугомонный заводила, сначала грозил бунтом, красным петухом, а потом уговорил всех пойти к судье. Тучный судья нехотя вышел к ним, скорбно скривился, послушав возмущенные речи, и сказал то, что и следовало ожидать: эта земля по наследственному праву принадлежит сэру Фрэнсису Дрейку, он волен ставить изгородь там, где ему заблагорассудится.

— Но древние обычаи! Наши промыслы! — кричали ему. — Помогите, господин судья, нам нечем топить, нечем кормить коров, а коровы кормят наших детей!..

Да ведь судья каждую неделю обедает в доме у лорда. И в церкви сидит рядом с ним на почетном месте.

— Ежели вы будете бунтовать, — отвечает он, — я вызову войска. А тебе, Джон Полмер, давно пора вносить арендную плату — ты забыл? А тебе, Саймон Сойер, следовало бы быть поосторожнее — ты вообще в нашем приходе без году неделя. Ты и хижину без разрешения построил.

И притихли, потупили головы бедняки, отошли в молчании от добротного судейского дома. И Джерард отошел, хотя чувствовал, что не должен он молчать. Несправедливость мира сего требовала действия, борьбы, воли. Конечно, идти с топорами на господский дом или поджигать амбары, как предлагал Саймон, нелепо: их слишком мало, они разрозненны и слабы. Бунт будет подавлен в тот же час, как начнется. Написать в парламент? Но у сытых джентльменов из нижней палаты и без них забот хватает: переговоры с королем, растущее влияние Армии, движение левеллеров... Парламент не станет их слушать.

Надо искать иной путь — путь осознания, что есть свобода, что есть правда, что — справедливость. Он поднял голову: пусть все займется своим делом. Он поведет стадо на холм — там достанет общинной земли на всех. Бедняки привыкли уважать его спокойное негромкое слово. Они разошлись.

Осознать, что есть справедливость... Он подумал о труде, который закончил ночью. «Наступление дня божьего» назывался трактат, второй его трактат. К сорока годам он вдруг открыл в себе способность писать, и этот дар спасал его от того бедствия, в которое ввергла его судьба пять лет назад.

То было тяжелое время. Сокрушительное разорение, горечь от обмана со стороны компаньона, предательство Сузан... Все, что с таким истовым усердием создавал он своими руками — хороший дом в Лондоне, налаженный семейный уклад (с каким трепетом он жаждал ребенка!), добротный, полный товаров магазин готового платья, — все рухнуло внезапно, пошло прахом... Гражданская война разорила многих. Судьба выбросила его,

нищего, одинокого, преданного всеми, сюда, в каморку к старому Кристоферу, к простым, бедным и несчастливым, как он сам, людям. Подумать только: Джерард Уинстэнли из Ланкашира, сын купца, полномочный член компании торговцев готовым платьем в Лондоне, женатый на дочке известного хирурга, — теперь пасет скот своих соседей на окраине нищей деревеньки! Он потерял все, и отчаяние от своих несчастий еще во много крат усугублялось жгучим страданием при виде бедствий, в которых жил народ вокруг него.

Тягостная, темная, нищая жизнь. Бесконечные унижения. Нищета и грязь вокруг, больные дети, голод... Бесправие. Парламент сотрясали словесные бури, короля перевозили из замка в замок, враждующие армии проливали кровь, борясь за «истинные права» и «истинные свободы», а в деревне все оставалось по-старому. Нет, хуже, чем по-старому, ибо цены росли, ренты поднимались, солдаты стояли почти в каждом доме и опустошали и без того скудные закрома, нужда и голод гнали бедняков из селения в селение...

Когда Джерард был лондонским купцом и членом компании, он едва ли задумывался над тем, что его слуги или те, кто взрастил хлеб, лежащий у него на столе, — тоже люди. И годы бедствий понадобились для того, чтобы он, вкусив горький хлеб нужды, понял, что бедняк и есть самый лучший, самый достойный милости человек на свете. Он обладает умом, совестью, он отзывчив на добро, готов поделиться последним, пожертвовать собой. Джерард, живя в деревне, ощутил свое единство с простым трудящимся людом и обрел в этом единстве спокойную уверенность и силу. Безмерные страдания бедняков жгли огнем, он чувствовал, что должен им помочь. И он обратился к тому высшему началу, которое жило внутри него и побуждало к действию.

В долгие часы ночных размышлений или днем, на лугу, когда коровы разбредались по пастбищу и он мог отдаться своим думам, сила, более высокая, чем земной человеческий рассудок, пробуждалась в нем, приходили странные, яркие мысли, внезапные, как озарения. «Моя прежняя жизнь и все ее радости, — думал он, — были связаны с внешним, тварным миром — с богатством, друзьями, чувством удовлетворения самим собой. Я находил удовольствие в тщеславии, в комфорте для моего тела. А сейчас господу было угодно очистить мою душу, вынуть из нее шелуху мирскую, чтобы она услышала его голос».

И голос заговорил в нем. Судьба не наказала его, а освободила. Он почувствовал себя Давидом, который должен выйти на битву. Но не плотский, разящий тело меч поднимал он. Оставим Кромвелю и Фэрфаксу страшное дело кровопролития. Джерард Уинстэнли будет сражаться с грехом и проклятием, которые губят душу. На эту борьбу он выходил с открытым забралом, сжимая в руке перо. Он признавал себя орудием божьим. «Бог не всегда выбирает мудрых, ученых, богатых мира сего, чтобы через них явить себя, он избирает презираемых, неученых, бедных, ничтожных в мире сем и наполняет их своим добром, а других отпускает с пустыми руками».

И еще он понял: те чистые души, которые влечат бремя полуголодной и оскорбляемой на каждом шагу жизни, не могут и после смерти идти в геенну. Даже те, кто по темноте своей заслужил вечный огонь, должны быть в конце концов прощены. Он давно чувствовал, что нечто общее, живое, человеческое и божественное одновременно, заключено в каждом. Нет конченого негодяя на земле, как нет и святого, — в каждом, как в разбойнике благоразумном, живет искра добра и правды. Поэтому спасены будут все!

Об этом он и написал свой первый трактат — «Тайна бога». Бог любит всех людей — такова была главная мысль. Первородный грех — не некое проклятие, тяготеющее над родом людским, а вполне осязаемое зло: это жадность и себялюбие. В сердце прародителя Адама поселился Змий гордости и алчности; все беды и разрушения в мире — от него. Но злого демона этого может одолеть каждый — одолеть внутри себя. И тогда мир снова станет раем. Отвергая свою прошлую — корыстную, плотскую жизнь, он вместе с ней отверг и условия бытия подобных ему, скованных подсчетами прибыли дельцов. Он отрекся от их взгляда на мир, от погони за деньгами. Их миром правит зло алчности и себялюбия — так пусть же оно будет вырвано с корнем из душ всех людей, пусть низвергнется в бездну вместе со всеми установлениями порочного, его порождающего мира.



Он отдавал себе отчет в том, что пишет непростительную ересь. Издавна, еще с елизаветинских времен, утвердилась в Англии кальвинистская доктрина, согласно которой одни ее жители избраны богом, а другие, большинство, навеки прокляты. При этом ученые пасторы, вещавшие с церковных кафедр, недвусмысленно давали понять, что знак мирского благоденствия — одновременно и знак божьего избрания. Значит, проклятыми и обреченными на вечный огонь оказывались именно бедняки, страдалцы и на земле, и за гробом. Против этого-то Джерард Уинстэнли и осмелился поднять голос.

Сегодня ночью он закончил новый трактат, который посвятил «презираемым сынам и дочерям Сиона» — чистым душой беднякам.

Джерард расправил поудобнее свой старенький плащ, брошенный на землю, лег навзничь и поднял глаза к смутному, затянутому облаками небу. Бессонная ночь давала себя знать: тело словно набили соломой. Мысли текли по привычному руслу. Собственно, кто такие святые? Это те, кто имеет в себе дух Христов, тот самый свет, который и он познал по милости божьей. Это не дворяне и не купцы, не лендлорды, законники и пасторы. Это и не солдаты, воюющие оружием плоти. Это неимущие, обездоленные. Те, кто растит хлеб своими руками. Против кого кричат проповедники, кого преследует закон. Страдания очищают им души и делают их воистину детьми света. Вот Джон Полмер, фамилист, он ведь настоящий святой. Кротчайший человек, и мухи не обидит... И Дженни, его жена, — святая женщина. Если бы Сузан хоть немного на нее походила...

В небе кое-где проглядывали голубоватые бледные клочки, рассеянный свет резал глаза; Джерард сомкнул веки, не переставая думать о несовершенстве, о трагическом изъяне в окружающей его жизни...

Он увидел перед собой Сузан: она сидела у окна и вышивала. Лицо ее было спокойно — так спокойно и весело, как никогда не бывало в последний год их жизни. Он хотел подойти к ней и погладить открытую шею с завитками темных волос и плечи под яркой косынкой. Он желал ее и боялся. Он знал, что теперь у них будет дитя; все горести и мучительные несогласия ушли, будущий неведомый младенец все разрешил и чудесным образом расставил по местам.

— Сузан, — сказал он, подходя к ней и несмело протягивая руку. — Сузан, как хорошо.

Она подняла к нему довольное гладкое лицо, губы раздвинулись в улыбке, и он вдруг увидел два ряда сверкающих золотых зубов у нее во рту. Это неприятно пугало, у нее никогда не было золотых зубов. Он не любил золота — наглого знака материального преуспевания.

А она, продолжая улыбаться все шире, все ослепительнее, крепко взяла его за левую руку и стала сжимать запястье. Он взглянул и увидел, что рука ее, словно змея, трижды обвилась вокруг его предплечья и ползет все дальше, теперь направляясь к сердцу. И тут его осенило: Сузан имела несомненное отношение к Змию. Как же он раньше не догадался! Может быть, она сама и была Змием, духом плоти, отравившим мир, соблазнившим его своей бесстыдной прелестью?

Перед ним вдруг возникло лицо ее отца, который сокрушенно качал головой, как бы соглашаясь с ним: что поделаешь, что поделаешь... А рука-змея, холодная и неумолимая, уже добралась до сердца и, как бы пробуя силу, стала тихонько сжимать его... больше... больше... Смертный ужас обдал его холодным потом, он захрипел, ловя ртом воздух, и проснулся.

Солнце било в глаза. Сырость весенней земли прошла сквозь плащ и одежду. Джерард сел, помотал головой, оглянулся на стадо и увидел, что по дороге к нему поднимаются две фигуры.

## 2. ПОД СТАРЫМ ДУБОМ

Элизабет смотрела на этого человека во все глаза. В лице его больше всего поражало выражение скрытого страдания.

С той памятной ноябрьской ночи она ни на минуту не забывала о нем. Просыпаясь утром в своей чистенькой комнатке на втором этаже, она первым делом вспоминала о том, кто назывался Джерардом Уинстэнли. Среди деревенского безлюдья он казался ей необыкновенным, таинственным. В течение всего дня память дарила ей то одно, то другое его слово, усмешку, жест. Она открывала свои книги и в них встречала мысли, поразительно схожие с тем, что он говорил. А вечером, уже после молитвы, когда она закрывала глаза, перед ней выплывало едва различимое в темноте под черной шляпой его лицо.

Она поняла, почему черты его показались ей тогда знакомыми. Гуляя летом по дальним верескам, мечтая или размышляя о прочитанном, она, конечно, не раз встречала его. Он сидел под деревом, а вокруг бродили коровы. Но он совсем не был похож на пастуха. Красивая голова с тяжелым затылком, задумчивое лицо и осанка независимого человека не вязались с убогой одеждой, с этим кнутом в руке.

Теперь она ловила все, что говорили соседи и слуги о сектантах, о приезжих проповедниках и пастухах. И узнала, что Уинстэнли прибыл в Уолтон из Лондона лет пять назад, что в Лондоне он был купцом, торговал платьем, но, обманутый компаньоном, разорился.

Больше всего сведений приносил Джон. Как и сестра, взволнованный ночной беседой, он старался разузнать о своем новом знакомом подробнее. И выяснил, что богоданный его учитель живет на окраине села Уолтон, в семи милях от Кобэма, в лачуге у старого метельщика. Что пригласили его сюда фамилисты Полмеры, его друзья. Что он нанялся пасти скот к сельской общине, но пастушеское дело для него — всего лишь крест, искус, добровольно принятый на себя тем, кто видит в бедняке сына божия, человека святого и себе брата.

И вот они сидели под деревом, на расстеленном плаще, и говорили, будто только вчера расстались.

— Вот вы сказали, все спасутся? — спрашивал Джон. — И как же тогда мы будем жить?

— Знаешь, я думаю, все мы изменимся, совсем изменимся. Сейчас мы отравлены страстями. Наше тело, все части его, как и помыслы и душа, порочны. Мы умираем, нас кладут в землю, и прах наш, разлагаясь, передает свои пороки земле, земля — растениям, те — животным, а от них — снова людям. Так порча дьявольская множится, дух слабеет.

— И это можно исправить?

— Можно. Когда злоба и алчность уйдут из наших душ, сама плоть, все четыре ее стихии преобразятся. И с нею — вся вселенная. Солнце, и Луна, и звезды исчезнут или станут другими.

Элизабет улыбнулась. Да он — мечтатель. Она осторожно спросила:

— Но прежде мы должны умереть?

Уинстэнли живо обернулся и впервые посмотрел ей в глаза.

— Совсем нет, мисс. Это все попы выдумали ради корысти. Они обещают бедняку справедливость только после смерти, а здесь пусть терпит унижения и покоряется. Нет! — он как будто рассердился. — Они лгут, трижды лгут, говоря, что все обещания Библии имеют лишь символический смысл. Мы все, живые, вот этими руками должны строить Новый Иерусалим и преобразовать любовью самих себя и эту землю.

Он протянул вперед руки, Элизабет взглянула — небольшие твердые ладони. Ей захотелось дотронуться до них. Она подняла глаза и опять натолкнулась на внимательный и спокойный взгляд.

— Мы оскорбляем Творца, — продолжал он, — когда считаем, что так и должно быть, тираны угнетают бедняков, одни наслаждаются роскошью, у других отнимают последнее. Позор тем христианам, которые на словах проповедуют любовь и при этом обирают бедных. Законы земли и небес нераздельны.

— А что надо делать, чтобы оно скорее пришло? Это царство? — спросил Джон.

— Ищи света в себе самом. Всегда поступай по совести. Не терпи неправды.

Они не заметили, как потемнело, и, только когда дождь заструился по лицам и платью, опомнились, встали. Старый дуб не мог послужить им защитой — листва еще не раскрылась вполне. Уинстэнли прижался спиной к могучему корявому стволу, поднял над головой плащ, и все трое, придвинувшись, укрылись под ним.

Дождь припустил, коровы сгрудились в кучу, похолодало. По холму святого Георгия без дороги, галопом скакал всадник в армейском мундире — скакал прямо к дубу. Джон вдруг выскочил из-под плаща.

— Генри! — завопил он и принялся выплясывать по грязи. Потом стремительно бросился к брату.

Румяный мокрый Генри с блестящими глазами, широко улыбаясь, остановил коня, соскочил, поклонился сестре и Уинстэнли.

— Я искал вас по всему холму...

— Мистер Уинстэнли, это мой брат, Генри Годфилд, — поспешно отстраняясь и покраснев, проговорила Элизабет. — Генри, это мистер Уинстэнли... Ты надолго?

— Да нет... Я на юг еду... И дал крюк, чтобы вас повидать. Дома мне сказали, что вы гуляете, вот я вас и разыскиваю.

— Ты из Лондона?

— Нет, из Виндзора. Мы теперь там стоим, и армейский Совет тоже там.

— Что слышно в Совете, мистер Годфилд?

Генри широко улыбнулся.

— Да там-то все в порядке. Мы теперь все друзья — генералы, индипенденты, левеллеры... Из тюрьмы всех выпустили... — мгновенная тень пробежала по его лицу. — Генерал Кромвель обед в нашу честь давал.

— В вашу честь?

— Ну не в мою, конечно, но всех собрал, кто за республику: и мистера Ледло, и мистера Вэна-младшего... Отец говорил: спорили они, спорили, а потом давай подушками кидаться.

Генри лукавил: на самом деле все тревожнее становилось в Англии. Король, бежавший в ноябре на остров Уайт, вел оттуда тайные переговоры с шотландцами, в то же время коварно обещая уступки членам парламента. Кавалеры несколько раз пытались освободить монарха из-под стражи. В марте на улицах Лондона они открыто распивали вино за здоровье его величества. А в начале апреля против обманутой черни, высыпавшей на улицы с криком «Бог и король!», были двинуты боевые силы генерала Айртон. Ходили слухи о бунтах в Уилтшире, о скандале, учиненном роялистами во время игры в мяч в Кенте, о побеге из-под стражи второго сына короля, герцога Йорка... В воздухе пахло новой войной. А Кромвель добивался единства Армии и парламента, пресвитериан, индипендентов и левеллеров. Именно для этого он собрал у себя дома, на Кинг-стрит, совещание. Но и тогда он еще не знал, как поступить с монархией. И как только республиканцы открыто заявили, что короля следует призвать к суду за пролитую кровь, победоносный генерал, не находя ответа, запустил подушкой в голову Ледло, самого твердого из них. Но как скажешь об этом при постороннем, бедно одетом человеке?

Сестра будто прочла его мысли.

— Генри, милый, — поспешно проговорила она, — ты можешь все рассказать, будь спокоен... Мистер Уинстэнли — друг... Что в Лондоне? Что отец?

Генри взглянул в лицо незнакомцу. Необыкновенное лицо; оно светилось таким пониманием, такой мягкой сердечностью и внутренней силой, что он вдруг почувствовал полное, радостное доверие к этому человеку. Придвинулся ближе и заговорил страстным шепотом:

— С королем теперь все... Все отношения прерваны. Еще перед рождеством Кромвелю донесли, что он договорился с шотландцами. Их войска должны войти в Англию. Все секты будут запрещены — анабаптисты, броунисты, индипенденты даже... На три года вводится пресвитерианская церковь.

— Как это? — не выдержал Джон. — Давно ведь уже свобода веры!

— Тише ты, свобода! Слушай. За это шотландцы обещали завоевать ему трон — с оружием в руках, понял?

— Боже праведный! Генри, опять война будет?

— Не знаю, Бетти, но думаю, что к этому идет. Когда о договоре стало известно, в парламенте шум поднялся страшный. Сам Кромвель — он раньше еще пытался договориться с королем — встал и говорит: «Король — такой двоедушный, такой фальшивый человек, ему нельзя верить. Настал, говорит, час, когда парламент должен сам управлять государством».

— Они хотят вообще упразднить монархию?

— Нет, мистер Уинстэнли, не думаю. То есть кое-кто хочет, конечно. В парламенте Томас Рот, я не знаю, кто он такой, сказал: «Господи боже, избави меня от дьяволов и королей. Любое правительство лучше королевского». Но Кромвель, по-моему, хочет только Карла низложить, а монархию оставить. Говорят, они собираются ввести регентство, чтобы правил совет, а королем поставить принца Джеймса.

— Герцога Йорка? Да ему пятнадцать лет, как мне.

— Это им и нужно. Он будет царствовать, а они — править.

— А с Карлом как?

— Армия в Виндзоре выпустила декларацию о привлечении его к суду. А сколько петиций приходит! Из Бекингемшира, Сомерсетшира...

— Чего же хочет Армия?

— Свободы! Мы хотим, чтобы Англией правил парламент, избранный всеми свободными англичанами, достигшими двадцати одного года. Мужчинами, конечно. Ни король, ни лорды не могут влиять на решения этого парламента. Парламент избирается заново каждый год, чтобы одни и те же люди не сидели долго у власти. Парламент подотчетен народу, потому что верховный суверен — только народ. Народ свободен верить так, как он хочет. Никто не может принудить его идти воевать. Ему прощается все, что сделано в минувшей войне, — ну, разрушения, всякий ущерб, потравы... Что еще? Никого не судят за слова, как при короле.

— И это — вся ваша свобода?

— Почему вы так говорите? — Генри обиделся. — Это самый справедливый закон, «Народное соглашение». Он дает настоящую свободу. Перед ним равны все, он обязателен для каждого, и любые земли, богатства, должности, знатность и прочее перед ним — ничто. Какая еще может быть свобода?

— Скажите, а вправду все мужчины без исключения будут избирать в парламент? До последнего бедняка?

— Ну нет, не совсем... То есть сначала хотели, чтобы все поголовно, но потом решили, что слуг надо исключить — ведь их хозяин заставит голосовать так, как ему нужно.

— Ага, значит, все, кто находится в услужении — дворовые слуги, ученики, подмастерья, — исключаются. А сельские батраки — вы их тоже причисляете к слугам?

— Батраков — тоже... — Генри терял уверенность, — всех, кто получает плату за труд. И кто содержится за счет прихода.

— И это свобода? Слуги, батраки, работники за плату, бедняки, получающие приходское пособие, женщины — четыре пятых взрослого населения. Вы лишаете их избирательных прав. Может, и равенство перед законом на них не распространяется? Ведь они зависят от хозяина, и значит, несамостоятельны в суждении? Нет, дорогой мистер Годфилд, это не свобода!

— Свобода — это... — вдруг выпалил Джон, — это когда всем все можно! Ничего не запрещается! Каждый делает, что хочет!.. — Он бросил взгляд на Уинстэнли и поспешно добавил: — По совести, конечно.

Генри отмахнулся от брата.

— Помолчи... А вы что, хотите дать свободу вообще всем, и женщинам тоже? Вы хотите, чтобы последний нищий и мастеровой избирали в парламент? Но они неграмотны,

ничего не знают...

— Ну, книжная ученость еще не самое главное. Но если говорить о справедливости, то страной управлять должны, конечно, все ее жители. Смотрите, что получается: вы отмените привилегии, титулы, наследственное пэрство. У власти ежегодно будут сменяться хозяева — те, кто имеет собственность, слуг. Но жизнь, сама жизнь людей, изменится ли она? Вряд ли: один по-прежнему будет трудиться в поте лица, другой бездельничать и купаться и роскоши. Лорды будут обирать бедняков, ставить изгороди на общинной земле, требовать штрафы. Нищие страдалцы — бродить по дорогам, терпеть гонения. Бродяги — красть и попрошайничать. Это ваша свобода?

Генри молчал. Рука нервно подергивала перевязь. Элизабет и Джон переглянулись. Все трое совсем забыли о дожде, который не переставала сеять туча; они так увлеклись, что не чувствовали странности этого разговора в дождь, под дубом, близ стада. Впрочем, вся Англия эти годы жила в напряженных исканиях. Возвышенные споры о политике и вере, о судьбах монархии и церкви, о грядущем веке велись повсюду — в гостиницах, тавернах, казармах, на улицах, на базарных площадях и просто на лугах и дорогах, под открытым небом.

— Мистер Уинстэнли, расскажите про конец света, — попросил Джон, желая прервать неловкое молчание.

Никто его не услышал.

— Что же вы предлагаете? — бросил Генри.

Уинстэнли поднял голову, морщины на его лбу разгладились. Глядя вдаль на просветлевшее над горизонтом небо и будто не видя никого вокруг, он заговорил:

— Пока ждать. Господь сам просветит нас. А свобода? Мы можем быть посажены в клетку — и все же остаться свободными. Мы можем жить в хоромах, услаждать свои вожделения, делать все, что пожелаем, — и оставаться рабами своих страстей. Истинная любовь — это свобода от собственного себялюбия. Обретя ее, мы обретем и новый совершенный мир...

Дождь перестал, вечерняя желтоватая полоска проступила сквозь облака на западе. Генри почудилось, что он вот-вот поймет что-то очень важное, о чем не задумывался прежде. Но это «что-то» не давалось, ускользало.

— Генри, а сам ты куда? — спросила Элизабет.

Он встрепенулся:

— Я на юг еду. Гоним от самого... С бумагой. — Он важно похлопал себя по груди, взглянул исподлобья на Уинстэнли. — На остров Уайт. Джон, чтобы никому, слышишь? Там беспокойно. Раскрыт заговор. А комендантом там — мистер Хэммонд, кузен Кромвеля. Я везу ему письмо.

— От самого Кромвеля? Ух ты!

Генри в ответ надвинул шляпу на нос брата. Заступничество отца и нынешние милости Кромвеля царапали ему совесть. Он будто предал кого-то. Кого? Дика Арнольда? Капитана Брея, капрала? Но и они все, кроме Дика, сейчас на свободе, и они в фаворе. Времена меняются. Он посуровел:

— Неспокойно в стране. В Уэльсе восстание: поднялись кавалеры, того и гляди туда подойдет флот принца Уэльского. В Лондоне заговоры. Шотландцы стягивают войска к границе.

Он подтянул перевязь, поправил пистолет за поясом, свистнул, подзывая коня.

— Я поеду. Вы в городе не говорите, что меня встретили. Чтoб разговоров лишних не было...

Он сорвал шляпу и низко поклонился. Потом вскочил в седло, поднял руку, прощаясь, и с места пустил коня в галоп.

### 3. АПРЕЛЬ

Как, отчего, повинуюсь какой тайной, неизбывной потребности нашего сердца рождается любовь? И почему мы не вольны в своем избрании? И есть ли законы, познав которые, можно научиться управлять чувствами и заставить свой пульс биться ровно, а речи и поступки подчинять разуму? И откуда нерешительность, и мучительный стыд, бросающий кровь в лицо, и невозможность говорить просто?

Элизабет не знала точно, когда это началось. Может быть, в таверне, когда она увидела его впервые? Или во время разговора с Джоном и Генри, когда она, молчаливая, как и подобает девице в мужских разговорах, всматривалась в его лицо, освещенное неведомой внутренней жизнью? Или в тот момент, когда он остановил на ней внимательные глаза? Глаза были светлые, небольшие. От их прямого взгляда ей стало не по себе.

С того самого мига он, как ей казалось, говорил не только для Джона и Генри, но и для нее. Он увидел ее, она почувствовала это всем своим существом и загорелась.

И сразу то, что было просто и естественно в начале, стало невозможным. Раньше Элизабет расспрашивала о нем с легким сердцем — чистый человеческий интерес вел ее. Теперь спросить было почему-то стыдно. Еще утром они с Джоном, гуляя, говорили о нем и разыскивали его, даже задали вопрос встречному йомену, где бы они могли найти мистера Уинстэнли, и тот махнул рукой на холм святого Георгия. Теперь же, после этого взгляда, сказать брату «пойдем, мне хочется поговорить с ним», она ни за что не смогла бы. Но мысль о нем неотступно сидела в ней, тянула за душу, заставляла постоянно искать встречи.

Шла весна, трава зазеленела ярче, дорожки кое-где начали подсыхать, и Элизабет выходила из дому сразу после завтрака, не обращая внимания на ворчание мачехи: «Одна гуляешь, нет бы пойти с сестрами в город, как люди ходят, а то все по лугам да по верескам...» Мокрое солнце проглядывало сквозь облака и заставляло счастливо щурить глаза, первые бабочки кружились над пропитанной влагой землей, трава благоухала... Элизабет шла всегда в одну сторону — к мосту через Моль, у которого она встретила тогда ночью странных путников. За мостом было болотце, потом роща, а за ней поднимался постепенно и важно холм святого Георгия, общинная земля, на которой паслись коровы.

Уже когда она ступала на выщербленные бревна моста, мысль, что она может встретить Уинстэнли, мучительной горячей волной заливала грудь. И тем не менее она шла, с решимостью отчаяния переходила мост, подобрав юбку, перескакивала по кочкам болотце, пересекала редкую светлую рощицу и, сдерживая дыхание, начинала подниматься в гору... И никогда не доходила доверху. Одной, ни с того ни с сего явиться к нему? И что сказать? Она не могла решиться.

Будь еще жива мать, она, может быть, сумела бы научить ее лукавым женским уловкам, которые так изысканно и легко умели применять кокетки прошлого века. Но мать умерла слишком рано. А суровая чистота отцовского воспитания научила ее только прямоте.

Выручил Джон. На пятнадцатом году жизни мальчики начинают интересоваться главными вопросами бытия. А великие перемены, которые переживала Англия, рождали недоумение. Каков смысл единоличной королевской власти? Для чего парламент восстал на короля? Кто прав: левеллеры, сторонники Лилберна, к которым принадлежал его брат Генри, или индипенденты — те, кто, как отец его, шли за Кромвелем? Правда ли, что одни люди спасутся и попадут в рай, а другие, как ни старайся, будут вечно гореть в адском огне? Или правы сектанты, и спасены будут все? И главное — какое место он, Джон Годфилд, должен занять в этой потрясающей драме?

С раннего детства он привык соотносить все события своей жизни с образами священной истории; по ней он судил окружающих, оценивал настоящее, мечтал о будущем... Какое оно, это будущее, что их ожидает? Дома никто не мог ответить ему; школа и церковь долбили одно и то же, там было скучно. Таверна влекла и пугала, а жгучий интерес ко всему, что происходило в стране, жгучий, пристрастный интерес, не ведающий преград, заставлял искать ответа.

Как-то в субботу, уже после ужина, он подошел к Элизабет с таинственным видом и косящими рассеянными глазами.

— Пойдем завтра на холм, поговорим с мистером Уинстэнли?

Она кивнула, стараясь не выдать радости.

И утром, после проповеди, едва дождавшись конца постного воскресного завтрака, она вышла с братом из дому и пошла знакомым хоженным путем — к мосту через Моль, через болотце, в рощу, уже начинавшую зеленеть, к холму святого Георгия. Сердце ее замирало.

Когда выбрались из рощи, стало суше. Прошлогодний вереск выпрямлял побеги, над холмом звенели жаворонки.

И вот она снова видит его, и одно это делает ее счастливой. Сидеть подле него под зеленеющим дубом на расстеленном старом плаще, смотреть и слушать — что может быть лучше?

Она радостно отметила про себя, как оживилось его лицо, когда он их увидел, с какой готовностью он вскочил, поклонился, не снимая шляпы, усадил их, спросил о доме. И с какой жадностью они стали говорить! Как будто важнее этой ткани из слов и мыслей, которую они ткали вместе, вдвоем, с живым пристрастным интересом, не было ничего на свете.

— Все будут спасены, — говорил Уинстэнли, ласково поглядывая на мальчика. — Все живущие могут надеяться на спасение, и все могут достичь его.

Лицо Джона приняло лукавое выражение.

— Значит, если бог спасет каждого, то я могу жить, как мне хочется, — есть, пить, веселиться и делать все, что угодно! Я божье создание и все равно буду спасен!

— Нет, мой друг. Грех сам по себе — форма рабства. Если ты посвятишь жизнь только удовольствиям, тебя накажут не вечные муки за гробом, а больная совесть в этой жизни — страдания более нестерпимые, чем если тебе вырвут правый глаз или отрежут правую руку. И болезни тела — результат невоздержанности. Нет, свобода — в добровольном отказе от низменных радостей.

— Свобода... Свобода должна быть для всех, это ясно. Но шотландцы наступают с севера, роялисты восстали на западе. Если сейчас объявить свободу — тогда нас завоюют? И вообще никакой свободы не будет?

— Может, для свободы время еще не настало? — отважилась Элизабет.

— Друзья мои, великая битва идет везде, идет действительная реформация — реформация всего, что создал Творец. Поэтому силы зла восстают с особенной яростью. Тех, кто преследует святых работников, ведет сам дьявол, князь плоти.

— Но ведь со злом надо бороться? Если роялисты и шотландцы — слуги дьявола, их надо убивать?

— Ах, Джон, как много люди убивали друг друга, стремясь к правде! Не земным, не плотским оружием надо поражать врагов. Только меч любви сокрушит неправду. Силу плоти мы должны одолеть силой духа.

Он оглядел их с радостной, почти детской улыбкой.

— Я недавно написал книгу, друзья мои. Это не ученый трактат и не богословское сочинение, хотя я и толкую откровение Иоанна. В нем речь о нас с вами, о простых людях. Я стараюсь опираться не на букву, а на свой опыт и здравый смысл. А он говорит мне, что для бедняков, единственно достойных и мирных людей на земле, скоро настанет новое царство. Они уже и сейчас поднимаются подобно росе под солнцем. Всякое угнетение, несправедливость, ложные формы богослужения будут разрушены. И правосудие потечет по нашим улицам, как поток, и справедливость — как река... Это будет веселый мир, друзья мои, мы увидим добрые времена. Надо только уметь ждать. Ибо не месть, тюрьмы, штрафы, сражения одолевают смятенный дух, но мягкий ответ, любовь и кротость, терпение и справедливость...

Элизабет была прилежной ученицей и хорошо усвоила уроки, которые в детстве давал ей отец, а позднее — кальвинистский пастор. Эти уроки никак не соглашались с тем, что говорил сейчас Уинстэнли.

— Позвольте, сэр. Господь всегда учил повиноваться его велениям. И это он заставляет

нас бороться со злом, ожесточает против врагов, делает нас стойкими и суровыми, даже жестокими, чтобы покарать нечестивых.

— Дорогая мисс Годфилд, нельзя смотреть на бога, как на короля или полководца. Он повелел — вы пошли и исполнили. Бог — это ваш собственный высший разум, это любовь, всеохватная вселенская любовь, которая просыпается в вашем сердце.

— А как же во имя любви рыцари сражались?

— Джон, пойми, любовь победит сама! Она не самоутверждение, а самоотречение, ты чувствуешь разницу? Откажись от себя — и ты победишь. В каждом деле, самом трудном и запутанном, единственный наверняка благородный выход — пожертвовать собой. Но это и есть дело, это и есть служение правде. Весна не придет сама собой, по мановению руки господней. Настала пора от слов перейти к делу. Царство небесное должны строить на земле сами люди. Все должны работать, сознательно и терпеливо, чтобы уничтожить зло в себе и в мире...

Так они говорили долго, вкладывая в свои слова самые сокровенные силы души и с пристрастием вслушиваясь в речи друг друга. Элизабет нравилось все, что говорил Уинстэнли. Она иной раз нарочно не соглашалась или выражала сомнение, чтобы он только развил свою мысль еще полнее.

Но к этому примешивалось и другое. Ей казалось, что помимо главного, открытого смысла, в их разговоре присутствует иной, не понятный Джону мотив. В речах Уинстэнли она жадно ловила и находила тайные, но ясно читаемые, только к ней обращенные намеки.

Нет, не случайно он так много говорил о любви. Бог, говорил он, — это высочайший непостижимый дух, живой свет, главное свойство которого — любовь. Она проявляет себя в великой мудрости природы, но более всего — в человеке, побуждая его к справедливости и добру.

И каждый раз, когда он взглядывал на девушку, ей чудился свет любви в его глазах — любви не только к вселенной и всему живущему, но и к ней, Элизабет. Она поднимала ему навстречу глаза, и ничего не было прекраснее этих мгновений.

Лицо его с бороздами страдания на лбу и возле рта омрачалось, глаза делались холодными, когда он говорил о трагической несправедливости, царящей в мире.

— Если бы люди могли взглянуть в себя и теми же глазами посмотреть на мир, окружающий их... Они увидели бы одно и то же: смесь невежества, гордости, себялюбия, тиранства и пустых разговоров везде — в государствах, в советах, церквях. Эту дьявольскую власть надо сокрушить, вырвать с корнем, особенно в церкви.

— Ну что я говорил! — ликовал Джон, — Правильно, значит, надо сражаться!

— Да, сражаться, но не убивая. Зло порождает только зло. И так уже Англия потрясена до основания и залита кровью. Нет, священники, епископы и ученые сами сложат с себя полномочия, когда увидят, что низшие люди, глупцы в глазах этого мира, говорят языком истины. Ложные власти и угнетатели должны быть низвергнуты не тюрьмами и бичами, а словом правды. А главный враг правды — воображение. Оно рождает ложное представление об отделенности бога от людей, а людей — друг от друга. Оно приводит к алчности и эгоизму.

— Почему воображение? — недоумевала Элизабет.

— Человек вообразил себя владыкой мира. Ему все доступно, все позволено. Он ищет счастья и удовольствий — и только. Но слепец! Он не понимает, что не в человеческой своей природе надо искать опоры. Внезапное несчастье, разорение, болезнь — и мир наслаждений рушится. Отсюда страхи, сомнения. Отсюда раздоры и войны. Воображение создало и лживую церковь, и пустые чванные догмы, и обряды, и букву, которая убивает.

Глаза его устремлялись поверх зеленеющих лугов, к туманным холмам на горизонте, и девушке чудилось, что именно ее он упрекает, предостерегает. И правда, не поддавалась ли и она силе воображения? Может, ей только кажется, что земное чувство заставляет его так внимательно смотреть на нее и улыбаться?

Он наклонился к Джону и спросил усмехаясь:



— Ты думаешь, что Христос — человек, живший шестнадцать веков назад в Палестине, а дьявол — некий субъект с хвостом и рогами? Нет, это склонности добра и зла, духа и плоти внутри нас.

— Но дьявол, — бледнел и косил глазами Джон, — ведь он существует? Ведь это он толкает ко злу, нашептывает дурные мысли?

— Да, это вполне реальная сила. Но он внутри тебя. Это сила твоей гордой плоти. Она и повергает тебя в уныние, в сознание своего ничтожества, во мрак.

Он говорил это Джону, а для Элизабет слова его обращались к ней, имели отношение к ее плоти и ее духу. И она, слушая, старалась честно проверить себя: не плоть ли ее тянется к этому человеку, не дьявол ли ведет ее на холм святого Георгия и заставляет сидеть тут и наслаждаться, слушая его речи, и смотреть на его красивую, крепко посаженную голову с тяжелым затылком, на широкие плечи и маленькие, огрубелые от крестьянской работы руки?

Они не заметили, как пролетело время, и только когда солнце, окутанное прозрачной весенней дымкой, стало явственно клониться к закату, брат и сестра опомнились и переглянулись. Час обеда давно миновал, дома их ждал неминуемый выговор, а может, и скандал; пора было прощаться.

Джерард вскочил первым и подал ей руку. Она оперлась на нее и, вставая, почувствовала силу его мышц; радость прикосновения обдала ее жаром. Она низко опустила голову, чтобы скрыть вспыхнувшее лицо, и присела прощаясь. Сомнений быть не могло: она всей душой любила этого человека.

#### 4. ПЕТИЦИЯ

С поста, на который лейтенант Генри Годфилд заступил в полдень, была видна часть площади, зеленый газон, дом с аркадами на противоположной стороне и тревожно-яркое, торжествующее майское небо. Он стоял у одной из боковых дверей Вестминстер-холла, подставляя лицо весеннему ветру и блаженно щуря глаза. Его солдаты расположились по соседству, за выступами стены. С мая 1648 года, с тех пор, как началась вторая гражданская война, стражу у дверей парламента усилили: в городе с полным основанием опасались беспорядков. В апреле роялисты дважды имели наглость напасть на Уайтхолл с криками «За бога и короля Карла!». Армия разогнала их, но сам великий город, как и близлежащие графства, кишел заговорщиками.

Последние дни Генри часто встречал на Кингс-стрит одну пышную, претенциозно разукрашенную карету. Она принадлежала зятю Кромвеля, молодому офицеру Джону Клейпулу. Генри не мог относиться к этому человеку по-доброму. Что-то он слишком вольно ведет себя после отъезда своего сурового тестя! Генри прищурил глаза и заговорил про себя низким хриловатым голосом генерала: «Мистер Клейпул! Я не позволю вам клеймить позором мое имя! Вы своим разнузданным поведением бросаете тень на честь моей дочери! Я честный пуританин, сэр, и я требую...» — «О, простите, сэр! Да, я признаю... Повинуюсь... Пошлите меня в самое опасное сражение, сэр, и я искуплю...»

Дальше Генри мысленно увидел траурный катафалк и скромно опустившую глаза, в приличествующей печали, в черном платье — юную вдову, наконец-то свободную от ненавистного брака! Проходит год, Генри в кровавых битвах одерживает блистательные победы, покрывает себя славой, становится капитаном... нет, полковником... И вот он на коленях перед ее отцом, а она ждет в соседней комнате. «Сэр, я пришел просить у вас самое дорогое... Руку вашей дочери Элизабет...»

Громкий стук копыт прервал мечты, Генри встряхнулся, поворотился на грохот, и дыханье у него перехватило. Сон перешел в явь. Та самая карета, с бантами и перьями, влекомая четверкой превосходных коней, вылетела из-за угла и остановилась. Форейтор откинул ступеньку, и две нарядные дамы, шелестя юбками, блестя крупными жемчугами на оголенных шеях, сошли на землю. Карета отъехала.

— Мистер Годфилд! Какое счастье! — у Генри перехватило дыхание от этого голоса.

Сама Элизабет Клейпул, любимая дочка Кромвеля, подбежала к нему и с очаровательной непосредственностью схватила за рукав. — Мистер Годфилд! Там, у главных дверей, такая толпа, что мы не могли пробиться! («Боже, какая она красивая!») Мистер Годфилд! Нам обязательно надо в парламент, мой муж ушел туда с утра... Леди Дуглас — она только что приехала — у нее страшно важное дело... Голубчик, вы пропустите нас, правда?

Генри взглянул на вторую женщину и еще больше поразился. Странно блестящий, понимающий, как бы с внутренней легкой смешинкой взгляд высокой, тоже красивой, но гораздо более старшей дамы ясно сказал ему: «С этого момента я тебя знаю. И нет между нами никаких преград. Все можно».

Опешив и покраснев до корней волос, он поспешно сорвал черную шляпу, прижал ее к груди и, отступив от двери, склонился всем телом как можно ниже. Дамы на мгновение обдали его волшебным запахом, старшая задела легким бледно-зеленым шарфом, и обе проскочили в дверь. Генри еще постоял в поклоне, потом медленно выпрямился и перевел дух.

И тогда только до сознания его дошел странный шум, который доносился с площади у главных дверей. Шум этот то накатывался громче, как накатывает, гремя галькой, морская волна, то отходил, не умолкая, однако, ни на минуту. Прислушавшись, он уловил отдельные выкрики, барабанную дробь, звуки свирелей. Похоже, перед главными дверями действительно собралась большая толпа.

Тогда Генри решительно надвинул шляпу, встал спиной к двери, которую ему поручили охранять, покрепче уперся в землю ногами и на всякий случай взялся за эфес шпаги. Уж теперь-то он никого не пустит в эту дверь, будьте покойны!

И вот слева из-за угла показались люди. Впереди всех бежал, то и дело оглядываясь и взмахивая длинной граблей-рукой, нескладный верзила в потрепанном армейском мундире. Рядом поспешно, большими шагами, чтобы не бежать, шел прилично одетый господин с бумагой в руке. За ними — все гуще и гуще — толпа возбужденных, пестро одетых, кричащих, свистящих людей. «Сколько же их», — подумал Генри и, не размышляя дальше, набрал в грудь воздуха и крикнул:

— Стража! Ко мне!

Из-за соседнего выступа тотчас же показались два его солдата. Слева из-за угла рысцей выбежали еще двое: старина Джайлс и новенький, деревенский. Толпа меж тем приблизилась вплотную. Генри увидел перед собой разъяренные красные лица, в нос ударил запах лука и густой пивной перегар.

— Вот мы сейчас этого офицера и попросим! — крикнул длинный. — Пусть сходит нам за ответом!

— В чем дело, господа? — Генри старался говорить как можно внушительнее. Рука — на эфесе шпаги. — За каким ответом?

— Пусть этот сходит, раз там не пробьешься!

— Гоняют людей, как овец, тоже мне, парламент!

— Мы для них или они для нас?

Генри перебирал глазами лица, ища смысла в этом гаме. Красные, выпученные глаза, рты брызжут слюной... Да они все пьяны! Вон тот, с барабаном, едва стоит на ногах! И этот, с растерзанным воротом... И боже мой, их все больше выкатывается из-за угла, задние напирают... Он поднял руку:

— Джентльмены, тише! Что вам угодно от парламента?

Приличный господин стал тыкать ему бумагу:

— Мы петицию подали, еще утром, вот копия. А ответа все нет. Нас семьсот человек, сколько можно ждать и слоняться по городу! Мы прибыли из Серри...

— Джентльмены, я попытаюсь. Я сам из Серри. А о чем петиция?

— Ура, он сам из Серри!

Генри взглянул на протянутый лист. Перед глазами запрыгали буквы:

«Чтобы король мог быть возвращен с полагающимся ему почетом к своим

прирожденным правам... и восстановлен на троне соответственно величию своих предков... Чтобы он теперь же вернулся в Вестминстер с честью и безопасностью для разбора всех несогласий... Чтобы начатая война прекратилась... Все армии распущены...» Роялистский мятеж, еще один! И в его родном графстве!

— Беги за ответом, — тихо прошептал он Джайлсу. — И скажи, чтобы прислали подкрепление. Из Уайтхолла, из конюшен, откуда хотят! Нам долго не простоять...

Джайлс, кивнув, отступил ему за спину и проскользнул в дверь. Генри выпрямился.

— Джентльмены, спокойно! Я послал солдата к лордам, через несколько минут вам дадут ответ!

— Вот это земляк! Дайте ему выпить, он с утра небось не полоскал глотку!

— Пей, солдат, пей здоровье короля Карла! На хрена тебе этот парламент! Бог и король!

Генри отодвинул протянутую кружку.

— Нельзя, джентльмены, я на посту.

— Да ладно, было б что охранять! И своим дай...

— Не пить, — тихо, сквозь зубы сказал Генри. Его солдаты придвинулись к нему ближе.

А в толпе кто-то затянул роялистский гимн, нестройный хор с одушевлением подхватил, задние грянули тоже, отстав на полтакта. «Хорошо, что я догадался надеть латы», — подумал Генри. Короткие железные латы защищали грудь. А вот каску оставил в казарме — не на бой же он в самом деле собирался!

В спину стукнула дверь, Джайлс нес бумагу. Генри взял ее и пробежал глазами.

— Джентльмены! Лорды прислали вам ответ!

Пение затихло. Он крикнул:

— Лорды отвечают, что они сейчас как раз и рассматривают вопрос об устройстве Англии. Они не сомневаются, что смогут удовлетворить все пожелания!

Нестройный, угрожающий шум. Отдельные голоса:

— Разве это ответ? Пусть посылают за королем!

Шум переходил в рев. Подскочил низенький, сухонький человечек со злым лицом. Генри мог бы побожиться, что много раз встречал его в своей деревне. Только имя не шло на ум.

— А вы нас пропустите! Мы сами пойдем в парламент. Не хотят ответить толком, мы их заставим!

— Глотки им перерезать, вот что!

— Тихо! — Генри сам удивился силе своего голоса. — Тихо! Я не могу вас пропустить, я на посту!

Длинный в армейском мундире презрительно взмахнул ручищей перед его носом:

— А еще земляк! Да охота тебе служить этой швали?

Низенький со злым лицом подскочил к новобранцу:

— Ребята, ваш офицер проданся мошенникам! Долой офицеров!

— Ты лапы-то свои не суй! — Джайлс стукнул человечка по протянутой руке. — Прочь руки! Отойти от дверей!

Длинный как будто обрадовался.

— Он тебя ударил? Не имеет права! Ребята! Гони к дьяволу парламентских псов! — в руке у него сверкнул кинжал.

Генри выхватил клинок и крикнул:

— К оружию!

Его солдаты обнажили короткие боевые мечи, и он с ужасом увидел, как оцетинилась кинжалами, дубинками, пиками толпа. Джайлс и новенький, красные, огрызались от нападков слева. Двое других тоже что-то кричали, подняв мечи и отталкивая левыми руками лезущих, напирающих, хватающих за ворот, за рукава людей... Нечем становилось дышать. Генри спиной почувствовал дубовую резьбу двери.

Вдруг чья-то рука крепко схватила его за перевязь на груди, рванула, раздался треск, и Генри, не глядя в лицо тащившего, с силой ударил шпагой по этой руке, и чужая кровь мгновенно ослепила его, алым пятном выступив сквозь одежду.

Дальше он плохо помнил. Его оттащили от двери, и он, толкаясь локтями и ударяя шпагой куда попало, лез вместе со всеми в черный проем на тесную лестницу. Потом отбивался на этой лестнице сразу от многих, что-то крича своим и не слыша собственного голоса. Потом упал. Бок, плечо, нога повыше колена... Кажется, он был ранен. Мимо него вверх бежали сотни ног, а он старался откатиться поближе к стене, чтобы его не растоптали. Болело слева под мышкой, там было горячо и мокро.

Потом бегущих стало меньше, он приподнялся на локте и увидел чуть пониже, у входа, неловко лежащее тело новобранца головой вниз с неправдоподобно белым лицом. За головой, ступенькой ниже, поблескивая и медленно растекаясь, чернела большая лужа. Его замутило, перед глазами поплыли круги. Зажав правой рукой то место под мышкой, где было горячо и мокро, он перевернулся и встал на колени. Подождал, пока схлынет дурнота. И вдруг снова, как тошнота к горлу, стал, усиливаясь, подступать шум толпы, топот, крики бегущих.

— А!.. А!.. — доносилось к нему.

Морщась и что есть силы зажимая рану рукой, он переполз на коленях вплотную к стене, в угол, образованный поворотом лестницы, и рухнул на камни.

А вниз уже кубарем катились, бежали, оглядываясь, крича, падая. Длинный заводила с бледным лицом и выпученными глазами неся, перескакивая через три ступени, сквозь пальцы ручищи, прижатой к шее, сочилась кровь. Приличный джентльмен быстро семенил, и двойной подбородок его трясся при каждом шаге. Грохоча, отдельно от людей, катился, прыгая, большой барабан.

— Дьяволы! — пронзительно раздалось сверху. — Продажные твари! Будьте вы прокляты!

Генри увидел, как на самом верху лестницы маленький злой человечек взмахнул кулаками, пытаясь остановить бегущих, и в тот же миг сверкнуло, ударило, и еще раз сверкнуло, ударило, едкий дым пополз по лестнице, несколько тел упали и покатались вниз. Лавина с топотом и криками проносилась к дверям, там клубилась в невообразимой сумятице и давке, затем с отчаянными усилиями вываливалась на улицу.

Потом люди в армейских мундирах окружили Генри, откуда-то появился Джайлс.

— Мистер Годфилд! Вы ранены? Где болит? Вы можете идти?

Несколько рук подхватили его; охнув, он встал на ноги.

— Палата ждет вас, они требуют отчета. Вы дойдете сами?

Генри кивнул, стараясь не закашляться. Дым ел глаза. Кто-то подал ему шпагу.

На мгновение он увидел перед собой полутемную, задымленную, истоптанную сотнями ног лестницу, с потерянными в спешке платками, манжетами, шляпами... Несколько тел, неподвижно распростертых... Кто-то корчился в углу... Стараясь не оглянуться на то место у двери, где лежало тело новобранца, Генри посмотрел в сочувственные лица солдат и шагнул вверх.

Путь до палаты, со всеми этими лестницами, галереями, переходами, поворотами, все новыми мучительными спусками и подъемами, показался ему бесконечным. Он шел медленно, до крови закусив губу, с помертвевшим лицом, опираясь на руку Джайлса. Но страшнее всего этого бредового нескончаемого пути было лицо маленького человечка, которое он увидел, когда они сделали первые шаги.

Человечек лежал поперек лестницы в странной позе: его тело было болезненно изогнуто, внутренности разворочены мушкетным выстрелом, а серое мертвенное лицо источало ненависть. И тут Генри вспомнил имя: Саймон Соьер. Губы его шевелились, и хотя Генри не разбирал слов, он ясно понял по искаженному лицу, что и в смертных муках своих он проклинает, проклинает мучителей-лордов, и судей, и парламент, и проповедников, суливших ему царствие небесное, и солдат, пресекших его жизнь и оставивших сиротами его

горемычных детей, и саму жизнь свою — бесталанную, нищенскую...

Потом, очнувшись от мучительного передвижения, он увидел над собой строгие своды палаты и сотни устремленных на него глаз. Общины требовательно молчали.

— Лейтенант Годфилд, расскажите палате общин, что произошло у северных дверей Вестминстер-холла, — услышал он слова спикера.

Все прижимая левую руку к боку, а правой вцепившись в резное дерево барьера, Генри стал рассказывать. Он старался, как мог, честнее вспомнить и изложить высокому собранию последовательность событий. Самое трудное было ухватить момент начала драки. Почему он крикнул: «К оружию»? Строгая инструкция «Армии нового образца» запрещала без крайней нужды обнажать шпагу против народа.

— Они сказали, что мы охраняем шайку мошенников... И стали подстрекать моих людей к бунту... Но я и мои солдаты не хотели кровопролития. Я пустил в дело шпагу только тогда, когда меня схватили... Я не мог допустить эту ораву в парламент. Они все были пьяны.

— Неправда! Этот офицер лжет!

Палата зашумела. С одной из передних скамей энергично поднялся полноватый высокий господин в черном, и Генри, как ни мутилось у него перед глазами, узнал в нем жениха сестры.

— Мистер спикер! Господа! Я тоже происхожу из Серри. Я знаю некоторых джентльменов, составивших петицию. Мы сейчас не будем обсуждать содержание этого документа — оно достойно обсуждения в иной обстановке и в другое время. Но я должен сообщить палате, что лейтенант Годфилд исказил факты. Он, я вижу, ранен, и, вероятно, события в его голове перепутались. Мне только что донесли, что солдаты сами начали потасовку. Ни для охраны, ни для парламента петиционеры опасности не представляли. Они явились с мирными намерениями. Они желают того же, чего и мы, — скорейшего восстановления порядка. Я полагаю, мистер Годфилд слишком поспешил обнажить шпагу против представителей народа. Я требую, требую, господа, создать комитет для тщательного рассмотрения вопроса.

Губы у Генри еще больше побелели, в голове шумело. «Как же так? — думал он. — Ведь все было правильно... Они нападали, я защищался. Почему же он против меня, ведь мы почти одна семья... Даже если что не так, мог бы промолчать. Но ведь все правильно...»

У кресла спикера оказался стройный человек с тонким лицом. Он заговорил уверенно и веско.

— Господа депутаты! Я сам час назад наблюдал происходившее с галереи. Я слышал всю перепалку. Знаете, что кричали податели роялистской петиции? Что, если им не дадут быстрого и положительного ответа, они пустят кровь парламенту! К нашим дверям пришли не мирные граждане, а опасные бунтовщики. Лейтенант с горсткой людей, рискуя жизнью, защищал нашу безопасность. Посмотрите на него: он истекает кровью. А мы держим его у барьера.

— Правильно, Вэн!

— Этого лейтенанта благодарить надо!

— Отпустите его наконец, это же бесчеловечно!

Палата великодушно шумела, хваля храбрость и самоотверженность лейтенанта. Спикер прочел постановление: «За охрану безопасности палаты общин лейтенанту стражи Генри Годфилду и его солдатам выносятся благодарность».

У Генри едва хватило сил пройти от решетки до дверей к выходу. В коридоре он, стиснув зубы, привалился к стене. Если бы не дружище Джайлс, он тут же рухнул бы на пол. Сознание на миг оставило его.

Потом, как обрывки сна, проносились неясные, странные видения. Бледно-зеленый

шарф... Необычайный, зовущий запах духов... Черные склоненные локоны... Почему-то имя Элеонора... Его куда-то вели или несли, и все это сопровождалось непонятным шелковым шелестом...

Потом земля стала мерно сотрясаться, и он открыл глаза. Затылку было тепло и мягко. Генри увидел темно-красную бархатную обивку кареты, качающиеся страусовые перья шляпы, а под ней — о, чудо! — светлые завитки волос и смеющиеся зеленые глаза Элизабет Клейпул. Она приложила пальчик к губам, а другой рукой убрала прядь волос с его лба. Он закрыл глаза от счастья, потом вновь открыл их, и тут только понял, что лежит на широком сиденье в ее карете, что она увозит его прочь от парламента и что голова его покоится на коленях леди Дуглас.

## 5. «РАЙ ДЛЯ СВЯТЫХ»

День выдался пасмурный и холодный, что не столь уж редко случается в мае, но после солнечного веселого упоения и тепла это нагоняет особенную тоску. Пока процессия двигалась по грязной дороге к кладбищу, пока говорил речь проповедник, пока засыпали могилу безвременно погибшего Саймона Сойера и утаптывали на ней землю, пока женщины успокаивали сразу постаревшую, опухшую от слез вдову, несколько раз принимался сеять дождик.

Уинстэнли стоял в толпе, опустив непокрытую голову, и горестное изумление заставляло его время от времени пожимать плечами. Какая бессмысленная смерть! Не от болезни, не от старости, не за близких, не правды ради... Чужие люди, все больше господа, пришли неделю назад к ним в село и стали собирать подписи под петицией в защиту короля. Они убеждали народ, что восстановление на престоле Карла — единственное, что может спасти от огораживаний, налогов, постоев солдат, войны, неразберихи... Таверна гремела неистовыми речами. И те, кто хотел действовать, не только подписали петицию, но и решили идти с ней в Лондон.

Бедняги, как они обманывались! Они думали найти управу на лордов у короля, забывая, что и король, и лорды — одной масти. Ведь кто такой король? — потомок Вильгельма Завоевателя, который со своей нормандской дружиной захватил Англию в незапамятные времена, отнял у коренных жителей лучшие земли, установил законы для укрепления своей власти и вверг простых людей в рабство. А лорды — потомки тех дружинников. Как же можно искать защиты у короля против лордов? Он ведь говорил Саймону...

Перед глазами его с мучительной ясностью встало маленькое, изборожденное морщинами личико Сойера; с него последнее время не сходило непокорное, злое выражение. Подбородок вздернут, глаза поблескивают из-под нахмуренных лохматых бровей... Ты хотел добиться правды, Саймон, открытой борьбой? Шел со сжатыми кулаками и злобой в сердце? Комья земли стучат о крышку твоего гроба... Ты — жертва. Жертва того же Змия. О, у Змия много обличий! То он является в шелках и бархате, и золото — его приманка. То принимает вид сладостной женской плоти и требует сахарными устами наслаждений, денег, драгоценных тканей и украшений... А то вдруг обернет к тебе волчий лик злобы. Саймон поддался искушению злобы.

Глаза Джерарда неотрывно следили за длинным дождевым червем, который извивался под ногами. Заступы потревожили царство земли. Червяк сжимал и разжимал коричневое блестящее тело; и вдруг ясный холодный голос внутри Джерарда сказал: «Ты ждешь и бездействуешь. Ты ждешь и считаешь себя правым. Ты подобен этому червю, живущему во тьме. А Саймон боролся. Пусть он ошибался, но все же он шел и исполнял свое предназначение. Грош цена тому, кто говорит и не делает». — «Но что я могу сделать? — с тоской сжимая руки, спросил он себя, — Бунтовать бессмысленно. У тех, кто сильнее нас, — пушки, мушкетеры, сабли...»

Он поднял голову и увидел вокруг себя печальных, бедно одетых понурых людей; еще

одна надежда их разбита, смерть унесла самого смелого... Надо работать для них, вместе с ними. Не разрушать, а строить, приближать ежедневным трудом грядущий великий переворот. Служить ему и им, беднякам, служить всем — головой, руками, пером. И самой жизнью своею...

Толпа начала расходиться. Первой под руки повели нетвердо ступавшую измученную вдову. Дженни Полмер что-то ласково говорила ей. Потом женщины, дети, односельчане. Родных-то у них здесь нет... Он вздохнул.

Распоряжавшийся похоронами Эверард поравнялся с Джерардом. Они глянули друг на друга и, не сговариваясь, пошли рядом.

Уильям Эверард давно уже интересовал Уинстэнли — привлекал и чем-то отталкивал. Он то появлялся в Уолтоне в своем неизменном армейском мундире, то исчезал надолго неизвестно куда. Видимо, некогда он сражался в кромвелевской армии, потом бежал или был уволен. Поговаривали, что он был связан с партией политических уравнилелей — левеллерами. В самом начале мая, когда возобновилась война, он исчез недели на две, потом явился и принял деятельное участие в сборе подписей под роялистской петицией. Это было странно: левеллеры стояли за республику, добивались предания Карла суду.

Джерард украдкой сбоку посмотрел на Эверарда. Длинный, нескладный, с большим ртом и огромными красными руками, шея замотана сомнительной чистоты тряпицей. Он вперил взор в исходившее мелкой изморосью небо и шурился, готовясь что-то сказать. В нем угадывалось много сил и разнообразных страстей; и было что-то несерьезное, не внушающее доверия.

Вдруг он резко повернулся, взмахнул рукой, ощерил неровные желтые зубы:

— Доконали человека. А за что? Что он кому сделал?

Джерард промолчал. Ему не хотелось поддерживать этот тон. Но Эверард рвался к спору.

— А за что, я вас спрашиваю? Он справедливости требовал. А его убили. Парламент! Это не парламент, а куча дерьма.

— Зря он в это дело ввязался, — нехотя сказал Джерард. — Он дал овладеть собой духу злобы.

— Но ведь он добивался справедливости! И где в Писании сказано, что не надо бороться со злом? «Не мир принес я вам, но меч». Эдак вы дадите силам тьмы всю землю захватить!

— Но слова ничего не доказывают. Люди могут говорить словами из Библии и не иметь в себе духа жизни. И речи их оборачиваются ложью.

— Это я знаю. — Эверард прищурился. Лицо его быстро менялось, отражая внутренние порывы. — Но все же зло требует отпора. Нельзя ему покоряться! Если вас ударит и вы стерпите, не ответите, — вы как бы разрешите сильным и других притеснять. Вы развяжете им руки! От этого они и наглеют. Они пользуются тем, что вы, добрые христиане, покоряетесь и терпите... Если хотите, именно такие, как вы, виноваты во всем!

«Господи, какой неистовый человек», — подумал Уинстэнли, но не рассердился. Они подошли к окраине села.

— Может, зайдете ко мне? — предложил Джерард. Эверард с охотой согласился. Они вошли, скрипнув дверью, в каморку, Джерард налил в кружки молока, отрезал хлеба. Эверард с жадностью стал есть, низко наклонясь над столом и рассыпая крошки. Джерард отхлебнул молока и сказал:

— Только плоть заставляет людей убивать тех, кто отличается от них одеждой, образом жизни, помыслами... Только плоть завидует и ненавидит.

Эверард что-то промычал в ответ, азартно двигая челюстями. Он, видно, сильно проголодался. Уинстэнли уже любил и жалел этого неприкаянного, нескладного человека. Дверь скрипнула, показалась старческая скрюченная рука, затем неловко, боком в каморку вдвинулся старый Кристофер.

— Мистер Уинстэнли, я слышал, вы вернулись. Хотел спросить...

— Заходи, Кристофер, присядь. Хочешь молока?

— Благодарствуйте, я только спросить хотел... Что теперь с вдовой Соьера будет, с детишками? Отправят их?

Джерард нахмурился. Этот вопрос у него самого занозой сидел в сердце. Саймон был не из их прихода: несколько лет назад, спасаясь от нищеты, он с семьей пришел с севера. И сейчас, после потери кормильца, приходские власти могут отказаться терпеть в приходе бедную вдову с пятью детьми. А это значит, что их будут выселять из Уолтона под конвоем.

— Надо как-то помочь им прокормиться, — сказал он, — Рут может вязать или шить на продажу... Двух старших придется отдать в услужение: Роджеру уже четырнадцать, он работал на пашне, Джо скоро девять... Главное, чтобы их не выселили. Тут они хоть крышу над головой имеют и друзей...

— Судья терпеть не мог Саймона... Он с радостью будет смотреть, как вдову с детишками погонят прочь с его глаз.

— Надо найти им работу. Чтобы они не начали побираться. — Уинстэнли обернулся к Эверарду. — Сколько говорят о христианской добродетели, а не желают терпеть лишнего бедняка в приходе. Я уверен, что пастор Платтен будет настаивать на их выселении.

— Ну и я как раз об этом! Все кричат о помощи бедным, а сами ведут с ними настоящую войну! В любую погоду, со стариками, с детьми, выгоняют на улицу, травят собаками, сажают в тюрьмы! Сколько людей сейчас живут в лесах, на дорогах, в канавах! Сколько детей рождается под открытым небом! Сколько немощных помирают в придорожных рвах! А вы говорите — дух любви...

Лицо Эверарда покраснело, глаза горели. «Язычник, — пронеслось в голове у Джерарда. — Правду о нем говорят, что он не признает ни бога, ни Христа, ни Писания... Но ведь он прав — дороги Англии кишат бездомными и сирыми...»

— Не будем спорить, — сказал он, дотронувшись до обветшалого обшлага мундира. — Давайте подумаем лучше, как устроить детей...

Эверард ушел поздно. Столько важного было сказано и передумано в этот день, что Уинстэнли опять почувствовал властное желание записать свои мысли, доказать и Эверарду, и себе самому, и бог знает еще кому... Он устал в этот день, привычно ныло сердце, но лечь не мог. Он должен писать — он должен действовать.

Лицо его сделалось отсутствующим, он зажег новую лучину от старой, уже догоревшей, и склонился над четвертушкой бумаги. К кому обратит он этот трактат?

«Моим любимым друзьям, чьи души алчут чистого молока правды», — начал он быстро писать. День был окрашен мрачным цветом, и потому слова из-под пера выходили скорбные: «Земля покрыта тьмою, и бог открывается лишь немногим, которые разбросаны и разъединены меж собой... Мне было открыто, что строя на словах и писаниях других людей, я строил на песке...»

Он оторвался от бумаги и посмотрел в темный угол, где стоял покрытый тряпьем топчан — его одинокое ложе. И вспомнил свою чистую светлую спальню в лондонском доме. Чем он жил? Делом, ответят ему. Делом? Разве, это дело для свободной души — считать десятки штанов и юбок, выписывать колонки цифр, мучиться вопросом, не слишком ли дешево ты продал, не слишком ли высоко запросил? Он снова ощутил постоянное беспокойство, снедавшее его в те годы, когда он был торговцем, постоянный, не оставлявший ни днем, ни ночью страх разорения... Это был ад! Душа его горела, словно в огне, он не знал ни бога, ни покоя, ни радости.

Вот к чему ведет забота о мирских благах — человек наживает себе болезни, друзья отворачиваются от него, соперники ненавидят, а венец всему — банкротство, от огня ли, от потопа, от бесчестных поставщиков, от мора... Ты лишаешься всего, уделом твоим становятся нищета и голод, а может быть, и тюрьма... Когда Сузан узнала, что они разорены, какую сцену она ему закатила! Она кричала, что он ничтожество, жалкая, ни на что не способная тварь, что он не мужчина. Глаза ее горели ненавистью, она словно потеряла



рассудок. Погоня за богатством ведет к гневу и упрекам, к ночным кошмарам, к разрушению семей; безумие завладевает человеком.

Но спасение есть. Он вздохнул глубоко. Подумал: «Это только кажется, что человек не может жить без денег, земель, скота, прислуги... Как раз когда богатства исчезли, как дым, друзья отвернулись, близкие предали и отказали в помощи, когда все тебя возненавидели, — тогда-то и начинается настоящая жизнь». Перед глазами встал пустой дом, уже ему не принадлежавший, омерзительный сор на полу, и Сузан, нарядная, как всегда, со злым заплаканным лицом, не прощаясь, проходит мимо к отцовской карете... А в сердце у него — отчаяние, рабский страх и неверие. «Это была поистине смерть, — сказал он себе, — но только мертвому можно воскреснуть».

И он воскрес, о себе он знал это непреложно. Надо и братьям по творению помочь восстать из рутины обыденной, исстари заведенной жизни.

Конечно, Эверард прав, много зла на земле. Бедняки изнывают от голода и болезней. Их угнетают солдаты, судьи, лорды... С этим надо бороться. Но не злоба должна быть оружием. Разум — вот что поведет их на борьбу. Разум, горящий в каждом из смертных. Он говорил сам себе и бедным братьям своим: вы не жалкие, приниженные создания, дрожащий лист перед лицом неведомого грозного судии, вы сами — носители великого духа. Послушайтесь его — и вы станете сильны и свободны.

Мысль его вернулась к сегодняшним похоронам, он помрачнел. Да, мир полон неверия, лжи, злобы, рабства. Но это не может продолжаться долго. Люди сами должны работать и строить — строить счастье для всех на земле. Он так и назовет свой трактат: «Рай для святых». Святых — тех, кто восстал против тирании короля и лордов, кто бьется за справедливость, — клеймят, называют круглоголовыми, анабаптистами, индипендентами. Сильные мира сего хотят их уничтожить. Это дьявол восстает на чистых сердцем, дьявол алчной плоти.

Джерард поежился и оглянулся. Нет, никого... Но что сжимает грудь такой тревогой? Он опять вспомнил Сузан, и в душе его поднялась мутная неизжитая волна, которая всегда была связана с этим воспоминанием. Он знает, почему она отказалась следовать за ним в его несчастьях. Она никогда его не любила — он был для нее только выгодной партией, подающим надежды торговцем... Он увидел перед собой ее красивое лицо с невинно-плотоядным выражением, которое в первый год сводило его с ума, и горечь, терпкая досада, гнев, мучительный стыд — все это перемешалось вместе и жгло невыносимо...

Он вздрогнул и вытер рукой мокрый лоб. Пишу о любви, а сам... Но почему вдруг Сузан? И откуда этот леденящий страх? Мурашки бежали по затылку, по шее и дальше вниз... Ах вот оно что, он тронул Змия... И враг тут как тут: за спиной, в груди, в голове! «Ты вошел в меня, исчадие ада, — сказал он с ожесточением, — но ты не властен надо мною! Я припечатаю тебя огненными словами, я выведу на свет божий твою гнусную природу!»

«Тот дух, — перо полетело по листу, — который делает одного человека тираном над другим и обращает его даже против себя самого, — это плоть, или дьявол, что одно и то же... Он рождает соблазны богатства и похоти... Когда откроются ваши глаза и вы увидите это, тогда только закон любви воссияет в ваших сердцах, и вы освободитесь от Змия тотчас же...»

Он верил в человека. Каждый из нас, писал он, торопясь закончить, — прекрасно созданный мир. Очистите же его, изгоните из себя дьявола алчности, дайте говорить в себе духу добра и правды — и вы станете разумными существами. Может быть, Англия и брошена ныне в огонь для того только, чтобы очиститься от тщеты мира сего и стать свободной? Может быть, именно сейчас настает время, когда дух возродится в человеке, когда божьи люди — бедняки — получат земное царство во владение свое и свершится наконец великий переворот: мудрые по плоти обернутся глупцами и ученые — невеждами, а безграмотные покажут свое знание духа истины? Ведь нас много, и когда проснется в нас

новый разум, мы объединимся и будем иметь одно сердце и один ум...

Обессиленный, он откинулся наконец от стола. Тусклый рассвет нового дня брезжил сквозь щели ставни.

## 6. ИСКУШЕНИЕ

Дожди лили не переставая с самой весны. В мае едва ли выдалось два солнечных дня подряд. Лишь только облака расходились и на небе проступала долгожданная синева, как тут же словно злая темная сила нагоняла новые тучи, закрывала небо, брызгала дождем. Солдаты обеих армий, парламентской и роялистской, мокли в разбухших палатках.

Сторонники короля поднялись раньше всего в Уэльсе. Переметнулся к роялистам гарнизон замка Пембрук, старинной твердыни на берегу моря. Его вот-вот должна была поддержать всегда беспокойная Ирландия. На подавление мятежа в мае был направлен генерал Кромвель. Вместе с ним среди других офицеров выступил и полковник Годфилд. Главнокомандующий же Армией, лорд-генерал Фэрфакс, стал в середине июня лагерем под Колчестером, в 50 милях к северо-востоку от Лондона. Вместе с зятем Кромвеля Айртоном он командовал семью полками, выделенными для борьбы с роялистами в восточных графствах. Вдобавок в середине мая против парламента выступил флот, а с севера угрожали шотландцы, и кавалеры, ободренные этим последним обстоятельством, захватили крепости Бервик и Карлайл. В конце мая престарелый лорд Горинг, граф Норич, поднял крупное восстание в Кенте. Парламент, поправший вековые королевские prerogatives, оказался в критическом положении.

А дожди все лили, лили не переставая. Темные низкие тучи закрывали горизонт, пастбища под копытами коров превращались в жидкое месиво. Уже к июлю стало ясно, что и это лето, как и прошедшие два, не родит урожая, и значит, цены на хлеб еще возрастут, голод усилится, безысходная нищета оскалит зубы. И в графстве Серри, в округе Кобэма и Уолтона, было беспокойно. На юге роялисты собирали оружие. На рыночных площадях и в тавернах какие-то люди осведомлялись, не хочет ли кто продать коня.

Элизабет смотрела в окно, и беспокойные, невеселые мысли кружились в голове. Отец далеко, в Уэльсе; вести от него приходили редко. А от Генри — и вообще ни слуху ни духу. После той встречи на холме в апреле — полное молчание. В селе говорили, что он будто бы оборонял от вооруженной толпы двери парламента и в стычке был ранен... Элизабет писала в Лондон, но ответа не получила. Где он, жив ли?

Она чувствовала себя несчастной. Спасибо еще, война отсрочила ее брак с пастором Платтенем. Как-то он явился к ним в дом и объявил в присутствии мачехи:

— Я искренне сожалею, но не считаю возможным делать какой-либо шаг в отсутствие полковника Годфилда. Война бушует совсем рядом. Нам придется подождать... До осени, быть может.

Ей не хотелось думать о свадьбе. И главное, и самое мучительное — она не видела Уинстэнли уже два месяца. Одна она не могла решиться пойти к нему на холм, а Джон, увлеченный летними мальчишескими забавами, редко вспоминал странного уолтонского учителя. Лежа без сна в постели, то повторяя мысленно его слова, то стыдя себя за слишком откровенные улыбки и взгляды, девушка иногда ужасалась. Она — невеста, скоро должна стать женой пастора, а перед глазами ее неотступно стоит лицо пастуха, его глаза, устремленные на нее с вниманием и интересом. Может ли она даже подумать о том, чтобы расторгнуть помолвку с таким почтенным, уважаемым человеком, как мистер Платтен? И откуда она взяла, что Джерарду нужна эта жертва? Он рассуждал с нею и мальчиком, ее братом, о вселенской любви, а она уж и вообразила, что это любовь к ней вдохновила его на возвышенные речи!

Но в его лице сквозь страдание сияло непостижимое выражение светлой надежды и печали; он любил ее — здесь не могло быть сомнений! И когда эта последняя мысль

побеждала, Элизабет чувствовала, что готова на все — последовать за этим человеком куда угодно, расторгнуть помолвку, уйти из семьи, претерпеть позор, стыд, унижение.

И внезапно она решилась — пойти к нему и... И будь что будет.

День был ветреный, воздух легкий. С утра ярко светило солнце, потом стали набегать облака, над горизонтом затемнели тучи. Ничего не сказав Джону, она вышла за калитку и быстро, словно боясь передумать, пошла к мосту через Мошь. Ноги сами несли ее. Вот и болотце, вот роща, тревожно шумевшая под ветром глянцевыми широкими листьями. Вот и холм святого Георгия. Запыхавшись, она поднялась наверх и огляделась. Широкое плоскогорье колыхалось от набегавшего ветра, тени облаков бежали по траве. Нигде ни души.

Она, волнуясь, шла по знакомой дороге прямо к старому дубу и обдумывала первые слова, которые скажет, когда увидит его. «Я хотела повидать вас... Как вы жили это время?» Или так: «Как долго мы не виделись! Я скучаю без вас...» И пусть сам решает, как быть дальше.

Странная тишина заставила ее замедлить шаги, когда она подходила к дубу. Ни мычания коров, ни блеяния овец... Утоптанная площадка в тени, где им так хорошо говорилось весной, пуста. И вокруг — пусто. Только жаворонки поют в вышине. Элизабет поколебалась мгновение, потом, повинувшись безотчетному чутью, быстро пошла вправо.

Она шла долго, никого не встречая. Холм будто вымер. Она заглядывала в овражки, пересекавшие путь, всматривалась в купы деревьев, раскинувшихся там и сям, — но уолтонского стада нигде не было видно. Она никогда не заходила так далеко. Местность становилась все пустыннее, небо потемнело. Дорога поднималась вверх. Впереди она увидела правильный, длинный, будто насыпанный вал, за ним — какие-то развалины. «Римский лагерь, — пронеслось в голове. — Вот он где...» Она слышала, что на холме святого Георгия, на самой вершине, в незапамятные времена стояли legionеры Цезаря.

Элизабет взобралась на вал и оглянулась. Под бегущими облаками земля выглядела пестрой. Вдали, возле самого горизонта, клубилась роскошная зелень Ричмонд-парка, за ним текла Темза. У самых ног валялись в беспорядке большие беловатые камни, чуть поодаль возвышался сложенный из них маленький полуразрушенный домик. Взгляд ее скользнул дальше, вниз, в долину, и сердце стукнуло. Пестрое небольшое стадо сгрудилось на зеленой траве. Элизабет на миг закрыла глаза, помянула имя божье и стала поспешно спускаться.

Джерард сидел в тени кустарника и читал какие-то бумаги. Поднял голову, услышав шаги. Но как будто не сразу ее увидел. Вернувшись же в этот мир, обрадовался, встал и шагнул ей навстречу.

— Мисс Элизабет? Одна, в этой пустыне? А где Джон?

— Он сегодня на реке, ловит рыбу...

Она покраснела, хоть и не солгала. Покраснела потому, что не сказала брату, куда идет. И, почувствовав, что покраснела, стала заливаться краской еще больше, до корней волос. Джерард смотрел на нее молча. Она, опустив глаза, стояла перед ним; земля ускользала из-под ног. Спросила первое попавшееся:

— Что вы читаете? — и указала на листы в его руке.

Он оживился.

— Я ездил в Лондон и вот — получил оттиски трактата. Я читаю и исправляю опечатки.

— А о чем трактат?

— О, о многом. — Он взглянул на нее, как бы раздумывая, стоит ли женщине говорить о столь сложных вещах. Но лицо девушки светилось живым интересом, лоб был ясен, глаза умны; он стал объяснять.

— Эта книжка называется «Рай для святых». Я пишу о том, что святые божьи люди, бедняки и труженики, достойны рая — но не в небесах после смерти, а на нашей грешной земле. Достойны справедливой и честной жизни. Бедняк — носитель духа, его не прельстишь благами мира сего. И потому удел его — любовь.

Элизабет слушала, лицо ее выражало серьезное внимание, а сердце затопляла радость: он с ней рядом, он говорит с ней высокими словами добра и правды. А он продолжал:

— Скоро, скоро чистые души одолеют врага, и мы освободимся от дьявола угнетения. Дух уже сейчас проявляется во плоти, он распространяется в сынах и дочерях своих; Сын справедливости придет не в темные углы, а открыто: бедняки получают благодать.

— Но если доверять только духу... внутреннему чувству, легко ошибиться. Есть же Писание...

— Писание? О, здесь все не так просто. Наши высокие судьи, доктора теологии, выпускники Оксфорда и Кембриджа, заявляют, что они могут судить обо всем, ибо знают Писание. Но ведь все, кто читал Библию, могут толковать ее не хуже, чем они. Голос разума — это и есть голос бога.

— Разума? Но человеческий разум слишком ничтожен, чтобы постичь волю Отца...

— Отец небесный — это и есть ваш высший разум. Он создал все вещи и правит творением. Он различает добро и зло. Он показывает нам наши пороки, нашу темноту и наполняет нас подчас стыдом и мукой. Но он же учит нас добру, благоразумию, справедливости.

Он будто читал ее мысли. Элизабет смутилась, но все же спросила отважно:

— И это единственный наш руководитель?

— Единственный и самый верный.

Глаза его устремились вдаль, к горизонту, темневшему черными тучами.

— Пасторы и ученые проповедники говорят: вот она, истина, в этом переводе, и надо заставить народ следовать только ему; пресвитериане указывают на другой источник, индипенденты — на третий. Все они взнуздывают народ, как лошадей, взбираются ему на хребет и погоняют, куда им нужно, от одного обряда к другому — и все дальше от правды.

Это Элизабет понимала. И соглашалась всем сердцем. Но то, что Уинстэнли отрицал учение церкви, что с таким гневом говорил о пасторских проповедях... Это пугало. Она знала, что такие взгляды наказывались тюрьмою.

— А вы не боитесь, что... — спросила она нерешительно. Он сразу понял.

— Нет, — ответил твердо. — Я хочу, чтобы люди расстались с предрассудками и страхом, перестали слепо следовать мертвой букве, проповедуемой с церковных кафедр, и приняли в душу только то, что могут испытать собственным опытом и разумением.

По ветвям низкорослых колючих кустов вдруг зашумело, пошел дождь. Сгоряча они его не заметили.

— Но чему же тогда верить?

— Только разуму. Разуму внутри себя. Вы замечали — если быстрый неистовый гнев поднимается в человеке и побуждает его к диким поступкам, о нем говорят, что он человек неразумный. Но если разум правит в нас подобно царю, он сдерживает нас и внутри и снаружи, и тогда мы — разумны, и значит, полезны для своих близких.

Последние слова потонули в шуме ливня. Он обрушился внезапно и грозно, словно карающий дух в конце времен. Лохматая ржавая туча над головой осветилась мгновенной вспышкой, треск оглушил обоих. Надо было спасаться — но куда? Вокруг только кусты шиповника, дрока, терновник, колючий и мокрый. Рядом сгрудились коровы. Уинстэнли набросил плащ на плечи девушки и оглянулся.

— Там наверху — домик! — крикнула она, покрываясь плащом с головой. — Мы можем добежать...

Они устремились вверх по мокрому склону, не разбирая тропинок, навстречу им неслись мутные потоки. Поскользнувшись, она невольно схватила его за руку и на миг увидела его лицо совсем близко — оно показалось ей молодым, почти мальчишеским, румяным, с налипшими на лбу мокрыми прядями.

Оба запыхались, Элизабет бежала из последних сил, но вот наконец и домик. Джерард помог ей перебраться через развороченный порог, и они очутились вдвоем под защитой бог весть когда построенного жилища.

Внутри было темновато. На полу — охапка принесенной кем-то соломы, осколки камня. Элизабет прислонилась всем телом к ребру дверного проема. Сердце бешено колотилось; вот сейчас, здесь, где никто их не увидит, он скажет... Он подойдет к ней... Она, обессилев, смотрела на затянутые пеленой дождя холмы, на темное небо с просветом над горизонтом...

Уинстэнли стоял с противоположной стороны дверного проема и тоже смотрел на дождь. Он молчал и не двигался. Было тихо. Капли с однообразным звуком шлепались сквозь худую крышу на источенный временем камень. Невидимая тончайшая струна натягивалась все туже... туже...

Сколько прошло времени? Она наконец взглянула ему в лицо. Он, не поворачивая головы, упорно смотрел на дождь, на небо, вдаль. Может быть, он ждет знака?

— Что вы там видите? — спросила она чужим, деревянным голосом.

Он не повернул головы и сказал медленно:

— Я слежу, как пятно света движется по холмам...

Она взглянула туда, но ничего не увидела.

— Как холодно, — сказала она и поежилась. — Будто осень.

Он сбоку пристально взглянул на нее. Отвел глаза и промолчал. Кровь бросилась ей в лицо. Она вытянула руку наружу, туда, где рваные облака плыли над холмами.

— Дождь перестал, — сказала она. — Идемте.

Он подал ей руку, и они выбрались из странного убежища. Теперь только бы скорее проститься.

— Мне пора, — ей все-таки трудно было говорить, губы словно стянуло. — Это очень интересно, то, что вы рассказали.

— Я бьюсь над этим вот уже несколько месяцев. — Он опять ожил. — Главное — услышать голос духа внутри себя. Коварное плотское воображение искажает чистые мысли. Только дух внутри нас указывает верный путь. Слушаясь этого голоса, мы познаем внутренний мир, жизнь и свободу.

Они остановились. Он посмотрел на нее ласково, с улыбкой. Она скинула с плеч плащ, молча, не поднимая глаз, протянула его и присела прощаясь.

Элизабет не помнила, как она добежала по мокрой траве до спуска с холма, как добралась по размытой дороге до дому, как вошла, развязала шаль, присела к столу.

Она никому не могла бы ответить на вопрос, о чем говорили за обеденным столом, что она отвечала, что ела, что делала после обеда.

И только вечером, простившись со всеми перед сном и войдя в свою комнату, она сбросила наконец оцепенение, подошла к постели, упала головой на подушку и дала волю горячим, обильным, горьким и почти блаженным слезам.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МИР НАИЗНАНКУ

*«Услышал Ад невероятный грохот,  
Увидел Ад падение Небес,  
Низвергшихся с Небес, и в диком страхе  
Бежал бы сам, не будь неумолимой  
Судьбою он прикован к основанью».*

**МИЛТОН**

### 1. СКАНДАЛЫ

Элизабет сидела на одной из первых скамей рядом с мачехой и сестрами. Джон расположился поодаль, желая подчеркнуть свое несогласие. Поехать вместе со всеми на

проповедь ему пришлось — пастор сам пригласил все семейство и даже прислал за ними карету. И мистрисс Годфилд, которая собиралась на проповедь, как на званый обед, и по несколько раз заставляла дочерей то перевязать шаль, то поправить прическу, не позволила сыну остаться дома.

Похоже, пастор на этот раз готовил какой-то сюрприз. Первые ряды темнели добротными дублетами и воскресными шальями почтенных граждан — тут и чета Роджерсов с племянником, досточтимые купцы с женами и детьми, бейлиф Нед Саттон рядом с огромным низколобым братом Томасом, землевладельцы, фригольдеры. Сзади плотно сидели, стояли у колонн и в дверях простолюдины. С мая, после издания «Ордонанса о безоговорочном пресечении всяческих ересей и богохульства», каждому вменялось в обязанность посещать воскресные богослужения; за этим пристрасно следили церковные власти. Кто отрицал учение о святой Троице, о божественной природе Христа, о боговдохновенности Священного писания, о воскресении и Страшном суде — подлежал смертной казни. Задавать вопросы во время проповеди, возражать или оспаривать то, что сказал проповедник, категорически воспрещалось. Парламент отменил церковные суды, это так, но дисциплина! Дисциплина должна быть строгой, как никогда.

Когда Элизабет только еще поднималась по ступеням церкви, в толпе перед ней, в проходе, мелькнула знакомая темноволосая голова, и боль, и стыд, и шальная недозволенная радость того июньского дня нахлынули на нее с новой силой. С тех пор она больше не смела искать с Джерардом встречи. Она работала по дому, вязала, ходила в церковь, прилежно читала длинные романы, полные чудес и приключений, стойко молчала в ответ на раздраженные замечания мачехи или глупые приставания сестер. Старалась бороться с тоской, рисуя себе будущее — просторный пасторский дом, хозяйство, веселые детские голоса...

— Христос открыл нам путь к Сиону, — гремел под сводами воодушевленный голос ее будущего мужа. — Он призвал своих избранных установить единое богослужение, единую церковь, единое управление в ней. Единство и процветание нашей нации немыслимо без полного единения святой церкви.

Нет, не зря мистер Патрик так настоятельно приглашал их сегодня в свой приход, не зря на скамьях, в проходах, в дверях собралось столько народу. Он сообщал важные новости.

— Два дня назад, 29 сентября, парламент принял новый ордонанс о церковном устройстве. Отныне пресвитерианство вводится повсеместно. Теперь, когда на острове Уайт успешно начались переговоры с его величеством, когда вся Англия с нетерпением ждет благой вести о мире и соглашении, последняя лазейка для терпимости к расколу, этому орудию дьявола, отцу беспорядка и раздоров, навсегда замурована!

Чепец мистрисс Годфилд колыхался в такт словам проповедника, довольное лицо ее лоснилось. Сестры переглядывались с сидевшим неподалеку Чарли Сандерсом, худосочным, длинноносим молодым человеком — племянником уолтонского судьи. Элизабет бросила взгляд влево и увидела, как беспокойно ерзал на скамье Джон. И за спинами первых рядов прошло как бы легкое дуновение.

— Сколь же счастлива была бы наша церковь, — пастор еще возвысил голос, — если бы мятежи и несогласия поднимались лишь вне ее! Неверные и отступники видны для глаза, бороться с ними легко. А вот еретики, раскольники, сектанты внутри церкви — те распознаются труднее и потому во много крат опаснее! Чье благочестивое сердце не обольется слезами, видя, сколь многие гонятся ныне за так называемой свободой, за так называемой истиной, за чем угодно, лишь бы оно отдавало новизною! Для них что ново, то и истина!

Право, если бог наградил мистера Платтена каким-то даром, то даром красноречия. Как плавно, как умно, как горячо он говорил! Гладкая ладонь в черном рукаве пасторского облачения, словно птица, взлетала над белым воротником, он встряхивал большой яйцевидной головой, устремлял очи ввысь или, нахмуря брови, обращал суровый взгляд к пастве; тогда Элизабет хотелось сжаться и втянуть голову в плечи.

— Я знаю, — обличительно гремел голос с кафедры, — найдутся такие, кто скажет мне, что истина — дар божий, и власти не могут применять насилие в делах веры. Но значит ли это, что власти не вправе заставить людей идти путем благодати? Или разве запрещено выпускать законы, чтобы наказывать ошибки и заблуждения, противные истине? Обратимся к нашему приходу. Что делаем мы, добрые христиане? Вместо подчинения единой пресвитерианской церкви мы бросаемся от одной крайности к другой. От Сциллы к Харибде. Среди нас есть многократно осужденные церковью фамилисты, и баптисты, и сикеры, и беменисты, и прочие бесноватые и опасные еретики!

Вздых прошел по церкви святой Марии. Приглушенный голос сзади явственно произнес слово «терпимость», и оно прозвучало как угроза. Джон завертел головой.

— Кто-то здесь сказал «терпимость», — с готовностью отпарировал проповедник. — Терпимость — это смертоносный меч Антихриста! Те, кто требуют терпимости, не подчиняются властям, не платят церковную десятину, не посещают богослужений. Они отрицают святую Троицу, Евангелие и воскресение Христово. Мы не должны разрешать в нашем приходе подобных мнений! Ордонанс парламента призывает нас к единству. И вот сегодня я пригласил сюда всех вас, и этих людей тоже — чтобы они ответили нам на некоторые разумные и основательные вопросы. Пусть они выйдут сюда, к кафедре, и ответят: почему они не желают ходить в храм божий и исполнять предписания церкви? Не отвергают ли они тем самым господа бога и святую Троицу?

Молчание повисло над головами прихожан. Обвинение было нешуточным. Пастор немного подождал. Какая-то дама на передней скамье громко вздохнула.

— Ага, вы молчите. Вы скоры на язык в тавернах и на рынке, а здесь молчите! Если вам так дорога ваша истина, выйдите вперед и объясните ее народу под этими священными сводами. Или здесь смелость покинула вас?

— Кто говорит, что поклоняется богу, а света в себе не имеет, тот лжец!

Вся церковь обернулась назад, туда, откуда донесся дерзкий голос. Высокий человек в потрепанном армейском мундире большими шагами шел вперед по проходу. Элизабет узнала его: год назад он громче всех ораторствовал в таверне. Еще не дойдя до кафедры, он взмахнул ручищей и зло крикнул:

— Вы тут все о боге, о церкви, о единстве! Да кто вам дал право судить об этих вещах! Только тот, кому открылся господь в славе и истине, может говорить о нем!

Он выбрался вперед и встал, широко расставив ноги, перед скамьями. Пастор саркастически оглядел нескладную фигуру.

— Вы, значит, полагаете, что вам открылся господь? Допустим. Скажите, а вы где-нибудь учились? Изучали книги святых отцов? Вправе ли вы судить о божественных истинах?

— Бог внутри нас. Каждый говорит с ним в себе самом. Вы за свою проповедь мзду получаете и хотите, чтобы мы все верили так, как вы велите! А мы хотим верить по-своему.

На передних скамьях недовольно задвигались, заворчали. Мистрисс Годфилд громко фыркнула. Судья Роджерс привстал с места.

— Дозвольте мне сказать! — внятный негромкий голос раздался вдруг сзади, и Элизабет замерла побледнев. К кафедре, не торопясь, вышел Джерард Уинстэнли.

— Вы обвиняете нас, — обратился он к Платтену, — тех, кто не ходит в вашу церковь, в том, что мы не признаем бога. Что мы отрицаем Христа, Троицу, Писание, молитвы и саму веру. Выслушайте же нас — с мирным духом и сочувствием, прежде чем судить.

— Назовите свое имя, — важно произнес Платтен.

— Меня зовут Джерард Уинстэнли, из Ланкашира, я живу в Уолтоне. А это — Уильям Эверард, уроженец Ридинга. — Он слегка поклонился всем, потом обернулся к Платтену. — Сначала о боге. Я, право, предпочел бы употреблять слово «разум» вместо слова «бог», ибо речь идет о внутренней духовной силе в человеке. Это соль, которая придает вкус всем вещам. Это огонь, который сжигает тщету мира сего и сохраняет то, что чисто. Это справедливость и любовь.

Как тихо может быть в переполненном храме!

— Вы говорите, разум? — переспросил Платтен. — Человеческий разум вы отождествляете с непостижимым понятием отца и зиждителя Вселенной?

— Я зову его разумом, потому что именно он делает человека человеком; справедливость — воистину справедливостью; суд — судом; любовь — любовью. Без этого управителя они превратятся в безумие, ибо будут искажены корыстными вожделениями плоти. Эта сила обитает везде — во мне, в вас, во всем живом, во всей Вселенной. Она делает нас братьями. Не этот храм, не наш приход, а сам бог во всех нас — вот что дает истинное единение.

— Вот-вот, я то же самое хотел сказать, — не утерпел Эверард. — Ты о Христе еще скажи...

— Я говорю, — продолжал Уинстэнли, не взглянув ни на него, ни на проповедника, — что и Христос не находится вне нас; он дух, который сокрушит власть себялюбия.

— Вот где ересь! — указующий перст пастора нацелился в грудь Джерарда. — Вот ваше величайшее заблуждение! Вы полагаете, что господь Иисус Христос — всего лишь дух внутри человека. Но тем самым вы отрицаете крестную смерть и воскресение его во плоти — основную доктрину церкви!

— Христос — воплощенный дух добра и милосердия. Этот дух спасает людей от гордости, жадности, неистовых страстей.

— Но в Писании ясно сказано, что он воскрес и поднялся сквозь облака на небо, к престолу, где обитает его отец! Берегитесь! Вы посягаете на святая святых! Майский ордонанс карает такие убеждения смертью!

— Христос не обитает ни в каком определенном месте. Он везде, в любой вещи, в любом создании.

— Прекратите! — с передней скамьи, дрожа от негодования, поднялся толстый судья. Элизабет видела, как налилась кровью его шея. Он давно уже порывался что-то сказать. — Прекратите это гнусное состязание! Что происходит? Вместо того чтобы получать наставления в вере, мы слушаем богохульные речи сектанта! Ваше преподобие! Я знаю, что не должен прерывать вас, но заткните же ему рот! Здесь дети, чему он их научит! Я п-протестую!..

Он сел, трясаясь всем телом, жена и племянник с двух сторон зашептали, стараясь его успокоить. Храм загудел сотней голосов.

— Да что говорить!.. Вышвырнуть их отсюда! — взревел Томас Саттон, брат бейлифа.

Пастор хотел заговорить, но мысли его путались, привычные, давно заученные слова замирали на губах. Не то чтобы он хоть на минуту усомнился в доктринах единой пресвитерианской церкви — в избранничестве и предопределении, нет! Он был убежден, что путь Англии — это предсказанный в тысячах пророчеств путь национального единства, которое должно выражаться в единстве церкви. Что единство предполагает дисциплину, подчинение доктрине и власти, единообразие в обрядах. Ведь здоровье церкви — необходимое условие здоровья государства. Что, наконец, пуританское благочестие и строгая мораль — верный путь к построению разумного и справедливого миропорядка. Но этот безвестный еретик покушался на самые главные, самые сокровенные опоры его убеждений. Вместо единства церкви — разделение на секты, где каждый верует, как ему взбредет в голову. Вместо дисциплины — разброд, терпимость, потрясение основ! Вместо благочестивого и умеренного соблюдения обрядов — туманная вседозволяющая эсхатология! А как же Писание? Он прижал руки к груди, но Уинстэнли, не дав ему выговорить эти слова, внятно сказал:

— Я не отрицаю Писание. Я просто говорю, что оно — свидетельство духа, который присутствует и в тех, кто его составлял, и во всех нас.

— Какая наглость! — судья опять вскочил с места. — Да как вы смеее утверждать, что в вас говорит тот же дух, что и в апостолах?

Уинстэнли и бровью не повел.



— Я отвечу. Во мне говорит тот же дух хотя бы потому, что я чувствую покой и бесстрашие в моей душе.

— А как... Как достигнуть этого? — прокричал вдруг срывающийся мальчишеский голос, и Элизабет увидела, что Джон поднялся с места и подался вперед. На передних скамьях обернулись с осуждением и недоумением. Мистрисс Годфилд задержалась, зашипела, как гусыня, но Джон был слишком далеко от ее материнской длани. Голос Уинстэнли потеплел:

— То, что обычно называют путем благочестия, на самом деле уводит от истины. Мы идем за другими, мы ищем учителей, мы повторяем то, что написано в книгах. Нам говорят, — он повел головой в сторону Платтена, — что это и есть слово божье. Не верьте! Такой способ обучения — обман. Он истощает и ваши души, и ваши кошельки. Мы должны не повторять чужие слова, а пытаться понять сами.

— А что делать, чтобы пришло новое царство?

Элизабет оглянулась на этот грубоватый, хриплый голос и увидела, что странная перемена произошла в церкви. Толпа простолудинов, прежде чинно стоявших за скамьями, словно выросла, надвинулась, заполнила проход, окружила колонны; сразу стало заметно, что тех, кто сидел впереди, гораздо меньше. И сам пастор как будто съежился, на него легла тень, он не был больше хозяином в храме. Церковь святой Марии словно бы превратилась в таверну. Она снова повернула лицо к Уинстэнли и только сейчас заметила, какие у него широкие плечи, как высоко он держит голову.

— Существуют три средства, — говорил он, — во-первых, пусть главным вашим стремлением будет поступать со всеми на земле так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Во-вторых, готовить себя к великим и близким переменам. Вы увидите, что исполнить это очень трудно, ибо плоть будет искать удовольствий для себя и проявлять нетерпение. А третье — не принимайте на веру все, что вам говорят с церковных кафедр и что написано в книгах.

— Но разве Писание — не закон и путь для всех нас? — спросил еще кто-то из задних рядов, и Элизабет вспомнила, что тот же самый вопрос она задала ему тогда, в день своего позора.

— Нет! — разнеслось по храму. — Мы не должны идти путями других людей. Те, кто по должности проповедует и учит народ, не имеют в себе высокого духа; и власть, которая поставляет таких учителей, — не от отца небесного.

Последние слова гулкой медью прозвенели под сводами, и восторженный гул толпы был им ответом. Пастор словно проснулся.

— Кто дал вам право говорить здесь такое? — загремел он. — Я избран приходом! Я утвержден парламентом! Изыди, нечестивый, не оскверняй святых стен! Я исполняю свой долг, а ты что здесь делаешь?

Судья Роджерс кинул пугливый взгляд назад, на толпу, потом наклонился и зашептал что-то на ухо племяннику; тот встал и, пригибаясь, прикрыв ладонью длинный нос, проскользнул меж рядов, ужом ввинтился в толпу и выбрался из храма.

— Вы сами призвали нас к ответу. — Голос Уинстэнли не уступал голосу пастора. — И я скажу вам: пророки и апостолы не имели прихода, не собирали денег с жаждавших веры, под страхом наказания не сгоняли их в храмы, чтобы заставить себя слушать.

Эверард, о котором было забыли, взмахнул кулаком и шагнул вперед; передние ряды отшатнулись. Он крикнул:

— Кто так поступает — враги Иисуса Христа! Это они отрицают Писание и предают дух святой! А власть их — дракон огненный!

Судья нетерпеливо обернулся к дверям. Голос Джона крикнул:

— А власти?..

— Они должны позволить каждому думать, читать, писать, говорить все, что он хочет, позволить людям собираться вместе, где им удобно, и обсуждать все это; они не должны требовать десятину...

— Довольно! Довольно диктовать! Мы и так слишком долго вас слушаем! Мы сами — слышите! — сами начали борьбу за права англичан! Мы с самого начала выступали в парламенте против епископата, против папизма и ложных обрядов! Мы защищали ваши свободы, мы открыли вам Священное писание, мы говорили о единстве с богом вместо единства с королем. А вам все мало! Вы хотите идти дальше — к безграничной свободе, а она есть хаос и безобразие! Вы отрицаете уже не епископские установления, а само Писание! Вы и отца небесного провозглашаете просто разумом, который движет последним пастухом! Вы... вы хотите перевернуть весь мир вверх дном! Вы не понимаете в темноте своей, что власть и порядок существуют только до тех пор, пока сохраняется единство церкви. Вы... вы — сеятели мятежа, вот вы кто!

Голос пастора дрожал, подбородок трясся, рот брызгал слюной. Элизабет смотрела на него и видела то, чего не замечала раньше: лысеющий потный лоб, мясистые щеки, редкие сальные волосы... и лицо, искаженное обидой и злобой. Как могла она согласиться стать женой этого человека? Как могла предать себя и подавить то, во что верила всей душой? О, рабская, рабская натура! Она еще и детей рожать ему собиралась!.. Ей стало стыдно, кровь бросилась в лицо. Она опустила на мгновение голову, потом подняла ее, глянула на Уинстэнли, и радость снова проснулась в ней. Пусть им никогда не быть вместе, пусть он о ней и не вспомнит даже, она все равно будет с ним — всем сердцем, всеми мыслями, до конца... Непостижимая, уверенная сила исходила от этого человека. Никто не смел ему возразить, даже судья затих мешком на своем месте.

— Еще одно слово. — Уинстэнли обращался к пастору, как к ровне. — Вы сами вызвали меня для объяснения. Вы обвинили всех, кто думает подобно мне, что мы отрицаем бога и Писание, пророков и апостолов. Я отвечу сполна. Я свидетельствую перед всеми, что в жизни своей я стараюсь идти теми путями, по которым ведут меня моя совесть, разум и Писание. Я терпеливо и с уважением отношусь к тем, кто со мной не согласен. Я готов преломить хлеб со всеми, кто ищет истину, искренне поведать им свои мысли и с сочувствием выслушать их. Вот моя вера. Но это еще не все. Вы спрашивали меня, я вам ответил. Теперь вы ответьте мне: разве Павел, наставляя в проповеди Тимофея, учил его торговать своим словом? А что делаете вы, получая вознаграждение за проповедь? Почему вы крестите детей, хотя бы они того или нет, — не для того ли, чтобы собрать побольше денег с их родителей? Не кажется ли вам, что вы сами отрицаете Писание, и божьи установления, и самого Христа корысти ради? Пусть все, кто слышал вас и меня, рассудят между нами.

Тут невеста откуда появился маленький черный человечек, схватил Уинстэнли за руку, что-то шепнул, и они поспешно ступили за колонну. Какие-то люди в простой одежде хлынули в проход, затолпились, скрыли от Элизабет и Уинстэнли, и человечка в черном, и Эверарда. Она увидела, что толстый судья с красным лицом что-то толкует Платтену у кафедры, и вдруг мерный топот и звон послышался сзади, в дверях. Толпа шатнулась к центру, освобождая левую сторону, и взвод солдат двумя шеренгами вошел в церковь. Усатый молодой офицер с темным, изрытым оспой лицом и бегающими глазами подошел к кафедре и отдал честь. Потом поднял руку и зычно, с видимым удовольствием от сознания своей власти крикнул:

— Разойдись! Всем выйти из храма!

Простолюдинов как ветром сдуло. Элизабет встала вместе со всеми и двинулась к выходу.

— Скорее, скорее, к карете, — суежилась сзади мачеха. — Бог знает что такое! В храме! Анна, потом завяжешь свою ленту, тут того и гляди под арест угодишь. А где Джон? Где этот негодный мальчишка? Джо-о-он!

Она привсталала на цыпочки, вертелась грузным телом, звала, но все было напрасно. Храм быстро опустел. В нем остались только солдаты, капитан Стрэви, судья и пастор. Джона не было ни внутри, ни снаружи, ни возле кареты.

## 2. БРАТСКАЯ ТРАПЕЗА

— Тебе надо уходить, Уильям.

— А ты?

— Я пережду здесь несколько дней и уеду тоже. Нечего и думать сейчас показаться.

— А твои коровы?

— Стадо пусть пасет Роджер, сын Сойера. Мальчик уже может делать эту работу. Я заверну на Чилтернские холмы, а потом в Лондон, к издателю. Подождем немного, пока все уляжется.

— Мистер Уинстэнли, вы думаете, вас арестуют?

— Все может быть, Джон. Время, сам видишь, какое, А тебе бы лучше пойти домой, поздно уже.

— Сейчас, мистер Уинстэнли, ну еще немножечко.

Они сидели в лачуге, притулившейся в пустынном месте у подножья холма, еще более тесной от сгустившейся вокруг темноты. Лучина, потрескивая, горела над столом, скудная трапеза бедняков подходила к концу. На большой кровати тихо посапывал спящий ребенок. Маленький черноволосый Уиден, хозяин лачуги, был рад гостям. Глаза его блестели. Он кликнул жену, которая выгребала золу из очага, и велел принести еще пива.

Эверард зябко поежился, втянул голову в плечи, прислушиваясь к резким порывам ветра, ударявшим в ставни.

— Уходить, говоришь? Ладно, я двину на рассвете в Кингстон. — Он подмигнул. — А здорово мы их сегодня?

— Разум дает уверенность и покой.

Джон подпер подбородок кулаком, глаза устремились на красноватый огонек лучины.

— А как этот разум всем управляет?

— Смотри, как разумно устроен мир: облака проливаются дождем, иначе земля не родит хлеб, траву и плоды. Трава нужна скоту, а скот — людям. Солнце дает тепло и свет, без которых жизнь невозможна. И тот же Разум побуждает человека жить в мире со всеми, подавлять в себе злобу и гордость.

Эверард замотал головой, положил на стол кулачище:

— Опять он о добре и мире. А они тебя живьем готовы сожрать. Вон солдат кликнули; если бы Уиден не увел нас через боковую дверь, сидеть бы нам сейчас в «Белом льве» под замком.

— Я говорю только о том, что все мы нуждаемся друг в друге — все люди. И потому надо поступать с другими по справедливости.

— Это мы уже слышали! — Эверард схватил принесенную хозяйкой кружку, отхлебнул. — Но в жизни вот что получается: нас с тобой, чистых душой и справедливых, того и гляди схватят и посадят под замок, добрый и святой Полмер с голоду с семьей подыхает да еще солдат кормит, а все эти судьи, пасторы, лорды живут припеваючи.

Джерард задумался. Эверард прав, богачи безнаказанны. Они пользуются трудом крестьян, отбирают у них ренту, десятину, общинные поля и наслаждаются благами жизни. А бедняки молча терпят унижения. Мало того, что всю неделю они трудятся на полях лорда, и в воскресенье их, словно стадо, гонят в церковь слушать лживые слова попов, которые сосут их кровь... Когда началась война с королем, он думал, что парламент воюет за бедняка, чтобы дать ему землю и права. Но война шла и разоряла больше всего тех, кто трудился на полях и в мастерских...

— Ты думаешь, они счастливы, судьи и лорды?

— Конечно. Чего им еще надо?

— Ты видел их лица? Искривленные злобой, страхом. Нет в них радости. Злоба и жадность разрушают человека. А разум заставляет радоваться и благословлять небо.

— Да ты блаженный совсем! — Эверард опять рассердился. — Где этот твой разум, где?

— Не скажи. Есть, конечно, темные, слепые души, но есть и голос совести. Он есть в

каждом. «Почему ты горд, — говорит он. — Почему жаден? Почему нечист? Почему злишься на ближнего?»

— А если ему так нравится?

— Ему так нравится потому, что он ходит, как медведь на цепи, за желаниями своей плоти, хватается за внешние предметы, которые оказываются перед ним, и не видит дальше своего носа. Ты спишь, Джон?

Лицо мальчика было бледно и неподвижно, он не отрываясь глядел на трепещущий язычок пламени.

— Нет, — сказал он глухо и серьезно. — Я не сплю. Я думаю. Зачем это все так устроено? Зачем бог допускает, чтобы мы жили во тьме и были бессильны перед злом?

Уинстэнли посмотрел на него очень внимательно.

— Мы не бессильны. И свет нам открыт. — Он тоже обратил взгляд на яркий огонек лучины. — В нас должен проснуться новый человек, свободный и могучий; тогда начнется великая работа. Люди будут сами строить счастливую жизнь. Бедняки, униженные и забитые, поймут свое назначение, их жизнь обретет новый смысл, они будут работать вместе и радоваться свету... — Лицо его помолодело, и Эверард вдруг увидел, что они очень похожи — этот мальчик и Джерард.

Кто-то легонько стукнул в ставню снаружи, Эверард вздрогнул, сидевшие за столом переглянулись. Хозяин подошел к двери:

— Кто здесь?

— Открой скорее, старина, это я, Полмер. Сюда идут, скорее!

Дверь впустила маленького фамилиста.

— Мистер Уинстэнли, Уильям! Мальчишки прибежали ко мне, говорят, беда! Солдаты прочесали Уолтон и теперь идут по Кобэму. С ними бейлиф. Может, кто-то указал им, не знаю. Они ищут вас, вас арестуют! Прячьтесь или уходите.

Все вскочили.

— Вот он, твой разум! Я говорил! — отчаянно зашептал Эверард.

— Джон, выходи первым и немедленно — домой, бегом, понял? Уильям, возьми коня и скачи к Кингстону. С какой стороны они идут?

— С юга, вы успеете, я вам коня привел. Скорее!..

— Друзья, с богом! Мы расстаемся ненадолго. Спасибо за все!

Октябрьская ночь проглотила последние слова. Дрогнули и сомкнулись кусты живой ограды, пропустив юркое тело Джона. Тихонько заржала, потом тронулась к пустоши лошадь Уидена с Эверардом. Конь, принявший на себя Уинстэнли, поскакал, взметая копытами клочья дороги, к северу. Спасительная ночная тьма скоро сгладила все блики, порывы ветра заглушили топот. Когда отряд солдат под командой капитана Стрэви подошел к хижине, лучина уже не горела над столом, хозяин с хозяйкой мирно спали на большой деревянной кровати, четырехлетний сынишка уютно посапывал рядом.

Спасительная тьма, однако, только на время укрыла беглецов от людской злобы. Неделю спустя стало известно, что Уильям Эверард арестован в Кингстоне, на постоялом дворе, и посажен в местную тюрьму. Об Уинстэнли никто ничего не знал.

Но в Лондоне, в печатне Джайлса Калверта, под черным распростертым орлом близ собора святого Павла, — в печатне того самого Калверта, который издавал труды Якоба Беме и не боялся выпускать в свет памфлеты самых отчаянных сектантов, спустя некоторое время вышел новый трактат. «Истина, поднимающая голову над всеми скандалами, — стояло на титуле, — где объяснено, что есть Бог, Христос, Отец, Сын, Дух святой, Писание, Евангелие, молитва, таинства божьи». И имя сочинителя тоже стояло на титуле: Джерард Уинстэнли. Автор излагал свои взгляды на указанные предметы, а также защищал от несправедливых обвинений себя самого и Уильяма Эверарда, арестованного бейлифами Кингстона.

### 3. НЕСЧАСТНАЯ ЛЕДИ И ЦАРЬ ВАЛТАСАР

Он чувствовал себя усталым. Последнее время это незнакомое раньше состояние приходило к нему все чаще, и он, упрямо не желая признать, что надвигается старость, старался объяснить все сиюминутными, житейскими причинами. Что ж мудреного, что устал: вторую войну он божьей милостью выигрывает для Англии. Тяжелейшая осада, дикий Уэльс с варварским непонятным языком и слишком горячим народом, походная жизнь, жара, пушки, борьба за продовольствие, а потом? Он пересек всю Англию от Уэльса до Престона, блистательно выиграл еще одну битву, снова повернул на север, победил в жестоких стычках шотландцев, заключил с ними союз и теперь вот стоял под Понтефрактом, последней твердыней роялистов.

А у шотландцев есть чему поучиться. Кромвель поднял тяжелую голову над недописанным письмом и задумался. Этот мрачный Аргайл с малыми силами сначала вычистил сторонников английского короля из Комитета сословий — хоть их было большинство! — а потом совсем распустил квазипарламент. «Этот пример, — думал он, — ей-ей наводит на размышления... Правда, Аргайл опирался на Кирка... У нас этой опоры нет. Но у нас есть Армия! Армия как раз и может почистить парламент, зять Айртон прав... И левеллеры сейчас на нашей стороне. Эх, Рейнсборо, Рейнсборо!»

Он обхватил голову руками, сжал, зажмурился. Вчера ночью он узнал, что убит Рейнсборо — заколот на улице кинжалами. Товарищ в борьбе, смелый, непримиримый, убит роялистами. Всем известно, что он — главный сторонник суда над Карлом.

Пламя вздрогнуло, завеса над входом в палатку отодвинулась, и вестовой просунул озабоченное лицо:

— Сэр, вас тут спрашивают...

— Ну кто еще, Дик? Я же предупреждал...

— Это леди... Говорит, ехала из Лондона специально повидать вас. С ней офицер полковника Скиппона.

— А, это другое дело. Проси. — Он встал и застегнул мундир.

Вошла женщина высокого роста, уже не первой молодости, с блестящими черными глазами. «Аристократка», — сразу неприязненно подумал Кромвель. Она спокойно и плавно подошла к столу, села, и убранство походной палатки сразу же показалось ему убогим. Дело было даже не в том, что из-под дорогой темной шали выглядывало кружево воротника, а над ним поблескивали жемчужные серьги. Дело было в особом, праздничном и трогательном выражении ее лица, с живым доверием обратившегося к нему.

— Генерал, мое имя леди Дуглас. По первому мужу Дэвис. Элеонора Дэвис, урожденная Туше, я дочь лорда Одли...

Кромвель не умел быть галантным с дамами. Но что-то заставило его почтительно склонить голову.

— Чем могу служить, миледи?

— Видите ли, генерал, ваше имя, ваши победы над врагом... Не смотрите, что я аристократка, враг у нас общий. Я потому к вам и приехала.

— Вы прямо из Лондона, по этой погоде? Но что привело вас в такую даль?

— Генерал! Я расскажу все по порядку.

Она подняла глаза, лицо ее оживилось и показалось Кромвелю прекрасным.

— Двадцать три года назад, двадцать восьмого июля — я помню все, как сейчас, — меня ночью внезапно разбудил голос. Вокруг никого не было, я была одна в моей спальне. Но голос — невероятный, неземной голос сказал мне: «Девятнадцать с половиной лет осталось до суда, знай это ты, смиренная дева!» Я не могу передать словами звук этого голоса — он до сих пор переполняет меня сладостной дрожью. — Она действительно слегка задрожала и обратила широко расставленные глаза на Кромвеля. — Вы понимаете, генерал, что это означало. Господь избрал меня, недостойную, чтобы я несла миру его слово. Я потом получила подтверждение. Вы верите в анаграммы? Буквы имени и фамилии перемешиваются, и из них составляются новые слова. О, эти слова говорят о многом! Из

моего имени — Элеонора Одли — я прочла слова «роль» и «Даниил». На меня возлагается роль пророка — это ли не указание!

Кромвель посмотрел с недоверием. Он верил в пророчества и чудеса, которыми столь полна была сейчас Англия, и знал священное волнение при чтении знаков божьих. Но так просто!.. Он все-таки привык мыслить трезво.

— Ну а мое имя? Что можно прочесть из него?

— Пожалуйста. Можно перо? Одну минуту... Оливер Кромвель... Мор... кровь... верил... велик... король... Король! Обратите внимание!..

Кромвель сделал протестующий жест.

— Минутку, сэр, не спешите... Вот! Орел! Велик. Верь. Видите. Вы ведь и вправду орел и великий человек. Вам можно верить. А может быть, и король... Кто знает?

Лицо генерала окаменело, он твердо посмотрел на женщину:

— Вы с этим и пришли ко мне, миледи?

— О, нет. Я приехала, чтобы преподнести вам мое пророчество. Но по порядку, по порядку... С помощью такой вот анаграммы я предсказала смерть моего первого мужа и надела траур по нему за три года до рокового удара. В двадцать седьмом году я предрекла королеве шестнадцать счастливых лет жизни и рождение наследника. Вы ведь помните, что ее несчастья начались в сорок третьем году, ровно через шестнадцать лет. Через год я предсказала смерть Бекингема, и обо мне заговорили повсюду. Но король Карл невзлюбил меня. Он, может быть, думал, что это я насылаю на него несчастья... Я боялась, что меня арестуют, архиепископ Лод уже делал предупреждения. Но молчать я не могла. В тридцать третьем я поехала в Амстердам и там напечатала свои пророчества. «Из Вавилона песнь моя к тебе, Сион любви...» Уже тогда я знала о гибели Карла, вы увидите сами. По возвращении меня схватили, судили в высокой комиссии, приговорили к штрафу и посадили в тюрьму — без пера, чернил и бумаги... Я оттуда все же послала письмо королю — добрые люди помогли мне — и предсказала смерть Лоду. Тогда архиепископ собственноручно сжег мои пророчества, меня провели через позор публичного покаяния, а потом — опять в тюрьму... Сколько тюрем после того я повидала! Королевская тирания не знала милосердия — я извела даже ужасы Бедлама... А оттуда предсказала пожары в Лондоне, и они действительно произошли. В наказание меня посадили в Тауэр. О, моих бедствий не счесть, чего я только не перенесла! — Она судорожно сжала на груди руки, и у Кромвеля мелькнула быстрая мысль: «А может, она и впрямь того... Не в своем уме, а?»

Живое, полное страдания лицо обернулось к нему, черные завораживающие глаза глянули в душу:

— Долгий парламент освободил меня. Судный день наступил точно в предсказанный срок — не для всей Англии, а для ее гонителей. 10 января 1645 года, ровно через девятнадцать с половиной лет после того, как я услышала голос, Лод, гроза и ужас всех добрых англичан, был обезглавлен. Все, кто преследовал меня и чинил зло, рано или поздно получили воздаяние. И вот сейчас, когда главный преступник, Карл Стюарт, должен дать ответ за свои злодеяния, я решила перепечатать мои предсказания — те, что я издала в Амстердаме... Они вышли только что, и вот я привезла их вам, с глубоким почтением склоняясь перед вами...

Из складок темной шали на груди она достала свернутые трубочкой листы и протянула ему.

— О, благодарю вас.

Кромвель надел очки и углубился в чтение. Без сомнения, эта женщина чувствовала то, что надвигалось на Англию. Она и вправду предрекала гибель Карлу:

*«Из Вавилона песнь моя,  
К тебе, Сион любви.  
В ней правды больше, знаю я,  
Чем думаете вы.*

*Царь Валтасар созвал на пир  
Наложниц, лордов, слуг,  
Ему подвластен целый мир,  
Он Фебу с Вакхом друг...  
Но чья рука как бы в огне,  
Сквозь пириества угар  
Выводит буквы на стене?  
Страшися, Валтасар!»*

Кромвель снял очки, посмотрел в лицо женщине.

— Но почему именно мне?

Она протянула тонкую, в кольцах, руку:

— Вы посмотрите на первой странице, там надписано.

Он вернулся к началу. Наискось над заголовком бисерным изящным почерком было выведено: «Миссия Армии. Се он грядет с десятью тысячами святых своих чинить суд над всеми». Он усмехнулся.

— Но не все из нас — святые, — сказал он осторожно.

— Не все — может быть, — ответила леди с достоинством. — Но я верю в вас. И благодарю.

Она поднялась, что-то шевельнулось у двери ей навстречу, и Кромвель только сейчас заметил молодого человека, молча стоявшего у входа во все продолжение разговора. Он вгляделся в румяное, свежее лицо, доверчивое, с круглым подбородком и светлыми пушистыми усами, и вдруг узнал:

— Лейтенант Годфилд! А вы какими судьбами? Хотите повидать отца?

Генри вытянулся:

— Сэр, я теперь служу у майор-генерала Скиппона. Мой полк ушел к Колчестеру, пока я лечился от ран.

— Но что привело вас сюда?

— Я сопровождаю леди Дуглас. Майор-генерал отпустил меня. Нельзя же ей было отправиться одной — на дорогах опасно.

— А скажите... — какая-то очень полезная мысль шевельнулась в голове Кромвеля, не оформившись еще окончательно. — Постойте... Дик сейчас отведет миледи в дом, где ей можно будет поужинать и расположиться на ночлег. А мы с вами немножко потолкуем. — Он обернулся к женщине. — Мадам, я благодарю вас от всего сердца за ваш трогательный дар, за ваше доверие. Но вам надо отдохнуть. Ричард! Проводи миледи к Ашеру, там ей будет удобно. Да посмотри сам, чтобы она ни в чем не нуждалась. Доброй ночи, мадам, завтра утром я сам провожу вас. Я не настаиваю, чтобы вы гостили здесь подольше — мы осаждаем крепость, и в нашем лагере небезопасно...

Он проводил гостью к выходу, потом обернулся к Генри, и с лица его разом сбежала улыбка.

— Сядем, — сказал он. Они сели к столу, и генерал на минуту прикрыл глаза рукой. Он мысленно увидел перед собой бескрайнее Коркбушское поле, наводненное красными мундирами, холку своего вздыбившегося вороного и круглые, белые от ужаса глаза этого лейтенанта под нависшими копытами коня... Да, юноша связан с левеллерами, которые требуют суда над королем, всеобщего избирательного права, введения республики и новой конституции — «Народного соглашения». И хотя Кромвель недолюбливал левеллеров и побаивался их плебейского демократизма, который представлялся ему опасным, он сознавал, что сейчас, когда силы их столь возросли, с ними во что бы то ни стало надо договориться. Нельзя ли дать знать об этом зятю Айртону через молодого офицера...

— Скажите, — он оторвал руку от лица и доверительно глянул на лейтенанта. — Что там, в Лондоне? Парламент меня поносит по-прежнему, а?

Генри спрятал глаза.

— Да нет, — ответил он не очень уверенно. — После того доноса, Хентингдона, вы знаете... вроде бы ничего...

Кромвель знал. Майор его собственного полка донес в парламент, что он, Кромвель, будто бы собирается погубить всю королевскую семью, низвергнуть парламент и единоличным правителем стать у власти. Клевета была напечатана, разошлась по всей Англии, ее повторяли и друзья и недруги. Теперь еще эта леди с анаграммой... Все подозревали его в своекорыстных намерениях. Надо разубедить их. Надо, чтобы все шло как бы само собою, без его участия. А для этого надо договориться с левеллерами — пусть действуют они...

— Лейтенант Годфилд, — сказал он и теплым отеческим жестом положил ладонь на рукав Генри. — Я знаю нашего отца как прекрасного офицера и верного друга. Могут ли я доверять вам?

Генри сглотнул от волнения и кивнул с готовностью.

— Завтра я дам вам одно письмо. Оно должно попасть прямо в руки моему зятю Айртону, и никому больше. Надеюсь, вам ясно. — Он посмотрел Генри прямо в глаза и остался доволен: преданный, открытый, бесстрашный взгляд. Мальчик будет достоин отца, если... Если не выберет левеллеров. Он встал.

— Доброй ночи, лейтенант. Да благословит вас господь.

Назавтра темная старомодная карета с кожаной завесой вместо двери резво катилась на юг по равнинам средней Англии. Генри сидел рядом с леди Дуглас, и они, как дети, перебивая друг друга, обсуждали вчерашнее.

— Я говорила, я говорила, — твердила восторженно Элеонора Дуглас, — он человек необыкновенный, великий человек, ему суждено... о, ему суждено совершить многое!

Генри кивал головой. Он не переставал восхищаться этой женщиной. С тех пор как он попал к ней в дом тогда, в мае, едва живой от ран и потери крови, она заменила ему и мать, и сестру, и даже образ Элизабет Клейпул в его душе поблек, отодвинулся куда-то. Ему было безразлично, сколько Элеоноре лет, — с ней всегда было интересно. Глубокие и очень верные политические наблюдения (о, она хорошо знала свет, бывала при дворе и испытала многое!) она перемежала с невероятными мистическими откровениями, полубезумными фантазиями, а иногда — взбалмошными выходками, вроде этой поездки к Кромвелю. Многие годы тюрьмы и бедствий дали ей силу, трезвый житейский взгляд на вещи и бесстрашие.

Короче, Генри пребывал в плену эти полгода — в восхитительном плену на обитых штофом диванах, среди старинных портретов, фолиантов, предсказаний; он стал ее пажом и поверенным; он помогал ей составлять анаграммы и никогда не уставал слушать ее живую изысканную речь, полную и пафоса, и юмора одновременно. Из-за нее-то он, когда поправился, и не стал догонять свой полк, ушедший сражаться к Колчестеру, а поступил в лондонскую милицию<sup>2</sup> генерала Скиппона и каждую минуту, свободную от дежурств и учений, проводил у нее.

— Вы правы... — он обдумывал то, что она сказала. — В нем так много силы. И знаете еще что? Я вчера смотрел на него... Лилберн, по-моему, ошибается. Кромвель произвел на него впечатление честолобца, который стремится к личной славе, а не к свободе народной.

— Ну что вы, Генри! Не слушайте своего одержимого Лилберна! (Господи, как трясет, ну что за дорога!) Кромвель, говорю вам, великий человек. Он, и никто другой, спасет Англию. — Она вдруг сжала ему руку. — А знаете, я нынче ночью о вас думала. Я ведь вам тоже обещала анаграмму. Прежде всего, «не лги» — говорят ваши буквы. Это я всегда знала, вы честный юноша, достаточно взглянуть вам в лицо.

Карету трясло, осенний дождь стучал по крыше, оба, устав, замолчали. Генри откинул

---

<sup>2</sup> Войска лондонского ополчения.



голову, прикрыл глаза и слегка дотронулся рукой до груди, где под рубашкой лежал пакет, переданный ему утром Кромвелем.

#### 4. СВЕТ ЗАГОРЕЛСЯ

Таверна в Чилтернах, графство Бекингемшир, постепенно наполнялась народом. За длинным некрашеным столом их сидело пять или шесть человек.

— Как живем, спрашиваешь? Плохо живем. Хуже некуда.

Уинстэнли посмотрел на собеседника. Невысокий, коренастый, с черными глазами и горбатым носом. Черные волосы кольцами надают на лоб. И под стать южному типу — горячая и резкая речь.

— Есть нечего. Лето, помнишь, какое было? Сплошь дожди. Хлеб не родился. Уже сейчас в амбарах пусто, а что будет к весне?

— Да нам-то хватило бы, если жить своей семьей, — вставил худой, нервный человек помоложе. — Ты согласен, Джо? Хватило бы. Так ведь солдаты в каждом доме, они все и съедают.

— Солдаты, конечно, — кивнул чернявый Джо. — Но не в них только дело. Смотри, что получается: на ремесло нет спроса, торговля в упадке. У нас жены и дети, у кого шесть, у кого восемь душ семья, все просят хлеба, а как его заработать? Сейчас платят сам знаешь сколько. И себя-то не прокормить, не только семью. А цены на хлеб вдвое выше, чем до войны. Хоть по миру иди, да и тут загвоздка: никто подавать не станет, верно я говорю, Питер? — он повернулся к худощавому.

— Да что подавать, — отозвался тот, — когда нищих столько развелось — у всех дверей просят. И дети, и калеки... Их уже и не замечают, сердца ожесточились... А воровать начинают — в тюрьму. Вот многие и подыхают с голоду. — Он отхлебнул пива и поморщился.

— Хлеба нет потому, что лорды огораживают землю. — Джо опять выдвинулся вперед. — Там, где мы раньше могли кормиться или пасти скот, теперь их овцы гуляют — за загородкой.

— У нас то же самое. — Джерард внимательно посмотрел на Джо. Он ему нравился, честное, мужественное лицо внушало доверие.

— А вы не думали, как одолеть... дьявола? — спросил он осторожно.

— Как его одолеешь... — Джо быстро глянул ему прямо в глаза. — Для них, лордов, все: и земля, и леса, и зверь, и рыба. А остальные — их рабы. Если я, к примеру, срублю дерево, чтобы растопить очаг, или подстрелю дрофу, меня потащат в тюрьму. Мы не можем ни держать скот, ни построить дом без разрешения лорда. А почему я должен ему подчиняться? Почему, если я арендую у него клочок земли, с меня требуют клятвы, что я буду покорным держателем? Правильнее сказать — рабом!

— А я вот думаю, когда началась эта тирания? И кто главный над всеми лордами?

— Ясно кто — король! — сказал Питер, и глаза его недобро засветились.

— Друзья, — заговорил Джерард негромко, и сидевшие на столе ближе наклонили к нему головы. — Вся неправда на земле началась тогда, когда люди поставили над собой монарха. Монархия — не божье установление. Ее выдумали язычники, которым главное в жизни — земные удовольствия. Монархи всегда были тиранами. И сейчас король — главное отродье дьявола!

— Постой. — Джо оглянулся на дверь. — Ты, значит, считаешь, что короля надо... — он резанул себя ладонью по горлу. — А дальше что?

— Слушай. Бог дал человеку землю и все, что на ней, в пользование, верно? И поставил его главой над всеми тварями, и скотами, и рыбами. Но не над ему подобными! Люди были созданы равными, без всяких привилегий, и должны пользоваться землей и всем творением на равных правах, никому больше, никому меньше.

— Согласен. Мы тоже так считаем. — Джо оглянулся и подмигнул товарищам.

— А из этого следует, — продолжал Джерард, чувствуя, как спокойная сила все больше одушевляет его и дает слова для самых сокровенных и глубоких мыслей, — из этого следует, что никто не должен быть царем или лордом над другими. Это записано в Книге Бытия. А что было в Англии? Вильгельм Завоеватель сделал коренных британцев рабами, заставил платить ренту, налоги, штрафы. Он установил ту тиранию, плоды которой мы сейчас пожинаем.

— Я где-то читал об этом, совсем недавно, — сказал Питер.

— Об этом писал и Лилберн, и другие левеллеры. И они правы: вся тирания идет от нормандского завоевания. Баронам Вильгельма, чтобы сохранить награбленное, потребовались юристы, эти прожорливые гусеницы, эти волки в овечьей шкуре; потребовались судьи, генеральный прокурор, лорд-хранитель печати, канцлер казначейства... Герцоги, графы, лорды, вся эта суета сует... А им нужны монополии и привилегии, утверждающие их права, попы, чтобы требовать повиновения, а попам — десятина. Всякая тирания процветает под крылом монархии. Король стал богом на земле. Все наши страдания — от него. И пора призвать его к ответу.

Люди, тесным кружком сидевшие вокруг него, переглянулись.

— А парламент? — спросил Питер. — Разве это не дело парламента?

— Парламент — это обман! — горячился Джо. Таверна между тем все больше наполнялась, к их столу подсели еще несколько человек. — Парламент! Кто его избирает? Именитые горожане с королевскими патентами в кармане, мэры и олдермены! А в графствах — фригольдеры, потомки нормандских псов. Народ в парламент не избирает! А над общинами — палата лордов да еще право королевского вето... Нет, парламент — дело конченное.

Он махнул рукой и пригубил пиво из кружки. Джерард смотрел на измученные нуждой и горем лица. Темные рабочие руки лежали на грубых досках стола. Его охватило чувство горячей любви к этим людям, желание помочь им, сделать их жизнь более счастливой и осмысленной. Защитить, вывести из темноты к свету. Он подумал, что, может быть, именно здесь, сейчас настало наконец время высказать самое заветное, чего он не говорил до сих пор никому. Что для них основное? Земля. Как дать им землю, их надежду?

— Все дело в том, — сказал он, — что у нас отняли землю. Земля — это главное. Но сейчас епископат отменили, у роялистов владения конфисковали. Да еще коронные земли к парламенту перешли. Их у нас в одном Серри вон сколько: Ричмонд-парк, Кингстонский лес, Виндзор, Нонсоч, да мало ли...

— Я уже думал об этом, — усмехнулся Джо. — Земли хватит. Еще и пустоши. В Англии половина или даже две трети земли не обрабатывается. Ее-то и разрешили бы вспахивать!

Вокруг зашумели:

— Овертон об этом тоже пишет.

— И в «Деле Армии»...

— Да и в сентябрьской петиции...

— Вот я и говорю. Земля дана господом богом всем людям в равное владение. Чтобы никто ни в чем не испытывал нужды. Беднякам надо передать пустоши и конфискованные поместья...

— Да, отдадут они их бедным, как же. — Коренастый седой человек слева, молча и с большим вниманием слушавший Джерарда, вдруг рассердился. — Хорошо рассуждаешь: взять землю, отдать бедным... Кто нам это позволит? Они в парламенте знаешь что делают? Продают эти земли друг другу по дешевке! Мы опять с носом останемся.

Шум усилился. Уинстэнли оглянулся. На лавках у стола плотно сидели люди, вокруг стояли, прислушиваясь к разговору. Соседние столы опустели. Дверь то и дело впускала мужчин в грубой крестьянской одежде.

— А я говорю, мы им этого больше не позволим! — Джо стукнул тяжелым кулаком по столу. — Лучше умереть от меча, чем от голода. Если о нас некому позаботиться, мы,

бедняки, позаботимся сами о себе.

— Братья, а ведь это про нас написано, — лицо седого человека вдруг преобразилось, повеселело, глаза сверкнули лукаво. — Слушайте: вопли жнецов дошли до слуха господ Саваофа! Пусть богатые плачут и рыдают: богатство их сгнило, золото и серебро поржавело, и съест их плоть, как огонь!

— Нет, вы меня послушайте! — Питер пригнулся к столу, рот искривила недобрая усмешка. — Даже если Армия захватит власть и короля будут судить, — даже тогда мы ничего не получим. Они все разделят между собой. Надо действовать немедленно! Главное — землю получить, а там прокормимся, руки-то у нас на что...

— Земли-то, земли надо... — зашумели вокруг.

— Все землю требуют. Вон в парламент сколько петиций идет.

— Огораживания запретить совсем!

— Нам чужого не надо, только бы пустоши разрешили...

— И то, что конфисковали, этого хватит!..

— Правильно! — хрипловатый голос Джо перекрыл шум. — Каждому надо выделить справедливую долю земли, чтобы никто не просил милостыню и не воровал, а все жили по-человечески.

— Как апостолы, жили.

— Но ведь у апостолов все было общее! — сказал Уинстэнли. Новая, удивительная, еще не совсем ясная мысль внезапно поразила его. Он тронул Джо за рукав. — Помнишь, в «Деяниях»: они жили одной семьей. Все работали и ели хлеб вместе.

— Вот это правильно, — подхватил тот, не поняв, что Уинстэнли хочет сказать. — А не так, как сейчас, одни работают, другие едят. Господь сказал: пусть все работают поровну и едят поровну.

— И законы их долой! Все законы! — заволновался Питер.

— А на их место — Писание. Там все есть, чего выдумывать! — Седой отодвинул огарок в сторону. — Слушайте, братья! Главный закон — делай другому то, что хочешь, чтобы делали тебе. И еще: око за око, зуб за зуб, руку за руку. А если кто украдет — возвратит вдвойне.

— А правительство? — спросил кто-то.

Джо оглянулся на дверь и заговорил негромко и страстно:

— Править должны судьи или старейшины — люди, которые боятся бога и ненавидят жадность. Они выбираются народом в каждом городе и деревне. И больше никаких властей.

— А если кто победнее, община ему поможет, пусть для этого будет такой фонд, — вставил высокий крестьянин, стоявший у стола. — Вот сюда и пойдут земли короля, епископов и роялистов.

— Слушайте, слушайте! — приглушенно воскликнул Питер. — Пусть каждые семь лет беднякам, и сиротам, и вдовам, и странникам выделяют землю, а с каждого урожая — долю!

— И никаких тюрем, исправительных домов, позорных столбов... Никаких лордов, никаких огораживаний...

Джерард тихонько встал, протиснулся между разгоряченными телами и пошел к выходу. О нем забыли. У двери он оглянулся. Крестьяне и поденщики, бедняки и бродяги, которых судьба завела в этот вечер в таверну, сгрудились у стола, освещенного двумя сальными свечами, и самозабвенно обсуждали свою Утопию. Лица горели, сердца растопились, каждый пытался вставить словечко, бросить лепту в сокровищницу общего счастья.

Джерарду хотелось побыть одному, додумать то, что было услышано в таверне. Он вышел на улицу. До хижины старой вдовы, где он скрывался от последствий скандала, идти было с полчаса; он пошел неспешно, запахнув плащ под холодным ноябрьским ветром.

Он никогда еще ни с кем, даже с друзьями-односельчанами, не говорил так откровенно. То, что зрело в нем давно, над чем он бился все эти годы, мучась бесконечными ночами и задавая бесчисленные вопросы самому себе, своему высшему разуму, — тут, среди

незнакомых людей, вдруг обрело ясную, зримую плоть действенной мысли. «Думать, что мы страдаем потому, — говорил он себе, — что некий Адам шесть тысяч лет назад съел запретное яблоко, — бессмысленно. Адам — в каждом из нас, и все мы вкушаем запретный плод, когда стремимся к благам мира сего больше, чем к духу, ибо дух — творец, а видимый мир — плод творения. Борьба идет во внешнем мире, и мы должны так или иначе принять в ней участие».

Незаметно для себя он прибавил шаг. Тусклое ночное небо было покрыто облаками, ветер налетал порывами, высокие голые вяза по краям дороги шумели. Он шел широко, переступая через лужи и выбоины, лицо его горело. Он думал: «Вот первое семя мое брошено, брошено в землю, вспаханную и влажную, готовую для посева. Эти бедняки и раньше знали, что монархия — зло; они и раньше стремились получить землю, чтобы обрабатывать ее трудом рук своих. Теперь они поняли, что монархия и тирания лордов — от одного корня и что земли в Англии довольно для того, чтобы все труженики были счастливы».

Он не заметил, как прошел мимо хижины вдовы, которая дала ему временное пристанище. Деревня кончилась, дорога пошла выше, на холм, поросший вереском и редкими соснами. Он взглянул вверх и среди ветвей заметил черный клочок открывшегося вдруг неба и на нем — одинокую мерцающую звезду. «Вот он, знак, — подумал он благодарно. — Я на верном пути». Он взобрался на холм и сел под сосной на усыпанную иглами и шишками сухую землю. Глаза невольно не отрывались от звезды, которая сияла необычайно ярко.

Мысли лились легко и свободно. «Эта земная, человеческая борьба, — говорил он себе, — имеет свои законы, и их нужно понять. Принять Слово всем сердцем и добровольно исполнить его — вот в чем закон свободы, говорит апостол. Но исполнить на деле, в земной жизни. Стремления этих бедняков — реальные силы, и, поняв их, надо действовать, строить вместе с ними действительную страну свободы и равенства...»

Но что, какая новая мысль так поразила его там, в таверне? «Равенство... — подумал он. — Что есть равенство? Лилберн и честные молодые офицеры вроде Годфилда думают, что равенство — это всеобщее право избирать в парламент. Для крестьян же главное, чтобы земли было у всех поровну. Поровну? Но земля была создана как общая сокровищница для всех. И сейчас она должна вновь стать общей кладовой, чтобы каждый мужчина и каждая женщина жили как члены одной семьи, каждый имел хлеб, и жилье, и платье от свободного труда рук своих — чего еще можно желать в этой жизни?..»

Вершины сосен зашумели далековерху, где вольный ночной ветер гулял под небом на свободе. А здесь, у стволов, на сухой прошлогодней хвое было тихо, и только изредка шишка с тихим треском шлепалась на землю. Джерард машинально перебирал рукой иглы. Как хорошо будет на земле, когда все станут жить, как братья. Увидят ближнего в нужде — помогут. Но, значит, нужда останется? Да, останется. Если землю разделить поровну, то одному попадет хороший участок, другому — скудный. Один здоров и трудолюбив, другой ленив или болен. Бедняки все равно будут. Зря он не сказал им этого там, в таверне. Лучше жить, как апостолы, одной семьей. Все общее, и никаких частных владений. Адам породнился со Змием тогда, когда назвал землю своею. Только собственность виновна во всем, она искушает людей на зла, она убивает души. В памяти с необыкновенной четкостью встали слова: «И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Вот оно! Вот где смысл и цель борьбы — чтобы все было общим!

Бездна его души раскрылась, и навстречу ей растворилась непостижимая бездна мироздания. Ему показалось, что он летит. Он взглянул в небо и снова увидел необычайно яркую звезду. Некто встал рядом с ним, чувство единения со всем миром охватило его, даря неизбывную радость. И в сердце вдруг вспыхнули ослепительным белым огнем слова: «ВМЕСТЕ РАБОТАЙТЕ И ВМЕСТЕ ЕШЬТЕ СВОЙ ХЛЕБ... ПОВЕДАЙ ЭТО ВСЕМ...»

Дыхание перехватило, он зажмурился. Ослепительный белый свет горел в нем и не иссякал, творец мира был совсем рядом, и божественная гармония соединяла их вместе. И

тот же неземной голос произнес: «КТО РАБОТАЕТ НА ЗЕМЛЕ ДЛЯ ТЕХ, КОТОРЫЕ ВОЗВЫШАЮТ СЕБЯ КАК ЛОРДЫ И ПРАВИТЕЛИ НАД ДРУГИМИ И НЕ СЧИТАЮТ ВСЕХ ПРОЧИХ СЕБЕ РАВНЫМИ, ДЕСНИЦА ГОСПОДНЯ ДА ПАДЕТ НА ТОГО РАБОТНИКА. Я, ГОСПОДЬ, ГОВОРЮ ЭТО, И Я СДЕЛАЮ ЭТО. ПОВЕДАЙ ЭТО ДРУГИМ».

Вслед за тем настала такая тишина, что Джерард, казалось, на миг потерял сознание.

Когда он очнулся, вокруг было темно, тихо. Он глянул вверх и с бьющимся сердцем отыскал звезду. Она все еще сияла.

Волнение улеглось. Он все помнил; тихий покой и радость переполняли его. Он поднялся с земли, отряхнул одежду и медленно пошел к дому.

Теперь он твердо знал, зачем он живет и что он будет делать через несколько дней в Лондоне. «Поведай это другим», — сказал голос. Он напишет обо всем. То будет новая книга, совсем новая. Новая справедливость, новый закон. «Ну держитесь теперь, лжепророки, — подумал он с приливом бодрости. — Вам не удастся больше обманывать народ, обещая ему незримую славу после смерти. Я скажу всем, пусть все узнают, что великая тайна приоткрылась и ее можно увидеть земными, человеческими очами. Надо только работать вместе на общей земле и ничего не называть своим».

Он вспомнил последние грозные слова. Тот, кто работает на праздного господина, получит возмездие. Никто не должен трудом своим поощрять чужую плоть, ленивую и корыстную. Отныне наемного труда быть не должно. Все трудятся сообща для общего блага. Земли им хватит.

Половина или даже две трети земель в Англии пустуют — их-то и будут вспахивать свободные работники. И пусть рождаются дети — все смогут прокормиться трудами рук своих. Землю покроет мягкая мурава, весь мир наполнится изобилием плодов; отборные злаки заколосятся под солнцем, молоко и мед потекут по земле, и народ возрадуется, ибо дракон плоти падет к подножию Царя справедливости.

Не замечая улыбки на своем лице, он дошел до лачуги, тихо открыл дверь, вошел, лег и уснул крепким здоровым сном.

А спустя несколько дней, пятого декабря, уже будучи в Лондоне, он купил у мальчишки-разносчика памфлет под названием: «Свет, воссиявший в Бекингемшире, или Раскрытие главного основания, подлинной причины всякого рабства в мире, но главным образом в Англии. Представленный в виде декларации от многих благонамеренных людей этого графства всем их бедным угнетенным соотечественникам в Англии...»

Подписи под памфлетом не было. Но Джерард, читая, узнавал свои мысли и улыбался. Быстро же они сумели его напечатать! Семя и вправду было брошено в готовую почву.

## 5. ПРАЙДОВА ЧИСТКА

Генри поплотнее запахнул плащ на груди; режущий ночной ветер пронизывал до костей. До смены караула оставалось еще часа два. Весь ноябрь его словно лихорадило — вместе с Лондоном, вместе со всей страной. Письмо от Кромвеля он, разумеется, доставил по назначению, за что удостоился благосклонного взгляда скупого на похвалу Айртона. И началось. Будто это он, Генри, сорвал какую-то невидимую пружину, и события стали раскручиваться все быстрее, все ошеломительнее. Седьмого ноября на хорах церкви в Сент-Олбансе генерал Фэрфакс, который до сих пор числился главнокомандующим, созвал Военный совет. Именно на хорах, а не внизу, ибо то был не Совет Армии, а Совет офицеров; от рядовых никого не допустили. Конечно, Фэрфакс понимал, что, если бы он позволил войти туда солдатским агитаторам, они немедленно потребовали бы суда над королем.

Генри поежился под ветром, потоптался, чтобы хоть немного отошли закованные ноги, и вдруг усмехнулся себе под нос. Фэрфакс суда не хотел, а вот Айртон, зять Кромвеля, похоже что и хотел. Он положил на стол перед Советом ремонстрацию, где говорилось, что Карл ответствен за всю кровь, пролитую в Англии. Под этой ремонстрацией подписался бы

любой из левеллеров, да что там — все рядовые! Фэрфакс с застывшим на лице выражением недовольства ответил, что не желает потворствовать разрушительным намерениям.

Но Айртон, этот холодный и трезвый Кассий — более трезвый, чем сам Кромвель! — знал, как действовать. 15 ноября в таверне «Лошадиная голова» он созвал левеллеров и после жарких споров договорился с ними. Он настаивал на том, что королю надо отрубить голову, но сначала распустить парламент. А левеллеры требовали сначала ввести в действие их конституцию «Народное соглашение», иначе армейские офицеры заберут себе всю власть. Генри готов был побиться об заклад, что Айртон затеял этот сговор с левеллерами сразу после того письма, что он привез от Кромвеля! Выходило, что Кромвель — тайный устроитель всего этого дела, а Генри — его орудие, и орудие Судьбы, толкавшей Англию к великим переменам.

20 ноября «Ремонстрация Армии» была представлена на обсуждение палат и отвергнута. Опасность росла. Король вот-вот может подписать договор с парламентом, и тогда прощай, свобода! Карл возложит всю вину на Армию, и палач не будет успевать вытирать кровь с топора на Тауэр-хилле. Надо было спешить, и 30 ноября из Виндзора выходит декларация Армии, где заявляется, что она намерена обратиться к исключительным мерам — к суду божию.

В палате общин знаменитый депутат Уильям Принн предложил объявить Армию мятежной. В ответ она снялась из Виндзора и второго декабря, громяхая железом, прошла по улицам Лондона. Офицеры заняли Уайтхолл. Четвертого декабря пронеслась весть, что переговоры на острове Уайт прерваны, король взят под стражу и переведен в замок Херст — тюрьму на побережье Ла-Манша. Пресвитериане подняли настоящую бурю в парламенте. Их было большинство, и они постановили, что похищение короля произошло без ведома и согласия палаты. Всю ночь палата не расходилась: депутат Принн произносил речь. Всю ночь он, лишенный обеих ушей по приговору королевского суда, трижды выставившийся у позорного столба, претерпевший публичное сожжение своих трактатов, восемь лет сидевший без чернил и бумаги в тюрьме, приговоренный королем за яростное пресвитерианство, за нападки на королеву к огромному штрафу, — доказывал, вопреки своему горькому опыту, необходимость договориться с королем.

И после этого беспримерного заседания, которое длилось 24 часа, депутаты решили большинством голосов, что переговоры с королем продолжить следует. Это было все равно что восстановить Карла у власти. Республикански настроенные члены палаты общин принялись составлять протест. Прямо с этого бессонного заседания они пришли в Уайтхолл к офицерам и несколько часов сидели с ними над списками депутатов, обсуждая поведение и образ мыслей каждого.

Что-то будет, нет, право, что-то будет!

Генри стоял у дверей Вестминстера в этот предутренний час, и все существо его было исполнено горячего, напряженного ожидания. Он ждал с почти детским нетерпением великих и грозных событий — сейчас, быстрее, сию минуту! И отдаленный дробный топот копыт, который внезапно донесся до его слуха, не удивил его, не испугал, а лишь заставил сжаться в готовности каждый мускул.

Отряд всадников с факелами показался из-за готического выступа стены, Генри на всякий случай взял на караул. И мысленно похвалил себя: он узнал майор-генерала Скиппона, начальника лондонского ополчения, своего командира. Генерал подъехал вплотную, взгляделся и махнул рукой:

— Лейтенант Годфилд, приказываю вам оставить пост. Армия берет на себя охрану парламента. — Он наклонился чуть ниже, голос его потеплел. — Идите, отсыпайтесь. Сюда идут солдаты.

— Но генерал! — Генри сделал шаг вперед, горло перехватило от обиды. — Как же я могу... Я должен видеть. Дозвольте остаться!

— Я говорю вам, сюда идет Армия! — Скиппон повысил голос, глубокие морщины при свете факелов проступали особенно резко. — Что сейчас наша милиция! Армия вступила в

дело, вы понимаете? Приказываю вам сняться! Я сейчас поворочу назад вашу смену.

Генри так страстно желал остаться, так стремился к этому! Он зашептал горячо и просительно:

— Генерал, я прошу вас, очень прошу... Дозвольте мне хоть одним глазком посмотреть. Не как солдату милиции, а просто как человеку. Как я могу уйти, когда... когда... — голос его прервался, ему почудилось, что суровые черты Скиппона смягчились.

— Идите к дверям палаты общин, — тихо сказал он, пригнувшись к холке коня. — Станьте там в сторонке на лестнице и наблюдайте. Кто знает, может быть, это утро войдет в историю.

Он пришпорил коня и поскакал впереди своих ополченцев к следующему посту, а Генри, вдруг почувствовав себя свободным и одиноким, быстрыми шагами обогнул угол, пересек по стриженной мерзлой траве лужайку и свернул за следующий выступ.

То, что он увидел, наполнило его грудь еще большим волнением. Вспыхивающие в свете факелов каски пехоты плотным строем сомкнулись у главных дверей парламента. Поднятые мушкетные стволы и пики щетинились, зажженные фитили и костры зловеще отражались в доспехах. Эскадроны кавалерии охраняли подступы к палате снаружи, отдельные группы всадников передвигались сомкнутым строем. Слышался топот копыт, звуки шагов по каменным ступеням, изредка выкрики команды. Генри стал пробираться за спинами солдат к широкому portalу двери, держась поближе к стене и неслышно ступая. Его не заметили. Он встал совсем близко от входа и начал смотреть.

Солдаты двумя шеренгами стояли у двери, и нижний зал, вероятно, тоже был заполнен ими. Внезапно с внешней стороны произошло движение, шеренги войск расступились и пропустили запряженную четверкой карету.

В тот же миг ударил колокол башенных часов. Утро настало, депутаты должны были скоро занять свои места в парламенте.

Из кареты вышли двое в штатском платье и прошли к дверям. Их пропустили. Подъехала вторая карета, за ней еще две. Депутаты прибывали, солдаты теснились, чтобы дать им пройти. Генри тоже проскользнул между людьми, затесался в группу прибывших и беспрепятственно прошел через готический портал входа.

В зале было полно солдат, депутаты устремлялись к лестнице, ведущей в палату общин. На лестнице друг против друга стояли кирасиры, по одному на каждой ступеньке. Между ними депутаты толпились в неразберихе, сверху слышался шум.

— Нет! Вы не войдете! — вдруг властно сказал кто-то сверху. Генри взглянул туда из-за спин кирасиров и увидел, что на самом верху лестницы, широко расставив ноги и загораживая вход в палату, стоит высокий краснолицый человек с бумагами в руке. Из-за его плеча, поминутно заглядывая в бумаги и что-то шепча ему на ухо, выглядывает румяный улыбающийся лорд Грей. Рядом стоит растерянный служитель палаты.

— Вы не имеете права! Я член палаты и иду выполнять свой долг. Это нарушение привилегий парламента! — ступенькой ниже размахивал руками, пытаясь прорваться в зал, невысокий человек.

— А я вам говорю, вас в списках нет. Вас приказано арестовать, господин Принн! — загремел краснолицый.

— Полковник Прайд, по какому праву... Это ни на что не похоже! Я по своей воле не сделаю ни шагу назад!

— Тогда пеняйте на себя!

Краснолицый, которого называли Прайдом и в котором Генри узнал героя Нэсби и Престона, кивнул рядом стоявшему солдату. Тот, быстро и ловко взяв Принна за плечи, развернул его и легким пинком сбросил вниз, на руки депутатов. В этой сцене было что-то непристойное, что-то оскорбительное. Солдаты громко захохотали. Генри надолго запомнил жалкую возмущенную гримасу щербатого рта и черную неровную дыру на месте уха, открытую взметнувшимися волосами.

— Позвольте, да это бог знает что такое! Так не поступают с уважаемыми людьми!

Дайте я пройду и все им растолкую...

Совсем рядом с собой Генри услышал знакомый голос, солдаты захохотали опять, и он увидел земляка, пастора Платтена, который тоже старался протиснуться наверх. Лицо его было красно от возмущения, жидкие волосы растрепались.

— Спикер! Где спикер? Я должен поговорить с ним! Да пропустите же меня, я член палаты!

Ему удалось отвоевать несколько ступеней вверх, дверь в палату в этот момент раскрылась, пропуская одного из тех немногих, кому разрешено было войти, пастор простер руку и крикнул:

— Господин спикер! Неужели палата допустит, чтобы на ее глазах изгоняли ее членов! Защитите нас!

Дверь закрылась, двое солдат беззлобно, с ухмылками взяли пастора за плечи и столкнули его вниз.

Генри не видел, как его будущий зять считал ступеньки. Новый взвод солдат внезапно вклинился в толпу у лестницы, началась давка, Генри швырнуло к стене, и чей-то стальной доспех уперся прямо в залеченную Элеонорой рану. Он охнул, постарался повернуться половчее, и когда, потолкавшись среди терпко пахнувших, одетых в железную броню тел, занял более удобное положение, то увидел, что солдаты, повинуясь указаниям Прайда, вылавливают из тех, кто рвется в палату, самых упорных, окружают их и проталкивают к боковым дверям, под арест. Вот уже и Принна ведут, закрутив ему руки сзади, и двух других, и еще кого-то...

Генри нашел глазами Платтена. Пастор все еще кричал, к нему тянул руку солдат конвоя. Тогда Генри, не размышляя, рванулся вперед, протиснулся среди железных доспехов, схватил пастора за рукав и, не разбирая возмущенных протестующих возгласов, потащил его скорее к выходу.

— Что такое?.. Это вы?.. Куда вы меня? Господи, что же это... — бормотал растерянный Платтен, а Генри упорно, не выпуская рукава, волок его за собой к спасительному готическому portalу, за которым виднелись голые деревья сада.

Когда они выбрались на воздух, Генри сразу свернул за угол, обогнул выступ и только тогда выпустил смятый и перекрученный в давке рукав пасторского одеяния. Оба постояли у стены.

— Да... — Платтен помотал головой и наконец взглянул на Генри. — Спасибо. Если бы не вы...

— Вы видели, как их хватали? — вместо ответа шепотом спросил Генри. — Их уже человек двадцать набралось. Вас бы тоже...

— А знаете, кто всем этим заправляет?

— Прайд?

— Прайд — исполнитель. Это дело рук Айртона!

«Это дело рук Кромвеля», — подумал про себя Генри.

Мимо проскакал взвод солдат.

— Пойдемте отсюда, — он снова взял пастора за рукав. — Здесь небезопасно. Сейчас лучше держаться от парламента подальше.

Платтен вдруг обхватил голову руками и застонал, как от боли:

— Ммм... Так поступить с парламентом... Это конец!

Генри легонько обнял его за плечи и, как ребенка, повел узкими улочками прочь от реки, от дворцов, от солдат. Они очутились в парке и свернули к северу, вдоль платановой аллеи. Генри не любил пастора и в глубине души жалел сестру. Но сейчас в сердце его шевельнулось сострадание.

— Это насилие необходимо, — уговаривал он издававшего глухие стоны Платтена. — Оно благотворно. Если парламент оставить в покое, он вернет на трон короля, и тогда Англия погибла...

— Но законы королевства! Древняя конституция! Великая хартия вольностей! — из



глаз пастора катились слезы. — Ведь нас избрал народ, мы неприкосновенны... А солдаты сбрасывают нас с лестницы...

— Сам король нарушил Хартию, он первый поднял руку на парламент — разве вы не помните? А парламент угодничает перед ним, боится... Сейчас договориться о короле — это погубить Англию, потопить ее в крови. — Они свернули направо в узкий проулок, ведущий к Чаринг-Кросс; сзади раздался топот копыт, Генри притиснул Платтена к стене, чтобы пропустить конных.

— Ну что, лейтенант, все посмотрели? — Скиппон придержал коня и наклонился к Генри. — Хорошо запомнили? Потом будете рассказывать внукам.

Генри встрепнулся:

— Вы были там, сэр? Что делают те, кто прошел?

— Они счастливчики — их пропустили, они теперь хозяева положения. Но им сейчас трудновато: они — парламент и должны отстаивать свои права. Они приказали остальным занять места в палате. Но как это сделать? Солдаты стоят крепко. Составили комитет и послали его к Фэрфаксу для переговоров.

— А сами армейцы ничего не объяснили?

— Нет, как же, объяснили. В палату пришел полковник Окстелл и потребовал исключить всех, кто голосовал за мир с королем и выступал против Армии. А остальные должны заявить свое согласие с действиями Армии и назначить дату своего роспуска.

— И что тогда?

— Тогда будет избран новый, равный и справедливый парламент, — Скиппон подмигнул. — Но для этого нужна конституция.

— А про «Народное соглашение» ничего не говорили?

Скиппон посуровел, грубоватые черты его омрачились.

— Нет, лейтенант, об этом — ничего. И вам советую помалкивать.

Пастор Платтен выступил вперед:

— А лорды? Как расценивает происшедшее палата лордов?

Скиппон перевел на него глаза, невеселая усмешка бегло тронула губы:

— Лорды оказались умнее всех и разошлись сами, не дожидаясь публичного скандала. — На простоватые черты генерала снова легла забота. — До свидания, джентльмены, счастливого пути. Мне приказано ехать умиротворять Сити. — Он позвал своих солдат, почтительно отставших. Топот копыт прозвучал по неровным булыжникам мостовой и замер. Генри предложил Платтену:

— Может, перекусим? Я с ночи на посту...

Пастор покорно кивнул, и Генри понял, что человек этот потерял все, что так недавно было его неотъемлемой принадлежностью: уверенность в себе, тщеславие, амбицию, волю.

— Смотрите, смотрите! Нет, этого не может быть! Господи, вправду она... Элизабет! Ты как здесь очутилась?

Они только что вышли из харчевни на Чаринг-Кросс, где Генри накормил завтраком безвольный мешок, именовавшийся Патриком Платтенем, и вдруг внимание его привлекли две прошедшие мимо дамы. Сомнений быть не могло: одна из них была его сестра Элизабет, собственной персоной. В другой он узнал лондонскую кузину Эмили.

Элизабет обернулась с испугом, глянула на брата, лицо ее побелело, и она, не стыдясь прохожих, стремительно бросилась ему на грудь.

— Генри! Ты жив? Господи, ведь я тебя разыскиваю!

— Сестричка, милая, я писал...

— Мы ничего не получали, ничего, с самой весны... Мы измучились, ждали... Отец на войне, о тебе ни слуху ни духу... — Она закрыла лицо руками.

— Да я здоров, все в порядке, ну что ты... — Он гладил темную тяжелую шаль, покрывавшую ее плечи. — Сейчас в парламенте такое творилось... Больше половины депутатов не пустили на заседания...

Тут только она подняла голову и посмотрела на Платтена. И как ни была потрясена встречей с братом, которого уже несколько раз хоронила в мыслях, все же, увидев пастора, поразилась еще больше. Из него будто выпустили воздух, он обмяк и постарел.

— Простите... — Она присела перед женихом, глядя в землю. — Добрый день. Я не ожидала...

Она чувствовала себя виноватой. В Лондон она приехала не только затем, чтобы разыскать брата. Тайной и заветной ее мечтой было повидаться с отцом, вымолить у него разрешение и расторгнуть помолвку с пастором.

После того случая в церкви, когда она поняла, что соединить с ним судьбу — значит предать и Уинстэнли, и Джона, и нечто еще, самое дорогое и сокровенное, она твердо решилась. Убедила мачеху и сестер, что необходимо поехать в столицу разыскать Генри, собралась и — благо Лондон недалеко — вот уже две недели жила в чинном пуританском доме кузины. Но встречи с пастором Элизабет не ждала и, увидя его, смутилась. А он, казалось, не замечал этого, занятый собою.

— Добрый день, добрый день, — бормотал он привычно вежливые, ничего не значащие слова. — Все ли благополучно дома?..

Она видела, что ответ ему безразличен, и промолчала.

Как ни занят был Генри событиями утра, от его внимания не укрылась странная натянутость в обращении сестры с женихом. Но размышлять было некогда. Жизнь кипела вокруг, история вершилась в этот день на глазах, и Генри боялся пропустить еще какое-нибудь важное событие. Раскланявшись и велев им скорее возвращаться домой, он пообещал Элизабет зайти на днях и повлек пастора дальше. И точно, едва они свернули на оживленную улицу, их внимание привлекли несколько открытых повозок, застрявших на углу. Кучер одной из них возился с оглоблей, задние ждали. Солдаты окружали повозки, слышалась перебранка. Генри и пастор подошли ближе, и тут только Платтен оживился и всплеснул руками:

— Боже мой, да это Принн! И Файнес... И сэр Уильям Уоллер!

Он рванулся вперед, не замечая конвойных:

— Господа депутаты! Что с вами? Куда вас везут?

Кто-то с повозки узнал его и крикнул в ответ:

— Этого никто не знает! Нас переписали и возят по городу вот уже пятый час!

— Но по какому праву?

— Ха, по какому праву. По праву меча — так нам и ответили. Других прав в Англии не осталось.

— Надо добиться разговора с Фэрфаксом! Я сейчас пойду к нему сам! Главнокомандующий не может допустить...

— Да уже ходили... Два раза... Бесполезно. Генерал ничего не решает...

Солдаты сомкнули покрытые железом плечи, кое-кто с неприязнью оглядел пастора:

— Вы потише, это арестованные! Отойдите от повозки, не положено!

— Солдаты! — вдруг заговорил пастор с привычной гладкостью, словно стоял на кафедре у себя в Уолтоне. — Вы не имеете права и пальцем прикоснуться к депутатам! Они неприкосновенны, как избранники народа! Это недоразумение! Армия не может вмешиваться!

— А вы бы лучше помолчали, — сержант конвоя приблизился к пастору и предостерегающе протянул руку. — Армия не только может, но и должна поступать так с предателями.

— Избранники народа! — крикнул молодой солдат, с ненавистью наступая на Платтена. — Депутаты! Это мошенники, а не депутаты! Они прикарманили наше жалованье!

Еще один солдат, недобро сверкнув глазами, пояснил:

— Их за то и арестовали, что они предают наше дело. Солдатам не плачено за шесть месяцев, а они в парламенте голосуют за короля. А где наши денежки? Куда они их девали?

Пастор посмотрел на пистолеты и пики конвоя, на напряженные, злые лица солдат и

отступил на шаг. Плечи его снова обвисли. Генри загородил его собой:

— А куда вы их? — тихо спросил он у сержанта.

— Приказано доставить в таверну «Ад». Там им самое место.

Кучер влез на козлы, взмахнул кнутом, и колымаги, заскрипев, двинулись. Одна вялая рука поднялась и махнула пастору на прощанье; большинство сидели понуро, сотрясаясь от толчков.

Генри и Платтен побрели дальше, и только спустя некоторое время заметили, что ноги сами несут их к Вестминстеру.

Здания парламента были по-прежнему оцеплены, площадь кишела войсками. Сумерки сгустились; кое-где снова, как и утром, зажглись факелы; зимний ветер резал лицо. Они свернули к Уайтхоллу, и тут их внимание привлек отряд всадников, двигавшийся к главному зданию дворца. Что-то было необычное в этих всадниках. Они не походили на деловитых суетливых армейцев, которые весь этот день сновали по улицам.

Перед решеткой главного входа отряд остановился, и на землю первым спрыгнул грузный человек в мундире генерала Армии. Сердце Генри затрепетало. Он узнал Кромвеля.

Из кареты, поджидавшей неподалеку, выскочил человек в штатском платье и быстро подошел к нему. Они о чем-то переговорили, потом Кромвель решительно повернулся и широким шагом, тяжело и устало ступая, направился к дверям.

И тут Генри увидел отца. Маленький полковник тоже спешил и, топчась на месте, чтобы размять затекшие после долгой езды ноги, передавал повод своего коня слуге. Тот, кто только что говорил с великим генералом, склонился к нему и что-то шептал. Вокруг толпились офицеры.

Генри с бьющимся сердцем, оставив Платтена, подошел к ним, вытянулся, и только когда увидел, что отец заметил его, узнал и обрадовался встрече, позволил себе шагнуть порывисто и, склонившись, крепко обнять и припасть к его плечу.

— Мой дорогой, как я рад тебя видеть, — сказал полковник Годфилд, отстраняясь и вглядываясь в блестящие глаза сына. — Ты здоров? По-прежнему здесь, у Скиппона?

— Все хорошо. — Генри сиял. — Ты знаешь, здесь Элизабет. Она хочет повидаться с тобой... А в парламенте — ты слышал?..

— Да. — Полковник посуровел. — Нам только что сообщили. Вот мистер Ледло, — он указал на человека из кареты, — все рассказал.

— И что Кромвель? Он знал? Что он думает?

— Генерал сказал, что ничего не знал об этом деле. Но поскольку оно свершилось, он рад ему и постарается поддержать.

Отныне препятствий к суду над королем не осталось. Ежедневно десятки петиций приходили в парламент; их податели со всех концов страны требовали судить Карла Стюарта, виновного в неисчислимых бедах, пережитых Англией за эти годы.

Около пятидесяти депутатов, которые теперь посещали парламент, отменили все прежние соглашения с монархом. Короля перевели в Виндзорский замок и поместили под двойной охраной.

И вот 8 января в Расписной палате Вестминстера собрался Верховный Суд Справедливости: члены «очищенной» палаты общин, армейские офицеры, испытанные в боях под командой Кромвеля. Председателем назначили честерского судью Джона Брэдшоу. Судьи несколько дней совещались тайно. А затем, 20 января, в субботу, широкие двери Вестминстер-холла, столь памятного Генри, распахнулись, и народ хлынул внутрь, чтобы послушать, как кровавого тирана призовут к ответу за его злодеяния.

Несколько дней допросов разных свидетелей, несколько дней публичного спора с Карлом, который продолжал увиливать от прямых ответов, юлить и настаивать на своей богом данной прерогативе, привели к единодушному решению: Карл Стюарт — тиран, изменник, убийца и открытый враг нации присуждается к смертной казни путем отсечения головы от тела.

## 6. «НОВЫЙ ЗАКОН СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Тридцатого января с утра хлестал морозный ветер. Солнце по временам выходило из-за облаков, и мельчайшие колющие иголочки, прыгавшие в воздухе, начинали искриться и жгли лицо, казалось, еще нестерпимее. Но тысячи лондонцев все равно с раннего утра стекались в этот день к единственному сейчас достойному внимания месту — большой прямоугольной площади перед Банкетным залом Уайтхолла. На лодках, ломая прибрежный лед, переправлялись из Саутворка. Верхом, в каретах, повозках ехали из предместий, ближних и далеких. Прибывали из других графств. Неслыханное, что должно было свершиться в этот день с королем, монархом божьей милостью, помазанником, владыкой почти сверхъестественным, одно прикосновение которого, как известно, исцеляло от золотухи и других напастей, — это неслыханное нечто привлекало несметные толпы народа.

Прямо к окнам второго этажа большого белого здания Банкетного зала за ночь был подведен помост. Его обтянули черным сукном. Черная плаха и прислоненный к ней огромный, устрашающий в своем грозном изяществе топор с длинной рукояткой явственно говорили о том, что здесь собирались делать. Вокруг помоста, вокруг здания и на самой площади с ночи дежурили полки, и помост издали казался окруженным густой темной решеткой с красным основанием и поднятыми к небу остриями: то стояли суровые, готовые ко всяким неожиданностям пикейщики в красных парадных мундирах.

Толпы народу все прибывали, наиболее ловкие взобрались на карнизы и крыши близлежащих домов, кому-то удалось договориться с их жителями и устроиться у распахнутых, несмотря на мороз, окон; мальчишки гроздьями висели на деревьях. К полудню на площади стало заметно теснее, и темный страх, неосознанный страх толпы шевельнулся в груди Элизабет, пришедшей с Эмили, как и все, посмотреть на великое событие.

Они, хоть и старались прийти на площадь как можно раньше, все же не успели занять самых удобных для наблюдения мест и стояли, зажатые толпой между аркой и противоположным помосту домом. Впрочем плаха и злобный топор были отсюда хорошо видны.

Толпа все прибывала, пар от дыхания смешивался с отрывками невнятных быстрых разговоров.

— ...Как первый, как первый? Марию Стюарт, католичку, тоже ведь казнили, и тем же способом, хе-хе...

— Эх, сравнили. Ее добрая наша Елизавета судила и пэры, только пэры, заметьте. И за что?

— За прелюбодеяние.

— Не только; за мужеубийство — раз. За государственную измену и покушение на власть — два. И главное — судил суд равных.

— А казнили не на площади все-таки, а в замке.

— А тут — по всенародному суду, открыто, и казнь перед публикой.

— Бросьте вы, по всенародному. Все судьи, как огласили список, разбежались — и Уайтлок, и Селден, и Сент-Джон. Лорды тоже. Даже Генри Вэн, и тот смылся. Кто судил-то? Пятьдесят человек? Все те же...

— Ну знаете, за такие слова...

— А вы были сами на суде-то?

— Конечно был. Ну не в Расписной палате, а в Вестминстер-холле. Туда всех пускали. В том-то и дело. А вы были?

— Был... А вот генерал Фэрфакс не был. Только леди его крикнула с галереи: он, мол, не так глуп, чтобы в этом участвовать.

— А что, собственно, вы хотите сказать? Его судил народ — за нарушение прав, за кровопролитие, за войну против подданных. Он хотел поработить нас руками шотландцев!

Где это слыхано? Он стал врагом своей страны!

— Интересно, а палача уже нашли? Или до сих пор ищут? Говорят, на такое дело никто не соглашается.

— Джентльмены, а вы помните, как у его величества на суде набалдашник соскочил с трости? Я прямо похолодела — как будто голова упала... Предзнаменование.

— Это дело справедливости. Самой чистой справедливости. Вы слышали, как солдаты на суде кричали?

— Это дело рук одного-единственного человека. И все мы знаем какого. Он сам хочет быть королем, еще с Нэсби.

— Говорят, он и подписи под приговором собирал самолично. Угрожал, уговаривал... Не будь его, все бы развалилось...

Ноги у Элизабет совсем закованели. Толпа прибывала, ее все ошутимее сдавливали сзади, с боков. Она ухватила за тонкую руку Эмили, боясь потеряться. Кузина, старшая годами, казалась ей гораздо более смелой и стойкой, чем она сама.

В суматохе последнего месяца — странного месяца, полного гнетущего ожидания чего-то небывалого, месяца самых невероятных слухов и неотвратимого, грозно надвигающегося, неведомого переворота, ей так и не удалось толком объясниться с отцом. Он жил в Уайтхолле с Кромвелем и другими генералами, куда доступ ей был заказан. Он все время был чем-то занят, куда-то спешил, с кем-то встречался. И когда Элизабет удавалось повидаться с ним, она чувствовала, что ему не до нее. Он слушал ее рассеяннo, смотрел в сторону, и обычная его нежность казалась ей еще более грустной.

— Потом... — говорил он ей, когда она заводила речь о расторжении помолвки. — Потом, дорогая. Я не враг твоему счастью... Ты вольна сама решать свою судьбу, ты разумная и добрая девочка, точь-в-точь мать. Но... потом... Подождем некоторое время...

...Внезапно по толпе прошло движение, сзади слегка нажали, Элизабет вытянула шею и увидела, что на помост прямо из окна второго этажа Банкетного зала стали выходить офицеры. За ними появились два человека в масках, одетые вроде бы моряками, с бородами и в беретах. Один нес веревку.

— Палач и его помощник, — сказали сзади. — Ишь ты, обычный костюм палача надеть не решились...

Тот, что был повыше ростом, подошел к плахе, взял за рукоятку топор и придвинул его изогнутое лезвие к своей ноге, обутой в черный мягкий сапог. Потом окно Банкетного зала распахнулось шире, и из него на помост шагнул невысокий, очень прямой человек в черном, с длинными волосами. Следом вышел епископ, за ним еще офицеры. Все они стали полукругом, оглядая плаху, и Элизабет уже не могла отвести взгляда от того, невысокого, кто еще недавно был королем Англии и кому теперь предстояло быть казненным.

Он оглянулся на епископа, вышел из полукруга и шагнул к плахе. Прелат качнулся вслед за ним. Снизу вверх посмотрев на палача, Карл сказал ему что-то, указывая на плаху. Потом в руке его оказался листок бумаги, он подошел ближе к краю помоста (пикейщики внизу ошетишили острия ему навстречу), далеко отвел от глаз руку с листком и высоким голосом начал говорить, заглядывая в листок. Невероятная, неправдоподобная тишина нависла над головами. Но слышно было все равно плохо, голос словно тонул в морозном воздухе, до Элизабет долетали только отдельные слова.

— П-повинны те, — слышала она, — кто встал между мной и парламентом... Грубая сила... Но в чем заключается свобода? Иметь п-равительство и законы, обеспечивающие личность и собственность...

Дыхание замерло у нее в груди, в памяти всплыла темная ноябрьская ночь, разъезженная грязная дорога, месяц, вышедший из-за туч, осветил часть лица и продолговатую жемчужину серьги, и тот же голос, слегка заикаясь, произнес: «Б-благодарю вас, мисс. К-как это вы не боитесь гулять одна в т-такую ночь?»

Элизабет закусила губу, глаза ее слезились от ветра и напряжения, она всматривалась, вслушивалась в последние слова монарха, с которым столкнула ее на минуту судьба темной

осенней ночью на улице родного Кобэма.

— Подданные — и монарх... Пока вы не поймете разницу, у вас не будет с-свободы... Я умираю за с-свободу...

Рука с листком безжизненно упала, порыв ледяного ветра взметнул длинные седоватые волосы, Карл обернулся к епископу и стал снимать с себя драгоценности. Потом снял камзол и остался в одной рубашке. Ему подали маленькую шапочку, он надел ее, епископ помог подсунуть под нее волосы. Затем король деревянно, сохраняя неестественную прямогу, шагнул к плахе, стал возле нее на колени и положил голову. Минуты две ничего не происходило. Потом белые руки в кружевных манжетах простерлись вперед, обхватили черный обрубок, и тут же палач взмахнул топором, напрягшись всем телом, и с резким выдохом бросил вниз тяжелое отточенное лезвие. Голова упала с оскорбительным деревянным стуком, мгновенно превратившись в неодушевленный страшный предмет. Человек с веревкой проворно нагнулся, подхватил ее и высоко поднял за волосы, не обращая внимания на стекавшие по рукаву красные струи.

Странный, страдальческий стон сотряс толпу, будто весь старый привычный мир рассекся с этой казнью надвое, распался, перестал существовать; единое тело ее разом качнулось, замерло на мгновение, а потом Элизабет неудержимо понесло вперед и вбок, к помосту. Она тут же потеряла руку Эмили, ее зажало так, что дыхание в груди замерло, и она, спотыкаясь о тысячи ног, старалась только не упасть, иначе смерть... Перед ней, у помоста, взлетали в воздух руки с платками — это давясь, тесня друг друга и продираясь вперед, люди старались омочить платки в священной королевской крови...

Заиграла труба, резкий голос крикнул что-то, и толпу шатнуло назад. Отборные отряды железнобоких начали оттеснять народ от помоста. На Элизабет спереди навалилась чья-то спина, она едва не потеряла равновесие, оглянулась, ища глазами Эмили, но не увидела ее и с внезапной трезвостью поняла, что единственный путь спасения — это боковой проулок, куда можно было, протолкавшись, отступить и избежать смертельного водоворота. Собравши все силы, она выбралась наконец к углу дома. Там было чуть посвободнее, она прижалась спиной к ледяной шершавой стене, прикидывая дальнейший путь, и тут увидела, что чья-то рука взметнулась к ней из толпы. К ней пробирался, борясь отчаянно с плотной стихией человеческих тел, Джерард Уинстэнли.

Это было как во сне. Она как будто знала, что его увидит. Будто и казнь монарха, и эта толпа, и давка, и ее внезапное одиночество произошли только для того, чтобы они встретились здесь на площади, стиснутые с разных сторон и бессильные пробиться друг к другу.

От помоста донеслись крики, толпу еще шатнуло, и Джерарда вместе с нею повлекло в сторону, все дальше от Элизабет, к боковой улице. Она было рванулась за ним, но бешеный напор толпы прижал ее к стене, сковав дыхание. Потом и ее понесло, вместе с сотнями людей, к проулку. Медленно, боком она передвигалась, стараясь не терять из виду мелькавшую впереди шляпу. Страх, что она его потеряет, придавал ей силы. Шаг за шагом, в сплошном человеческом месиве она добралась до угла, тут стало свободнее, и она увидела, что он ждет ее у выступа двери. Она протиснулась к нему, встала рядом, поправила растерзанную шаль и перевела дух.

Лицо его было бодрым, серьезным и будто светилось изнутри. Он подвинулся, освобождая место рядом с собой, притронулся к шляпе и сказал вместо приветствия:

— Ну вот, свершилось. Нормандское иго пало. А вас, я вижу, совсем затолкали. — Он дал ей руку, они немного подождали и, когда толпа поредела, двинулись прочь от Уайтхолла. Поток вынес их к Чаринг-Кросс, оттуда они свернули на Стрэнд, где наконец можно было идти рядом и разговаривать.

Странно, оба не выказали ни малейшего удивления, что очутились в этот день в Лондоне, и не задали друг другу обычных в таких случаях вопросов. То, что произошло только что на их глазах, разом отмело все условности и словно бы сделало их близкими людьми.

— Свершилось, — повторил Джерард. — Твердыня тирании разрушена. Закон справедливости торжествует, и жизнь теперь пойдет по-новому.

Он взглянул на девушку; глаза его сверкали необыкновенным воодушевлением, лицо разгорелось на морозе, на губах играла улыбка. Элизабет никогда еще не видела его таким. Он был рад, несомненно рад тому, что случилось, и совсем не испытывал того ужаса от происшедшего, который не покидал девушку. Она до сих пор не могла оправиться от потрясения, отрубленная голова снова и снова падала на помост перед ее глазами.

— Вы думаете, это к лучшему? — робко спросила она.

— Без сомнения. Эта казнь была необходима. Все угнетение шло от монархии, вся неправда нашей жизни... Теперь с этим покончено. То, что мы видели с вами на площади, — поистине великий переворот. Это младший брат, кто попран и затоптан в грязь, поднял голову. Он прославит себя в грядущих веках.

Джерард давно уже отпустил ее руку, толпа поредела, и он шагал широко, устремив глаза вдаль. Элизабет могла бы даже подумать, что он забыл о ее существовании, если бы он ее говорил, — а говорил он все время, горячо и внятно, изредка обращая к ней лицо.

— Это не досужий вымысел, то, что я говорю. Я познал это в откровении. Я слышал голос... И вот что я понял: каждый теперь должен работать на земле и есть хлеб, добытый своим трудом. Тогда и земли хватит на всех: человек будет обрабатывать столько, сколько сможет, не нанимая работников. Так мы будем строить новое царство...

Сильный толчок сзади прервал его, он споткнулся и чуть не сшиб девушку с ног. Какой-то детина пробирался вперед, грубо расталкивая людей. Джерард мягко посторонился, ни тени гнева не легло на его черты. Он продолжал:

— И когда я это осознал, великий мир и тайная радость поселились во мне. Новый закон отныне придет на землю; суть его — разум и равенство. Я так и назвал свой трактат: «Новый закон справедливости»...

Элизабет не совсем улавливала последовательность в его словах, но слушала с готовностью. Его необычайный подъем передался и ей, она была рада поверить: чудовищная казнь необходима, чтобы царство справедливости пришло наконец на землю. А Джерард говорил дальше, высоко подняв голову, изредка улыбаясь, говорил будто себе самому, и спокойная уверенность слышалась в его словах:

— Когда господь откроет мне место, и время, и способ, как мы, простой народ, должны трудиться на общей земле и жить вместе, я пойду и буду работать вот этими руками, в поте лица моего, никому не служа и никого не нанимая. И чистые души, вроде вас и ваших братьев, я уверен, последуют за мною.

Элизабет шагала рядом с ним, счастливая его присутствием и его речью, готовая идти вот так все равно куда и слушать, слушать без конца. Она понимала, что ему надо сейчас говорить, а ее дело — только слушать, и поддерживать, и разделять с ним его мысли.

— Настало время радоваться, — продолжал он, — силы добра больше не будут попираются драконом; проклятая власть опрокинется к подножию своему. Новое царство придет сюда, к нам, на эту землю. Мы с вами увидим его, станем его участниками и работниками.

Они не заметили, как миновали Стрэнд, потом Флит-стрит и вышли на площадь к собору святого Андрея. Оба с утра не ели, но не испытывали ни малейшей потребности в пище. От ходьбы они согрелись, восторг, похожий на опьянение, переполнял их сердца; со стороны эта пара производила, вероятно, странное впечатление; впрочем мало кто в этот час в Лондоне, возвращаясь с казни, был спокоен и невозмутим. Элизабет видела вокруг взволнованные лица — то потрясенные, заплаканные или опечаленные, то радостные. Девушка совсем забыла об Эмили и о том, что надо бы вернуться домой. Они обогнули стынущую громаду собора и пошли теперь по Чипсайду. Дневной свет начал меркнуть.

— И знаете кто послужит орудием божьим в этих переменах? — голос Уинстэнли звучал по-прежнему уверенно и вдохновенно. — Самые бедные и презираемые. Они наследуют землю. Это еще скрыто от глаз богачей, и ученых, и правителей мира, но именно

на бедняках лежит благословение неба. «Не бедных ли мира избрал господь быть богатыми верою и наследниками царствия его?» О, вы, кто называет землю своею и смотрит на других как на слуг и рабов! Вы думаете, что земля создана только для вас, чтобы вы жили на ней в богатстве и почете, когда другие голодают и стонут под вашим игом? Нет, господь пошлет своих слуг освободить землю, чтобы они служили ему вместе в общности духа и общности благ земных. Трепещи, гордая и жадная плоть, ты приговорена!

Смеркалось все заметнее. Они миновали еще одну площадь и свернули в боковую улицу. Джерард вдруг внимательно взглянул на Элизабет, улыбнулся и, придерживая ее за локоть, толкнул какую-то дверь. Они сделали несколько шагов по ступенькам вниз и очутились в тепле почти пустого небольшого зальца. Хозяин подошел и осведомился: пиво? гусь? жареная телятина?

— Молока, пожалуйста. — Уинстэнли глянул на Элизабет. — И хлеба. Может, вы хотите чего-нибудь еще, мисс?

Нет, она не хотела. Хозяин принес кружки, ломти хлеба на деревянной тарелке и кувшин молока. Элизабет с нежностью смотрела, как истово и аккуратно ест Джерард. «Ни вина, ни мяса, — подумала она. — Он и вправду чист, как ребенок». Утолив голод, он заговорил опять:

— Наш день близок. Слова Писания сбудутся: богатые лишатся награбленного, бедняки возрадуются. Жадность и злоба умрут. Человек будет иметь еду, питье и одежду от трудов рук своих и станет смотреть на других как на братьев. Все творение освободится от проклятия: земля перестанет рождать бурьян и тернии; сам воздух очистится и обретет ясность и покой; звери будут жить в мире друг с другом и перестанут страдать. — Он поднял глаза на девушку. — Радость, великая радость и любовь наполнят землю. И все будет общим для всех.

Ей почудилось, что в глазах у него блеснули слезы. Сердце ее дрогнуло. Он был всем для нее в этот миг — нежно любимым братом, которого она, казалось, знала с детства; и даже будто ребенком, сыном, за которого она готова была отдать свою жизнь; и возлюбленным, о ком постоянно тосковало ее сердце; и недостижимым, совершенным учителем. Ей хотелось, чтобы все желания его исполнились. Она спросила:

— И все это сбудется совсем скоро?

— Ну, может быть, не завтра. Мы ведь не должны отнимать что-то силой... Хотя, конечно, без борьбы не обойдется. Лорд не отдаст своей власти добровольно, вернее, не отдаст ее сразу. Как плод исподволь зреет в утробе матери, как зерно медленно прорастает к солнцу, так и свет справедливости...

Лицо его вдруг потухло, резко обозначились морщины у рта. «Устал», — подумала она и, боясь расстаться с ним и в то же время не желая слишком занимать его собою, спросила:

— Вам, может быть, пора идти? — и смутилась.

— Да, пожалуй, пора. — Он достал монету, отдал хозяину и встал. — Идемте, я провожу вас, уже темно.

Они вышли на улицу. Нищая немая девочка с посиневшим от холода маленьким личиком, тыча пальцем в рот и складывая лодочкой заоченевшую ладошку, просила денег. Уинстэнли сунул руку в карман, потом в другой, смущенно кашлянул и потрепал девочку по щеке.

— Иди, — сказал он, — иди внутрь, попроси хлеба. Денег у меня больше нет. Я сам бедняк, как и ты. Скоро тебе не надо будет просить денег, дитя, они исчезнут вместе с голодом.

Они пошли обратно, к Стрэнду. Людей на улицах было уже мало. Стужа и пережитые волнения дня разогнали их по домам. Джерард и Элизабет шли молча. Внезапный топот копыт заставил их оглянуться. Карета, запряженная сытой холеной парой, обогнала их на полном скаку, кучер гикнул, натянул вожжи, и лошади остановились неподалеку, окутавшись морозными клубами. Степенный кучер слез с козел, опустил ступеньку и отодвинул кожаный занавес. Важный толстый господин, побряхтывая, вылез первым, вслед



за ним, опираясь на протянутую руку, выпорхнула нарядная черноволосая дама, закутанная в меха. Она обернулась к ним, Элизабет увидела красивое уверенное лицо. Черные брови дамы поползли вверх, и невинно-плотоядное, довольное выражение ее лица сменилось вдруг таким явным, таким нарочитым, торжествующим презрением, что девушка вздрогнула, как от удара.

Она никогда прежде не видела этой дамы и не могла понять, чем вызвано ее уничтожающее презрение. Все это длилось один миг. Дама усмехнулась, взор ее скользнул вниз и задержался на башмаках Джерарда; верхняя губа вздернулась, обнажив ровные белые зубки, она схватила неповоротливого спутника под руку и быстро-быстро повлекла его к дверям, на них блеснула медная табличка, и оба исчезли. Кучер тронул лошадей, карета свернула за угол и скрылась из виду.

Элизабет повернулась к Уинстэнли и только тогда заметила, как изменилось его лицо. Мертвенная бледность покрывала его, губы что-то шептали; он не двигался с места.

— Это его дом... Как же я забыл... — бормотал он.

Элизабет дотронулась до его локтя. Он опомнился, помотал головой, как бы отгоняя наваждение, подал ей руку. Они пошли дальше. Элизабет чувствовала странное понурое опустошение, будто еще одна надежда ее умерла. И хотя Джерард по-прежнему шел рядом, они были уже не вместе: воодушевление дня угасло. Кто была эта дама? И что вообще она, Элизабет, знает об этом человеке? Она все убыстряла шаги, торопясь поскорее дойти до дому и освободить его от себя: ей казалось, что ему больше не нужно ее присутствие. И только когда он заговорил вновь, ей стало ясно, что нить, связавшая их в этот день, не порвалась, а стала лишь тоньше. Голос его звучал глухо.

— Все, что я говорил вам, я знаю на собственном опыте. Я не об откровении сейчас... Было время, когда я жил страстями. Я искал удовлетворения в наслаждениях, во всем том, что так ценят низкие души. И вязнул все глубже... Но я знал, в глубине души всегда знал, что есть иной путь, иной способ жить... Что я должен найти его и обязательно найду. — Он вздохнул и невесело усмехнулся. — И я победил себя. Соблазны мира стали мне безразличны. Но близкие сочли меня безумцем. Они не могли понять этой победы. Они стали меня бояться, называли отступником, впавшим в заблуждение, смотрели на меня как на существо иного мира... А потом, когда меня постигло разорение — разве понять им было, когда я говорил, что это не разорение, а избавление! Жена возненавидела меня и ушла обратно в дом отца. Вы ее только что видели... Я остался один. И это спасло меня.

Элизабет содрогнулась. То была его жена! Красивая, уверенная, разодетая... Она спрятала руки под грубое деревенское сукно шали. Это его жена...

А Джерард вдруг выпрямился и стал как будто выше ростом. Тень сбежала с его лица, голос вновь стал твердым, речь внятной:

— Сейчас для Англии открыты три двери надежды. Каждый должен перестать гнаться за другим в поисках выгод — это раз. Во-вторых, пусть каждый откроет свои закрома и амбары, чтобы все могли насытиться и не было больше нищих. Наконец, следует отказаться от власти одного над другим, от тюрем, бичеваний, поборов. Пусть каждый трудится на земле и кормится трудом рук своих.

Они подошли к дверям ее временного жилища, Элизабет подняла к Уинстэнли горестные глаза, понимая, что эта встреча уже позади и бог знает когда она увидит его снова. Она не смела спросить, где он остановился, надолго ли в Лондоне, какие дела держат его здесь. Она не смела заговорить о будущей встрече. А он молчал. Он склонился перед ней почтительно и низко, не сняв шляпы. Потом повернулся и пошел прочь, во тьму. Она вздохнула, и звук дверного молотка, который она тронула рукой, напомнил ей глухой деревянный стук головы, упавшей сегодня на помост.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ДИГГЕРЫ

*Первый могильщик:* ...А насчет дворян — нет стариннее, чем садовники, землекопы и могильщики. Их звание — от самого Адама.

*Второй могильщик:* Разве он был дворянин?

*Первый могильщик:* Он первый носил ручное оружие.

*Второй могильщик:* Полно молоть, ничего он не носил.

*Первый могильщик:* Да ты язычник, что ли? Как ты понимаешь Священное писание? В Писании сказано: «Адам копал землю». Что же, он копал ее голыми руками?

**ШЕКСПИР. «ГАМЛЕТ»**

## **1. ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ**

Наступил апрель первого года Английской республики. Не было больше короля в старой доброй Англии, не было палаты лордов. Пали и разлетелись в прах ее старинные и неперменные атрибуты: Тайный совет, суд королевской опеки, Звездная палата, одно имя которой рождало леденящую кровь мысль о пытках и ужасах подземных казематов. В Уайтхолле вместо королевской семьи расположилась генеральская ставка.

Лорд-генерал Фэрфакс заканчивал завтрак в весьма хмуром расположении духа. Ему предстояло сегодня заняться государственными делами, а о них лорд-генерал с некоторых пор не мог думать без отвращения.

Это началось несколько месяцев назад, еще до казни несчастного монарха, когда пришло вдруг ясное и беспощадное сознание того, что он, генерал Фэрфакс, бессилен. Да, бессилен что-либо изменить в ходе событий или хотя бы направить их по тому руслу, которое представлялось ему наиболее желательным.

Сумрачная неуютная столовая в том крыле Уайтхолла, которое он занимал, была пустынна; генерал вяло жевал и поглядывал на свое отражение в зеркале напротив. И даже отражение это вызывало у него неприязнь. Длинное смуглое лицо с глубоким шрамом на левой щеке, слабый подбородок... Он не был рожден политиком, вот что. Он был солдатом, прошедшим отличную школу в голландских войсках, а потом в Шотландии, он был настоящим боевым офицером, зорким и бесстрашным в битве. Он был человеком чести, рыцарем шпаги. «Солдаты меня уважают», — подумал он. Но когда дело доходило до политики, он чувствовал себя прежде всего миротворцем; этот странный парадокс и служил, быть может, главной причиной его слабости.

Он с самого начала хотел, чтобы Армия договорилась с королем, и все решилось бы миром. Когда Айртон в сентябре прошлого года с холодным блеском в глазах доказывал ему необходимость чистки парламента, он решительно ответил отказом. А когда мятежная, полная угроз и требований суда над Карлом айртонова ремонстрация легла перед ним на стол в Сент-Олбансе, он объявил, что не поддержит ничего, что вело бы к ниспровержению веками испытанного строя английской монархии. И не помогло! Слово главнокомандующего в политических делах веса не имело.

Он скомкал салфетку и поднялся из-за стола, резко отодвинув стул с высокой резной спинкой. Он вспомнил унижительное сознание беспомощности, которое испытал в конце ноября, перед Прайдовой чисткой, как слал он тогда Кромвелю в Понтефракт приказ за приказом — не медлить, поспешить в Лондон! Тщетно. Кромвель будто нарочно тянул, откладывал, а когда выехал наконец, то передвигался со скоростью черепахи.

На суд Фэрфакс не пошел. Он не мог видеть, как попирают древние обычаи и обращаются с королем, словно это простой смертный. За него пошла Анна; она словно восполнила недостаток его решимости. Но когда разные люди, используя, в частности, и Анну, его жену, попытались уговорить его отбить короля перед казнью (ведь в его руках Армия, говорили они), он тоже ответил отказом. И здесь он не мог решиться, а ограничился лишь тем, что упорно пытался отложить казнь хоть на несколько дней...

Может быть, бросить все это, с тоской подумал он, уехать на север, в деревню, жить

там с женой и Мэри, единственной его дочерью, растить свой сад, пополнять коллекцию монет и делать переводы с латыни? Что, собственно, нужно человеку для счастья? Пища, одежда, кров, любимые лица рядом...

Он вздохнул и прошел в кабинет, где уже ждали его секретарь и солдат, принесший почту, сел за стол и взял первое письмо. Оно было от президента недавно испеченного Государственного совета Брэдшоу. Упразднив палату лордов и Тайный совет, республиканский парламент избрал из своей среды исполнительный орган — Государственный совет и тем укрепил свою власть в стране. Его председателем избрали Джона Брэдшоу. Дался им этот Брэдшоу! Никому не известный судья из провинции, с длинным носом и лицом ограниченного человека, ничтожество и к тому же трус, он почему-то был избран председателем суда над королем, а теперь — президент Совета!

Фэрфакс сломал печать, развернул пакет, из которого сразу выпал исписанный лист, и пробежал глазами аккуратные безликие строчки: «Милорд, вложенное сюда сообщение известит вас о распущенном и буйном сборище людей, появившемся недалеко отсюда, в месте, называемом холмом святого Георгия. И хотя предлог, который они выставляют для своего пребывания там, может показаться смехотворным, все же эта толпа народа способна положить начало гораздо более значительным и опасным событиям, ведущим к нарушению мира и спокойствия в Республике. Мы поэтому рекомендуем вашему превосходительству послать в Кобэм, Серри, отряд кавалерии с приказом разогнать этих людей и пресечь подобные сборища в будущем, с тем чтобы злонамеренные и враждебные силы не могли под видом этой смехотворной толпы причинить нам еще больший вред».

Ну конечно, Брэдшоу везде мерещатся заговоры. Он дрожит за свою жизнь. Недаром у него в шляпе зашиты стальные пластинки. Фэрфакс презрительно усмехнулся. Но что же это за толпа? Он взял вторую бумагу, помятую и не отличавшуюся чистотой. Писал некто Сандерс, из Уолтона-на-Темзе:

«В прошлое воскресенье, — читал Фэрфакс, кривя тонкие губы, — некто Эверард, ранее служивший в армии, но теперь уволенный, который именует себя пророком, некто Уинстэнли, а также Полмер и Колтон, и еще двое, жители Кобэма, пришли на холм св. Георгия, что в Серри, и начали вскапывать ту сторону холма, которая примыкает к огороженному лагерю; они засеяли ее пастернаком, морковью и бобами. В понедельник они снова пришли туда, уже в большем числе, а на следующий день, во вторник, подожгли вереск, не менее сорока руд, что является большим ущербом для города. В пятницу их стало 20–30 человек, и они копали весь день. Они намерены иметь в работе два или три плуга, но не запаслись поначалу семенами, что сделали в субботу в Кингстоне. Они приглашают всех прийти и помочь им и обещают за это еду, питье и одежду. Они угрожают разрушить и сровнять с землей все ограды и намереваются вскоре все засадить. Они заявляют, что в течение десяти дней их станет четыре или пять тысяч; и грозятся соседям, что заставят всех их выйти на холмы и работать; и предупреждают, чтобы они не подпускали свой скот близко к их плантации, иначе они вырвут ему ноги. Есть опасение, что они что-то замышляют».

Донос был помечен 16 апреля, и письмо Брэдшоу — тоже 16 апреля. «Судья проворен», — подумал Фэрфакс и вспомнил новость, которую среди других лондонских сплетен сообщил ему на днях неугомонный Хью Питерс, армейский проповедник.

«Говорят, появились люди, — шептал он, округляя глаза и то и дело дотрагиваясь то до огромной шпаги, висевшей на боку, то до пистолета за поясом, — которые хотят вернуть творение божие в его прежнее состояние, до грехопадения, так сказать... Ну да, восстановить древнюю общность в пользовании землею...»

И еще что-то... Ах да, «накормить голодных, одеть нагих»... Уж не об этих ли копателях с холма святого Георгия шла речь?

Еще не зная, какое решение он примет по этому делу, Фэрфакс отложил оба письма и взял газету. Это был «Умеренный», издававшийся левеллерами. И хотя Фэрфакс не любил ни Лилберна, ни Овертона, он все же регулярно читал их еженедельные выпуски, ибо должен был знать настроение Армии. Глаза его сразу наткнулись на Манифест, написанный в

Тауэре, куда главари партии в марте были заключены за зловедную оппозицию Республице.

Уже длинное и тяжеловесное название Манифеста отдавало скандалом: «...имеющий целью, — читал он, — опровергнуть многочисленные клеветы, направленные против людей, обычно (хотя и несправедливо) именуемых левеллерами, для того, чтобы сделать их ненавистными для мира и опасными для государства...»

Интересно, от каких клевет они думают себя очистить... Ага, они старались «вывести из общественных бедствий сочетание свободы и блага для народа»... Это вряд ли совместимо. Дальше общие слова о том, как много они трудились для счастья нации... Упреки в адрес Республицы... А вот и суть: «Наши враги с великой страстностью распространяют о нас все, что только может нас опорочить в глазах других... Распускают самые невероятные слухи, что будто мы хотим уравнивать состояния всех людей, что мы не хотим иметь никаких сословий и званий между людьми, что мы будто не признаем никакого правления, а стремимся лишь к всеобщей анархии...» Но вы сами даете повод так о себе думать, господа! Посмотрим, как вы ответите?

Генерал увлекся не на шутку. Он взлохматил свои черные, еще густые для тридцатисемилетнего мужчины волосы и стал похож на мальчишку, углубившегося в занятную игру. «Черный Том», — звали его солдаты. «Мы объявляем, — читал он, — что у нас никогда не было в мыслях уравнивать состояния людей, и наивысшим нашим стремлением является такое положение Республицы, когда каждый с наивозможной обеспеченностью пользуется своей собственностью... А различия по рангу и достоинствам мы потому считаем нужными, что они возбуждают добродетель, а также необходимы для поддержания властей и правительства... Они сохраняют должное уважение и покорность в народе...»

Фэрфакс, довольный, откинулся от стола. С этими людьми можно-таки договориться! Вот и выходит, что Кромвель был неправ, когда багровел и грохал кулаком по столу: «Или мы сокрушим этих людей, или они сокрушат нас!» Никого не надо сокрушать, можно договориться миром и не терзать понапрасну Армию.

Взгляд его снова упал на давешний донос из Серри. А вот это уже другое дело. Здесь пахнет уравниванием состояний, разрушением оград и вообще смутой. Он потряс колокольчик: — Капитана Глэдмена ко мне.

Пока ходили за капитаном, план действий был готов. Сборище на холме надо разогнать, но прежде следует выяснить, что у них на уме. Капитан Глэдмен для этого — самый подходящий человек: умен, находчив, привык думать, прежде чем действовать. И предан Республице. Он будет не столько карателем, сколько разведчиком. Кто знает, может, Брэдшоу преувеличил опасность. Во всяком случае не следует действовать поспешно. Дверь приоткрылась, и Фэрфаксу доложили:

— Капитан Глэдмен.

Глаза у капитана светлые-светлые, скорее серые, чем голубые, рот насмешлив. Пожалуй, он слишком умен для солдата.

— Капитан, вы возьмете два отряда кавалерии и пойдете с ними в Серри, на холм святого Георгия. Это приказ Государственного совета. — Фэрфакс с удовольствием отметил, как едва заметная усмешка змеей скользнула по губам капитана. — Выясните, что замышляет и чем занята толпа, которая собралась там у римского лагеря. Если ее действия и образ мыслей покажутся вам опасными, примените силу, но не ранее, чем убедитесь в этом достаточно определенно. Вы меня поняли?

— Осмелюсь спросить, сэр: какие сведения имеются об этих людях?

— Вот, ознакомьтесь с бумагами. И выступайте немедленно. Я буду ждать вашего ответа в ближайшие дни.

Капитан Глэдмен со своими солдатами стал лагерем в Кингстоне. Навести справки о том, что происходит на холме святого Георгия, труда не составило: достаточно было просидеть вечер в таверне «Трех лилий» и познакомиться с двумя-тремя офицерами местного гарнизона. Офицеры в целом были благодушны; лишь капитан Стрэви, молодой

человек с изрытым оспой лицом и невнятной, возбужденно-гнусавой речью, намекал на какие-то угрозы, злоумышления и бесчинства копателей, не подкрепляя, впрочем, свои домыслы сколько-нибудь определенными фактами. Больше всего он напирал на то, что их главари Эверард и Уинстэнли не ходят в церковь, отрицают Троицу и Священное писание и осмеливаются публично спорить с приходским пастором. Для Глэдмена, впрочем, этот довод не означал еще опасности для Республики.

— Но, как я понимаю, — сказал он, желая внести полную ясность, — на устои нашего государства эти люди не посягают?

И тут стукнул кулаком по столу сидевший неподалеку плотный, в богатом дублете фригольдер.

— Как не посягают? Очень даже посягают! Они-то как раз и есть самые опасные люди для государства!

Глэдмен обернулся. Он заметил этого фригольдера, когда говорил с капитаном Стрэви; фригольдер прислушивался к разговору и, видимо, сердился, все порываясь вставить словечко. Теперь он вскочил и подошел к столу, за которым сидели офицеры. Лицо его было красно, глаза горели гневом.

— Они стащили на холм все свои пожитки и все свалили в один сарай, — горячо заговорил он. — Все у них общее — понимаете? Да кто так делает! Добро бы родственники были, семья — это понятно. А то ведь чужие люди... Я вам говорю, господа офицеры, это самое опасное и есть. Ведь их вон сколько! А ну как все к ним побегут — кто работать будет? Это же выйдет бунт! Ни вас, ни нас слушать никто не станет!..

Глэдмен спросил у фригольдера имя — его звали Джон Тейлор, из Уолтона. Наутро капитан послал к копателям трех наиболее смысленных солдат во главе с капралом. К обеду они вернулись, как ему показалось, вполне разочарованные. Да, они видели восемнадцать человек, бедно одетых и вооруженных мотыгами и топорами, на общинной бесплодной земле возле римского лагеря. Десятеро из них копались в земле, а восемь заканчивали строительство хижин. Несколько женщин готовили пищу.

— Какая опасность, — добродушно ухмыляясь, говорил рослый белокурый капрал, — какая там опасность! Окучивают свои бобы, и все тут. Смирные ребята. Я их спрашиваю: кто у вас главный? Один тут же вскочил — я, говорит, и другой вышел, пониже ростом.

— Имена ты спросил?

— Да, я вот тут записал, — он вынул бумажку из шляпы, — Уинстэнли и Эверард. Я им говорю: нас лорд-генерал послал узнать, что вы тут делаете? Тут этот длинный как начал говорить, замахал руками, все про бога, про Новый Израиль, про победу духа... По-моему, он того... Малость умом тронутый.

— А второй?

— Тот потише и вроде посерьезнее. Я им говорю: вы бы не мне, а самому лорд-генералу это все объяснили, а? Так они очень даже согласны. Хорошо, говорят, пойдем сами объясним. Ну, думаю, их надо тут же поймать на слове. А вы, говорю, завтра бы и пришли к нему, и все сами рассказали. Вот лошадки, я вижу, у вас есть, и поехали бы, езды до Уайтхолла всего часа два...

— Ну и они? Отказались?

— Да нет! Согласились! Завтра, говорят, какой день? Пятница? Завтра, в пятницу, с рассветом и поедем.

Капитан Глэдмен рассмеялся, показав ровные белые зубы.

— Ну, Дик, ты молодец. Сядь, выпей пока чего-нибудь и поешь, а я напишу донесение. С ним прямо и скажи к лорд-генералу.

Он подвинул к себе лист бумаги, обмакнул перо и написал: «Сэр, согласно вашему приказанию, я подошел к холму св. Георгия и послал вперед четырех человек собрать для меня сведения; они пошли и встретили мистера Уинстэнли и мистера Эверарда (которые являются их главари, склонившими этих людей к действию). И когда я расспросил их, а также тех офицеров, которые стоят в Кингстоне, я увидел, что нет никакой нужды идти

дальше. Я не слыхал, чтобы там с самого начала было больше 20 человек; м-р Уинстэнли и м-р Эверард оба обещали быть назавтра у вас; я полагаю, вы будете рады от них отделаться, особенно от Эверарда, который, по-моему, просто сумасшедший. Сэр, я намереваюсь пойти сегодня на холм св. Георгия с двумя или тремя солдатами и попробовать уговорить их бросить это дело; и если не усмотрю в них опасности, завтра вернусь в Лондон...»

Он оторвался от письма, поднял в задумчивости голову, вспомнил презрительную мину, которой генерал сопровождал всякое упоминание о республиканских властях, и усмехнулся. Затем приписал: «Право же, дело это не стоит того, чтобы о нем писать, ни даже упоминать; меня удивляет, как это Государственный совет позволяет вводить себя в заблуждение подобными сообщениями».

Он опять улыбнулся, зная, что и Фэрфакс будет доволен этими последними строчками, поставил подпись и присыпал письмо песком.

Фэрфаксу доложили, что двое из Серри просят его аудиенции. Он велел обождать и, только закончив плотный обед в обществе своего друга и родственника, а также члена Государственного совета и Хранителя Большой печати Бальстрода Уайтлока, вернулся мыслью к копателям с холма святого Георгия.

— Да, кстати, — сказал он Уайтлоку, допивая бокал красного испанского вина, — вот вам еще тема для вашего дневника: вы слышали что-нибудь о копателях?

Уайтлок прищурил большие, умные, навывкате глаза, припоминая. — Кто-то говорил мне... Может быть, Питерс? Это они собираются все сделать общим?

— Я не знаю, что они собираются. Я располагаю только доносом и впечатлениями моего офицера. Одно противоречит другому. Если хотите, допросим их вместе, они ждут у меня в приемной.

— Нет, генерал, допрашивать — ваше дело. Я, если позволите, посижу тихонько и послушаю.

Они прошли в кабинет, Фэрфакс сел к столу, у которого уже ждал секретарь, а Уайтлок пристроился в углу у окна, где стояло глубокое кресло перед маленьким столиком. Солдат ввел двух людей; одеты они были бедно; один — по-крестьянски, другой — в потрепанном, порыжевшем от времени армейском мундире. Грубые башмаки у обоих были стоптаны и нечисты; лица обветрены.

— Шляпы... — прошептал солдат в спину вошедшим.

— Шляпы! — громче сказал секретарь и ожидающе посмотрел на Фэрфакса. Но вошедшие не двинулись. Они молча стояли перед столом главнокомандующего в старых черных шляпах с обвисшими полями и круглыми тульями. У того, кто пониже ростом, руки были сложены на груди, у высокого висели, как плети.

Фэрфакс еще раз внимательно всмотрелся в их лица. Тот, кто пониже, ему, пожалуй, понравился. В нем было что-то необычное для простолюдина, располагающее к доверию.

— Почему вы не желаете снять передо мной шляпы? — спросил он тихо и мягко. — Вы знаете, кто я такой?

— Знаем, — коротко ответил невысокий и чуть заметно улыбнулся.

— Еще бы не знать, мы к вам специально и приехали, лорд-генерал Фэрфакс, — охотно, суетясь и волнуясь, начал длинный. — Нам офицер ваш давеча приказал, вот мы и приехали.

— Так почему же вы не снимаете шляп передо мной, если знаете?

Двое взглянули друг на друга, невысокий, который казался старше годами, взглянул генералу в глаза и ответил серьезно:

— Потому что вы наш брат. Брат по творению.

Фэрфакс вдруг смутился. Он на какое-то мгновение ощутил себя в самом деле ровней этому бедно одетому, неведь откуда взявшемуся человеку, его ровеснику, который осмелился говорить с ним так, как никто и никогда не говорил с главнокомандующим. И тут же покраснел и бросил быстрый взгляд в сторону Уайтлока. Лицо Хранителя Большой

печати было непроницаемо и надменно. Тогда Фэрфакс сделал вид, что сердится:

— А как же вы понимаете то место в Писании, — сказал он саркастически, косясь на секретаря, — где сказано: «Воздавайте почести тому, кому полагаются почести»?

— Да будут запечатаны уста тех, кто нанесет нам такую обиду! — вскричал вдруг длинный. Глаза его засверкали из-под провисших полей старой шляпы, он сделал шаг вперед и взмахнул ручищей. — Все созданы равными на земле, никто не достоин принимать почести от собратьев! Это бог мира сего, который есть гордыня и алчность, породил все зло на земле, а имя этому злу — тирания и любоначалие, презрение к своим собратьям, убийство и уничтожение тех, кто не хочет либо не может подчиниться их тирании и поддерживать их господство, гордыню и алчность!

Фэрфакс не то чтобы испугался этого выпада, но ощущение братства вмиг исчезло. Этот нескладный, с нелепыми жестами, с неопрятными волосами, свисавшими из-под шляпы, был ему неприятен. Генерал опустил глаза на стол, где лежало донесение Глэдмена, и прочел: «который, по-моему, просто сумасшедший...»

— Назовите себя, — сказал он сухо, поднимая сразу ставшие холодными глаза на обоих. — Как вас зовут, откуда вы родом?

— Я Уильям Эверард, — приосанившись, сказал длинный.

— А вы, значит, мистер... — Фэрфакс взглянул в листок, — Уинстэнли? — Ему хотелось послушать этого второго человека с лицом, необычным для крестьянина. Но тот только молча наклонил голову. Зато Эверард не унимался.

— В начале времен великий творец создал землю как общую сокровищницу для всех, — торопился он, жестикулируя не в меру, — чтобы она хранила зверей, птиц, рыб и человека, господина над этими созданиями. Но в начале — заметьте это! — не было произнесено ни единого слова о том, что одна ветвь человечества будет править другою. Все люди созданы равными.

— Так вы — уравниатели? — спросил генерал. — Левеллеры?

— Мы — истинные левеллеры, — ответил невысокий. — Мы не за уравнивание в правах, а за полное равенство во всем.

— Равенство во всем... — Фэрфакс поднял брови. — А сейчас чего вы хотите?

— Сейчас настало время освобождения, — заторопился Эверард. — Господь избавит свой народ от рабства и возвратит ему свободу наслаждаться плодами земными...

— Откуда вы все это знаете?

— Нам было видение. — Эверард бросил быстрый взгляд на товарища. — Господь велел нам вскапывать землю и питаться от нее.

— Видите ли, — сказал невысокий, — мы не хотим никому причинить зло и ущерб, ни разрушать чужие изгороди, как о нас думают, нет! Мы станем обрабатывать только пустые и ничейные земли, чтобы сделать их плодоносными и накормить тех бедняков, которые не имеют пищи и крова...

— И скоро к нам придут все, — перебил Эверард, — все люди отдадут нам свою землю и богатства.

— Значит... — Фэрфакс взглянул в тот угол комнаты, где Уайтлок что-то быстро записывал в кожаную тетрадь. — Значит, вы думаете, что все люди Англии придут к вам, отдадут свое имущество и начнут работать на бесплодных пустошах. А что дадите вы им взамен?

Уинстэнли тихо и твердо ответил, глядя на генерала:

— Кто придет к нам и будет работать, получит пищу, питье и одежду. Это все, что необходимо для жизни.

Фэрфакс резко поднял голову и посмотрел Уинстэнли прямо в глаза. И снова ощутил странную близость с этим бедняком, говорившим языком философа. Он словно повторял его, Фэрфакса, тайные мысли, которые некому было высказать. Но что-то в сознании генерала противилось этим мыслям.

— А намерены ли вы платить работникам за их труд?

— Вы имеете в виду деньги? — живо откликнулся Уинстэнли. — Нет, денег не будет. Сейчас проповедуют за деньги, советуют за деньги, — для личной выгоды. А тогда нужды в них не будет, как и в лишнем платье, — сверх того, что необходимо.

— И как праотцы наши жили в палатках, — вмешался опять Эверард, — так и мы будем жить в них, нам этого довольно.

— Хорошо, — сказал Фэрфакс и придвинул к себе листок с приказом Государственного совета. — Ну а если войска придут в вашу колонию и станут вас разгонять?

— Мы не будем защищаться, — быстро ответил Уинстэнли, как бы стараясь опередить Эверарда. — Мы не носим оружия и не воюем. Мы подчинимся решению властей, каково бы оно ни было, и будем мирно ждать, когда нам представится новая возможность. — Он твердо на глянул на своего товарища. Тот молчал, кулаки его сжимались. Фэрфакс встал.

— Довольно, я вас понял. Возвращайтесь к себе, работайте на своей пустоши и... — он перевел глаза на Эверарда. — И твердо держитесь этого последнего правила.

Он кивнул ординарцу, тот распахнул дверь. Эверард первый большими шагами направился к выходу. Уинстэнли кинул на генерала быстрый, понимающий, благодарный взгляд.

Через неделю, просматривая утреннюю почту, генерал Фэрфакс вдруг наткнулся на памфлет, название которого сразу привлекло его внимание. «Знамя, поднятое истинными левеллерами, — стояло на серой дешевой бумаге обложки. — Или состояние общности, открытое и явленное сынам человеческим».

Он взял костяной нож и разрезал листы. В памфлете говорилось о том, что земля была создана как общая сокровищница для всех людей. Говорилось (весьма туманно, отметил про себя генерал) об Исаве, старшем брате, человеке плоти, поработившем младшего Иакова. И о том, что скоро наступит царство добра, все блага земли станут общими, в мире воцарится закон справедливости и прекратится вражда, ибо никто не осмелится домогаться господства над другими.

Фэрфакс пролистал манифест до конца. И, хотя там метались громы и молнии против алчных лендлордов, присвоивших себе землю, против солдатских постоев и тяготы налогов, а также против Навуходносора, Вильгельма и иных тиранов и поработителей, все же общий дух его показался мирным и не внушающим опасений. Генерал даже отчеркнул ногтем слова: «Мы достигаем этого не силою оружия, мы ненавидим его, ибо пристало только мадиантянам убивать друг друга, но повинаясь господу воинства, открывшемуся в нас и нам, обрабатывая землю совместно по справедливости, чтобы есть наш хлеб в поте лица, не платя наемной платы и не получая ее, но работая совместно, питаясь совместно, как один человек...»

В конце стояли 15 подписей, первая из них принадлежала Уильяму Эверарду. Фэрфакс пробежал остальные — имя Уинстэнли было восьмым. Вспомнив немногословного темноволосого человека, говорившего с ним неделю назад, Фэрфакс вздохнул и отложил памфлет. Пролить кровь этих бедных чудаков, подумал он, — все равно что убить ребенка. Пусть себе мечтают о высшей справедливости и братстве. Армия не пойдет против «истинных левеллеров», сажающих бобы и турнепс. Нет, не от них сейчас идет главная опасность. Генерала беспокоили левеллеры-политики; их намерения, как оказалось, не были ни столь фантастичны, ни столь миролюбивы.

## 2. НАЧАЛО

Итак, в Английской республике наступил апрель. Свобода пришла наконец на измученный войнами остров. Так, по крайней мере, заявлялось в правительственном указе: «Могущественные бессильны угнетать слабых, и бедные довольствуются необходимым достатком. Справедливая свобода совести, личности и имущества предоставлена всем



людям».

Солнце пригрело сырую, уставшую за зиму землю. Жаворонки заливались в небе. Последнее время Джон где-то пропадал.

— Где ты бегал? — пробовала расспросить его Элизабет. — Ты опять не ходил в школу. Смотри, все панталоны в глине. А руки! Боже мой, что с твоими руками?

Он ухмылялся, прятал в кулак пальцы с черной каймой под ногтями и бежал отмыться. За ужином ел за троих и грубоватым, ломающимся голосом отбивался от насмешек сестер и ворчания матери.

Но однажды после обеда, когда сестры, позевывая, усаживались за вязание, он мигнул Элизабет, и они вдвоем вышли на улицу и пошли в сторону Моля. Дом был уже довольно далеко, с реки заметно потянуло свежестью, и мальчик заговорил.

— Мы начали нашу работу, — сказал он торжественно. — Хочешь посмотреть?

— О чем ты? Какую работу?

— Слушай. В прошлое воскресенье, первого апреля, мы вышли на холм, возле лагеря, знаешь? И начали обрабатывать землю. Мистер Уинстэнли, и мистер Эверард, и Полмер, фамилист, и дети Соьера, и еще некоторые... Мы уже вскопали пять акров!

— Вскопали? Зачем?

— Чтобы питаться от трудов рук своих. — Он вдруг смутился и поправил себя. — Там все бедняки, они голодают. Мы посеяли бобы, пастернак, морковь. Они поспеют, и мы будем их есть все вместе.

— Сколько же вас там народу?

— Сначала было человек пятнадцать; теперь уже около сорока — из Уолтона и Кобэма. А скоро будет, ух, скоро будет пять тысяч! Мы уже разослали приглашения.

— Приглашения? Куда?

— Ну, Бетти, как ты не понимаешь! Приглашения прийти к нам и работать вместе, вспахивать ничейную землю. Вместе, понимаешь? Без «твоего» и «моего», без денег, без торговли.

— Подожди, ты говоришь, ничейную землю? Как же так... Ничейной земли не бывает. Вы в чьем маноре копаете?

— Манор сэра Фрэнсиса Дрейка, но это неважно! Короля больше нет, и, значит, земля его лордов — ничья, то есть наша, общая!

Они подошли к мосту через Моль, и Элизабет заколебалась.

— А мне можно пойти?

— Ну конечно! Мы всех приглашаем. И богатых, и бедных, и мужчин, и женщин. Ты не представляешь, как там весело! Мы все как одна семья. И никаких ссор, не то что в нашем доме...

— Ну хорошо, я пойду, — они уже приближались к роще. — Но я все-таки не понимаю: ведь это пастбище — собственность сэра Фрэнсиса Дрейка.

— Да нет, это общинный выгон! Во-первых, после казни короля лорды лишены всех прав. А Дрейка вдобавок выгнали из парламента, как и твоего Платтена. Он, кстати, вернулся, ты знаешь? И носу не жает. Ему стыдно, что он теперь никто.

Они поднимались по пологому склону холма. Джон остановился:

— Слышишь?

Со стороны римского лагеря доносился стук топоров и звучала песня. Они прибавили шаг и вскоре, запыхавшись от быстрого подъема, выбрались к валу. За беловатыми каменными развалинами, столь печально памятными Элизабет, на широкой зеленой поляне царил оживление. Горели костры; женщины сновали возле них туда и сюда, подтаскивая воду к котлам, в которых булькало ароматное варево. Мужчины, весело и звонко стуча топорами, трудились над свежооструганными бревнами. Две хижины были уже наполовину

возведены, для третьей готовили площадку. Поодаль раскинулось несколько палаток, за ними виднелось взрыхленное поле.

— А вот и еще друзья прибыли! Милости просим!

К ним шел улыбающийся, веселый Джерард, и Элизабет с тайной горячей радостью отметила про себя, что он здоров, бодр и деятелен; лицо покрывал легкий загар, над губой блестели капельки пота. Голова была непокрыта, темные волосы шевелил ветер.

— Джон, ты молодец, — он похлопал мальчика по плечу, — каждый, кто к нам приходит, для нас — радость. Прошу вас, мисс, не смущайтесь, осмотрите все как следует. Вот здесь будут наши дома; всем будет просторно и удобно. Там, ближе к полю, — амбар для хранения зерна и продуктов, большой погреб. Рядом — сарай для телег и плугов, стойло для лошадей. Джон, проводи мисс по лагерю, а мы пока закончим работу — до ужина осталось немного.

Он поднял воткнутый в бревно тесак и, улыбаясь, отошел к строящейся хижине. Джон повел сестру меж сваленных бревен, костров, меж людей, споро и с видимым удовольствием делавших разнообразную работу.

— Вон в том лесу, — он указал рукою на запад, — мы рубим деревья и вывозим их сюда. Лес ведь тоже общинный.

— И все эти люди живут здесь? Или только днем работают?

— Кто как. У нас есть палатки, некоторые остаются на ночь. Ходить каждый день далековато, да и инструменты боязно оставить. Тут уже на нас косится кое-кто из деревни. Привет, Роджер, это моя сестра Элизабет.

Они остановились возле сидевшего верхом на бревне подростка, который учил младшего братишку обтесывать дерево.

— Здравствуйте, мисс. Смотри сюда, Джо! Вот так, понимаешь?

Младший вертелся, болтал, жевал стружку и никак не мог сосредоточиться на деле. Курточка на груди была утыкана прошлогодними сухими репьями.

— Беда с ним, — Роджер степенно, как взрослый, покачал головой. — Никак его к работе не приучишь, все ордена себе навешивает, в Кромвеля играет. Ну смотри сюда, вот как надо! — Братский тычок сопровождал последние слова, младший захныкал, замахнулся на брата, они завозились. Джон и Элизабет отошли.

— Это дети Саймона Сойера, — шепнул Джон. — Которого в Лондоне прошлой весной убили. Они все здесь с нами. — Они вышли за пределы лагеря и пошли по дороге.

— А это что?

— Это мы подожгли вереск, чтобы земля стала плодороднее. Люди говорят, здесь ничего не родится, это богом проклятое место. А на земле нет проклятых мест. Если здесь вырастет хлеб, мы всем докажем, что бог нам помогает.

Послышался удар гонга, брат и сестра повернули к лагерю. Люди распрямились, потирали руки, складывали инструменты. С поля подошли еще несколько человек, и все стали рассаживаться вокруг костра. С телеги сняли бочонок с водой; женщина в черном, вдова Сойера, и Дженни Полмер раскладывали еду в деревянные миски. Работники перебрасывались шутками.

Джон примостился возле мальчиков, Элизабет как гостью усадили рядом с Уинстэнли и дали миску с горячей похлебкой, которая показалась ей удивительно вкусной. Длинный, шумный Эверард меж тем говорил не переставая.

— Они скоро увидят, чего мы стоим, увидят! — повторял он, возбужденно жуя и вытирая рукавом подбородок. — Нас скоро будет четыре, нет, пять тысяч, вся земля превратится в возделанный сад, всего будет вдоволь. Мы настроим дома, соберем стада, будем выделывать кожи, прясть, у нас будут свои кузни и мастерские. Народ хлынет к нам, чтобы работать сообща. А спесивые джентри пусть-ка сами выйдут с плугом на свои нивы, попотеют в грязи под солнышком, хе-хе! Представляю пастора Платтена, как он копает землю со своим брюхом!

— Ты слышал, — тихим, будто извиняющимся голосом сказал Полмер, — Джон

Тейлор и Томас Саттон вчера в таверне над нами смеялись и говорили, что пустят коров на наши посевы?

— Пусть смеются! Я другого не жду от плотских людей, от жадных фригольдеров! Рут, налей еще воды, эх, жаль, нет пива! Дух, говорю я, повелевающий нами, охранит нас, даст силы и спасет от когтей льва и от лап медведя.

Работники молча слушали. Все устали за день. Солнце садилось в тучу, и кровавый свет его бросал отблеск на лица. Уинстэнли искоса посмотрел на Элизабет и спросил тихонько:

— Ну как, нравится у нас в общине? Придете еще?

Она взглянула ему в глаза, улыбнулась и молча кивнула.

— Братья, слушайте и внимайте! — не останавливался Эверард. — Не презирайте видений, голосов и откровений! Пророчества ныне исполняются, и мы, диггеры, скоро наполним землю, и ангелы воспоют нам славу! Гимн, братья, гимн!

Работники отложили ложки, и строгие, хрипловатые мужские голоса разнеслись в стынущем воздухе вечера. В них нежно вплетались серебряные дисканты мальчиков. Они пели:

*Вы, диггеры славные, встаньте скорей,  
Диггеры славные, встаньте скорей!  
Трудом вашим пустоши вновь расцветут,  
И пусть кавалеры бесчестят ваш труд,  
Встаньте, о, встаньте скорей!*

Лица были серьезны, красные отблески заката высвечивали мужественные профили, и столько древней первозданной красоты, и простоты, и правды было в этой торжественной картине, что у Элизабет на глаза навернулись слезы. Ей захотелось остаться здесь навсегда и делить с этими людьми их труд, их пищу, радости.

Стемнело, миски и кружки были убраны, кое-кто из работников собрался на ночлег в деревню; человек десять оставались в лагере. Элизабет поднялась было тоже, но и Джон, и Рут, и сам Джерард упростили ее посидеть еще немного. Кружок у костра стал теснее, разговор тише и задушевнее.

Теперь все слушали Уинстэнли.

— Каждый отдельный человек, мужчина или женщина, — говорил он негромко, переводя блестящие глаза с Джона на Элизабет, — сам по себе совершенное создание. И если мы дадим своим лучшим силам работать в нас, мы станем могучими, как никогда. Да, нас сейчас мало. Но наше дело — главное дело — работать на этой земле, которую мы по праву можем назвать своею. Мы с вами вскопали и засеяли большое поле. Скоро покажутся всходы, через несколько месяцев мы соберем первый урожай. Нам хватит и на зимние запасы, и на семена, и на корм скоту. Мы исполним вековечное, исконное предназначение человека: работать на этой земле, облагораживать и очищать ее своим трудом. И труд этот, равный и осмысленный, сделает нас истинными хозяевами земли, радостными и полноправными владельцами плодов ее. Мы соберем все в общие амбары, и каждый будет брать из них для своей семьи столько, сколько ему потребуется.

— Мы все — Израиль, богом избранный народ, — вставил Эверард важно. — Мы должны сбросить всех учителей и правителей, ведущих нас ложными путями, и вернуться ко господу.

Джерард взглянул на него, беспокойство мелькнуло в его глазах, но он погасил его и продолжал:

— Мы сейчас возвращаемся к изначальным истокам жизни человеческой. К нам придут еще братья, и мы расширим посевы. Жизнь наша подчинится закону справедливости.

— Наш долг — ниспровергнуть власть угнетения, — опять загорячился Эверард. — О, в каком ужасном заблуждении живете вы, властители Англии! Вы заявляете, что сбросили

нормандское иго и вавилонскую власть, а сами все еще влачите эту рабскую тиранию и держите народ в подчинении!..

Элизабет молча и с некоторой тревогой смотрела то на Уинстэнли, то на Эверарда. Она чувствовала, что эти два человека не могут меж собой согласиться в чем-то очень важном, но не могла понять, в чем. Порыв ночного ветра взметнул искры тлеющего костра, и она встала.

— Джон, нам пора. Смотри, небо все заволокло..

Действительно, туча, в которую село солнце, наступила, разрослась, покрыла все небо до горизонта.

— Я не пойду, — сказал вдруг мальчик. — Я останусь здесь. И не спорь, пожалуйста, я все решил. И вещи потихоньку перетащил. Ты скажи маме, что я буду жить и работать здесь, с диггерами.

Элизабет растерялась.

— Джон, как же так... Ты вправду решил? А что будет дома?

Уинстэнли поднялся вслед за нею и взял ее за руку:

— Не бойтесь, мальчику с нами будет хорошо. Мы все здесь сыты и одеты. А труд — самый лучший воспитатель.

— Но школа?

— Здесь он будет учиться у жизни. Пусть поработает с нами. Пройдет немного времени, и у нас будут свои школы. — Взгляд его ушел вдаль, во тьму сгустившейся ночи, стал мечтательным и счастливым. — Мы будем учить наших детей на вольном воздухе, среди природы. Они станут работать на полях и учиться, как выращивать хлеб и плоды, как пасти и лечить скот. В лесу они познают лесоводство, в горах — полезные минералы, а вечером, глядя на звезды, проникнут в тайны небесных светил и стройных математических формул. И учителями у них будут не церковные пасторы, выпускники Оксфорда и Кембриджа. Избранные народом наставники, которые знают жизнь и ее законы, станут пояснять деяния древних, толковать искусства и науки... Впрочем, он волен вернуться домой, когда пожелает.

Девушка была поражена. Она не знала, что сказать.

— Да что вы за него боитесь, скоро нас будут тысячи! Через несколько дней!

Эверард высился над ней длинной жердью, отблески костра выхватили из тьмы его фигуру, обострили углы, сделали жутковатой. Элизабет перевела глаза на Уинстэнли.

— Пойдемте, я провожу вас, — сказал он мягко, и они медленно пошли от костра вниз, во тьму ночи.

Над холмом святого Георгия сгустилась тьма. Ни луна, ни звезды не пробивали своим светом плотный облачный слой. Теплый душистый ветер налетал порывами, шевелил полы плаща, клонил к земле чуть видные во тьме травы. Едва заметная тропинка вела вниз, нога то и дело натывалась на камень, платье цеплялось за колючки. Джерард вел Элизабет под руку, поддерживая. Помолчав, он сказал:

— Я верю, что мы начали великое дело. Нам трудно, конечно: нас еще мало. Многие крестьяне работают урывками: им боязно ослушаться лорда, порвать арендный договор. Они снесли на холм все, что имели. Мы купили плуги, мотыги, приобрели повозки, зерно, засеяли поле. Нам важно теперь продержаться до урожая...

— И продержитесь? — Элизабет сбоку глянула на него, пытаясь понять, откуда идет его убежденность.

— Продержимся. У нас есть кое-какие запасы, их должно хватить. Потом — ведь к нам придут новые поселенцы. Мы свяжемся и с другими графствами. Взаимопомощь бедняков — великое дело. А знаете, какое счастье дает общий труд и общее владение! Сердца наши ликуют, они полны сладким чувством удовлетворения. Хотя пищей нам служит похлебка из кореньев и хлеб...

— А Эверард?

— Вам кажется, он недоволен?

— Не знаю, доволен ли, но я не вижу в нем покоя. Мне кажется, он хочет чего-то еще.

— Наверное, вы правы. Его мятежный дух задает бесконечные вопросы, он блуждает среди них и тревожит себя.

— А может быть, он не верит в успех?

— Не верит? — Уинстэнли живо обернулся к Элизабет, глаза его блеснули. — Но вы же видите сами, в это дело нельзя не верить! В Англии тысячи и тысячи бедняков, чьи руки истосковались по мотыге и плугу. И земли — пустующей, ничейной, свободной земли сколько угодно! Теперь у нас республика, монарха больше нет над нами, и лорды не властны над землей, тем более общинной. Она наша! Значит, дело только за тем, чтобы выйти на эту свободную землю и вспахивать ее, засеивать и собирать хлеб в общие житницы. Вы увидите, скоро к нам придут сотни людей! Не хватит места на холме святого Георгия — пойдем дальше, всю Англию покроем счастливыми колониями тружеников!.. Нет, Уильям верит, не может не верить. Его душа чиста, он предан беднякам всем сердцем. Он слишком горяч и нетерпелив, но наш труд успокоит его. Что касается меня, то я счастлив и охотно отдам мою кровь и жизнь за нашу всеобщую свободу.

Он вдруг замолчал, ушел в себя, и Элизабет спросила:

— Вы думаете, придет время, когда все люди добровольно станут работать на земле? И богатые отдадут бедным свое добро?

— А зачем им отдавать свое добро? — ответил он вопросом. — Этого не нужно. То есть когда-нибудь они поймут, что им гораздо лучше жить так, как мы, и придут к нам сами. Но на первых порах никто ничего не потребует. Пусть живут, как хотят. Мы их не тронем. Мы просто перестанем на них работать. Для нас главное — вместе трудиться на общей земле. И жить по справедливости.

Камни внезапно посыпались у них из-под ног, и они, не удержав равновесия, устремились вдруг вниз, по осыпи, неведь откуда взявшейся на их пути, в темноту и бездну. Элизабет вскрикнула от неожиданности, Джерард крепко сжал ей руку, чтобы не дать упасть; ноги у обоих вязли в оползающих камешках. Когда наконец удалось кое-как остановиться и камешки, сбегавшие из-под ног, тоже затихли и обрели неподвижность, оба огляделись. Они очутились на дне большой каменистой воронки, амфитеатром раскинувшейся за спиною. Взглянули друг на друга, не различая в темноте глаз, и смущенно рассмеялись.

— Откуда здесь этот завал? — Джерард был озадачен. — Я днем его что-то не видел.

— Словно первый круг ада. — Элизабет оглядывалась на рассыпанные в беспорядке большие камни, над которыми далеко вверх, едва заметно отделяясь от них, серело небо. Было очень тихо.

Они сели на землю, чтобы вытряхнуть из башмаков набившиеся туда камешки. Потом Элизабет обхватила колени руками и подняла лицо к небу. Ей не хотелось подниматься и идти дальше.

Джерард тоже молчал и не двигался. И тогда, не отдавая себе отчета в том, что она делает, она вдруг уронила голову ему на грудь, обхватила его шею руками и прижалась к этой родной груди, как к спасению, как к источнику жизни.

— Я больше не могу... — шептала она, чувствуя губами грубое сукно его куртки и не заботясь о том, слышит он ее или нет, — я не могу... Я давно уже... Я не могу без вас...

Сильные руки взяли ее за плечи, Джерард слегка отстранился, потом встал и помог ей подняться. Перед ними был выход в долину.

Он вел ее домой, изредка бережно поддерживая под руку, и не говорил ни слова. Сердце ее разрывалось, сдерживать себя стоило великих усилий. Она не понимала его, и мучилась этим непониманием, и была готова подчиниться чему угодно, принять на свои плечи любую тайну и вынести все.

Но он молчал. Он проводил ее до калитки и, по-прежнему не говоря ни слова, склонился в почтительном поклоне.

Утром были крики, слезы и причитания. Сестры испуганно молчали. Мистрисс

Годфилд поносила диггеров, а заодно и анабаптистов, фамилистов, сикеров, колдунов, атеистов и бог знает кого еще. Она кричала, что Элизабет спуталась с дьяволом и что она обо всем напишет отцу, нет, она сама поедет в Лондон и потребует его назад, для наведения порядка в семье. Нет, она лучше сама пойдет на этот проклятый холм, к этим мерзавцам, и публично отхлестает Джона.

Кончилось тем, что она приказала Элизабет сидеть дома и никуда не отлучаться и, прихватив с собой дочерей, поехала за советом и утешением к пастору Платтену.

А через час после их шумного отъезда прибежал Джон. Он был весь в грязи, рукав куртки оторван, кровавая царапина вспухла поперек щеки. Элизабет бросилась к нему:

— Джон, что случилось? Ты подрался?

— Да нет... — мальчик всхлипнул. — Нас разогнали! Утром вот такая толпа — человек сто!.. С кольями, с топорами...

Элизабет почувствовала, что ноги у нее подкосились, в глазах потемнело.

— Какая толпа, откуда?

— Из Уолтона... Их привел Джон Тейлор, фригольдер, знаешь?

Элизабет знала этого Тейлора. Крупный скотовладелец с грубым красным лицом мясника, он еще с отцом ее вел какую-то тяжбу.

— И что они с вами сделали?

Мальчик безнадежно махнул рукой, всхлипнул отчаянно, по-детски и уткнулся лицом ей в плечо.

— Мы бобы... окучивали... — слышала она сквозь рыдания. — А они... дом подожгли... Палатки тоже... Повозки наши размолотили в щепки... И посевы... вытоптали...

— А Джерард? — вырвалось у нее.

Джон перестал плакать и отодвинулся. Брови его сошлись, как у взрослого.

— Их связали, избили и потащили в Уолтон. Там, говорят, в церкви заперли. — Он шмыгнул носом. — Той самой, где твой Платтен настоятелем...

### 3. МАЙСКОЕ ВОССТАНИЕ

Опасения генерала Фэрфакса оправдались. Месяца не прошло, как левеллерские полки подняли открытый мятеж. Не удовлетворенные тем, что страной правят офицеры, что новую конституцию после казни короля так никто и не собирается устанавливать, что революционные полки стараются под разными предлогами удалить из столицы, что, наконец, жалование Армии не уплачено за много месяцев, они потребовали коренных реформ.

Еще в марте они бросили генералам горькие упреки в измене. Бесстрашный Лилберн назвал республиканское правление «новыми цепями Англии». Вы уверяли, писал он властям, что божий народ есть источник всякой справедливой власти, а сами привели его в положение, близкое к рабству. Мы опасаемся, как бы Государственный совет не превратил свою власть в постоянную и не упразднил навсегда самый парламент. Они раздают друг другу доходные земли, в то время как многие семьи, разорившие себя ради Республики, близки к голоду...

Лилберн с товарищами был брошен в Тауэр. Левеллеров стали увольнять из Армии, арестовывать, ссылая. Запретили подавать петиции. И в конце апреля расквартированный в Лондоне полк Уолли решается на открытое восстание: солдаты выгоняют офицеров, захватывают полковые знамена, требуют реформ, и только ценой больших усилий и казни одного из зачинщиков — Роберта Локиера — Кромвелю с Фэрфаксом удастся их утихомирить. Но похороны Локиера оборачиваются новым протестом Армии против властей Английской республики.

Лилберн пишет в Тауэре еще один проект «Народного соглашения». В Солсбери, в Бристоле, в Оксфордшире бунтуют разделенные, выдворенные из столицы полки; их

командиры спасаются бегством. И Кромвелю с Фэрфаксом ничего не остается делать, как собрав верные отряды «железнобоких», идти на подавление левеллерского мятежа.

После такого перехода можно было бы поспать и подольше, но генерал Томас Фэрфакс, главнокомандующий, проснулся ни свет ни заря, разбуженный топотом копыт во дворе. Мрачные думы одолевают генерала. Не хотелось ему участвовать в этой карательной экспедиции. Конечно, мятежей допускать нельзя, время суровое: принц Уэльский провозглашен королем Карлом II в Эдинбурге; роялисты в Ирландии готовят высадку; европейские правительства откровенно враждебны. Может, Кромвель и прав, настаивая на сражении с непокорными полками. Но стоит ли бросать Армию против своих же... Нет, он, генерал Фэрфакс, будет решительно настаивать на переговорах.

— Милорд, вас просят спуститься... Вы не спите? — слуга приоткрыл дверь и просунул в щель голову.

— В чем дело?

— Лейтенант-генерал Кромвель просил. Военный совет... Экстренное дело...

— Да что случилось, Гарри?

Дверь открылась пошире, и Гарри зашептал:

— На рассвете прискакали офицеры из Солсбери, восемьдесят человек. С ними полковник Скруп. Бежали от своих солдат, те бунтуют... Срочно надо собраться.

Опять он узнает обо всем последним. Фэрфакс поморщился и с помощью Гарри стал одеваться. С самого начала экспедиции и он, и все вокруг понимали, что главный человек в этом деле — Кромвель. Он говорил речь перед солдатами в Гайд-парке, он намечал маршрут и стратегию подавления, он решал все, а Фэрфаксу оставалась видимость власти и ответственность.

Внизу, в небольшой чистой комнате уже сидели Кромвель и полковники. Хозяин гостиницы сутился, накрывая на стол. Полковник Скруп, сутулый человек с помятым, испуганным лицом, сидел против Кромвеля, зажав коленями кулаки, глаза беспокойно бегали.

— Я им сказал, что это мятеж... Что они поплатятся... — говорил он глухо и виновато. — Я попытался развести отряды подальше один от другого... Я угрожал им военным судом...

Кромвель приветствовал вошедшего Фэрфакса важным кивком и жестом пригласил сесть. Скруп продолжал с отчаянием:

— Я делал все, чтобы это прекратить... Я послал проповедников в каждый отряд и велел говорить им, что остальные покорились.

— Но ведь они наверняка сносились между собой, — сказал Кромвель. — Солдат нелегко обмануть, полковник. Вам следовало проявить побольше такта. И поменьше угрожать.

— Потом я приказал отогнать их коней мили за две...

— Их собственных коней? Ну, знаете, полковник...

Фэрфакс покосился на Кромвеля и увидел, как наливается темной кровью его лицо. «Быть буре», — подумал он невесело. Офицеры молчали, глядя в пол или в стену. Белым печальным пятном на фоне темной ниши камина выделялось лицо полковника Годфилда. Глаза опущены, на щеках — ни кровинки.

— Я боялся, что они пойдут на север, на соединение с мятежниками Оксфордшира... — тускло тянул Скруп.

— Вы боялись! — Кромвель хлопнул ладонью по столу. — В том-то и дело, что вы боялись! Своих солдат, полковник Скруп, бояться никогда не следует. И вот результат: вы не успокоили, не примирили их, не подавили бунт в зародыше, как должны были сделать, а бросили мятежный полк на произвол судьбы и позорно бежали. И потому им удалось соединиться с полком Айртона. Стыдно, полковник!..

Он сердито подвинул к себе тарелку и стал быстро резать и отправлять в рот яичницу, изредка гневно поглядывая на совсем поникшего Скрупа. Остальные тоже принялись за еду.

Фэрфаксу завтракать не хотелось.

— Они знают, что мы выступили против них? — спросил он Скрупа.

— Да, — восторженно воскликнул тот, — знают. Я совсем забыл: они составили бумагу к вам, сэр. Вы сегодня ее получите. Но мне удалось достать копию... — Он зашарил по карманам, вынул листок. Руки его дрожали.

Фэрфакс не спеша, с достоинством взял бумагу. Все-таки он был главнокомандующим, и к нему, а не к Кромвелю, обращалась декларация. «Мы горячо просим, — прочел он, — терпеливо выслушать нас и взять под свою защиту. Мы заявляем, что не намерены вмешиваться в чьи бы то ни было права собственности и пытаться уравнивать состояния».

Не переставая жевать, Кромвель заглянул в листок.

— Ха, — сказал он, — они просят защиты! Отлично, но пусть сначала подчинятся своему полковнику, тогда мы возьмем их под защиту. — Он взглянул на Скрупа. — Отправляйтесь к ним, к своим солдатам. И так им и скажите: если вы желаете, чтобы Кромвель и Фэрфакс вас выслушали, прежде всего не бунтуйте против меня. И не бойтесь их! Солдаты любят твердую руку.

Смуглое лицо Фэрфакса слегка побледнело.

— Но вы уже послали для переговоров майора Уайта, — проговорил он. — Уайт должен обещать им прощение, если они прекратят...

— Уайт — другое дело, — быстро ответил Кромвель, лицо его стало жестким и официальным. Он перестал жевать и отодвинул тарелку. — Уайт, сам бывший левеллер, был арестован, потом раскаялся, прощен... Он с ними будет говорить по-другому. А вам надо написать... — Он хлопнул в ладоши. — Дайте бумаги!

Фэрфакс увидел перед собой чистый лист и пузырек с чернилами. В руке у него оказалось перо. Кромвель встал рядом:

— Так и пишите: «Единственной причиной нашего выступления против вас был ваш буйный и опрометчивый образ действий...»

Фэрфакс медлил, губы его еще заметнее побелели.

Большие серые глаза полковника Годфилда смотрели на него с таким пониманием и состраданием, что генерал вздрогнул: он увидел в них отражение своего унижительного бессилия. Он опустил взгляд, потом медленно обмакнул перо и стал писать.

— Так... — Кромвель на минуту задумался. — Ну деньги им надо, конечно, обещать. Напишите, что их не уволят и не отправят в Ирландию, не заплатив жалованья. И еще. Напишите так: «Мы хотим вести с вами переговоры и обещаем не преследовать вас по пятам...»

Перо скрипело, офицеры в комнате хранили молчание. Скруп втягивал голову в плечи. Фэрфаксу было душно. И только Кромвель все более веселел.

— «Однако, — диктовал он своим грубым хриловатым голосом, — поскольку вы желаете, чтобы вас выслушали, и просите взять вас под защиту... я уступаю полковнику Скрупу, — он подмигнул, — право взять вас под защиту, и после того готов вас выслушать...» Написали? Теперь подписывайте. А вы, Скруп, выезжайте тотчас же, вы должны успеть раньше нас.

Фэрфакс поднял измученные глаза на Кромвеля:

— Теперь мы, я полагаю, остановим продвижение и подождем ответа?

Кромвель засмеялся и сорвал салфетку.

— Не-ет, генерал, в том-то и дело, что нет. Они идут на север, на соединение с Томпсоном. Им надо помешать во что бы то ни стало. Мы будем преследовать их в полном вооружении, а там посмотрим. Господа! Совет окончен, прикажите полкам выступить!

Переправа была тяжелой, потому что Темза в этом месте разлилась, брод оказался глубоким, так что кое-где приходилось двигаться даже вплавь, понукая и без того измученных лошадей. Конечно, гораздо удобнее было бы переправиться у Ньюбриджа, где имелся мост, но разведчики, высланные вперед, показали, что мост занят сильным отрядом



полковника Рейнольдса. Командир восставших, полковник Эйрс хотел было собрать последние силы и атаковать мост, но майор Уайт, посланец Фэрфакса, убедил его не лить напрасно крови и пересечь Темзу выше по течению. И правда, на успех боя рассчитывать не приходилось: солдаты с утра не ели, были грязны после краткой полевой ночевки и главное — устали неимоверно, так как шли почти без отдыха от самого Солсбери. Генри постоянно клонило в сон; ему даже и есть уже не хотелось, только бы добраться до Бэрфорда, войти в дом, снять сапоги и лечь — лечь на какую угодно постель, на тряпье, на сено, — но только лечь и закрыть воспаленные горячие глаза.

Он шел с восставшими левеллерами от самого Бристоля, куда попал с полком Скиппона по приказу парламента. Вечер 14 мая 1649 года спускался на землю. Хмурые облака закрывали небо, вечерней заре едва удавалось пробить их свинцовую плотность. От воды пахло тиной.

Конь фыркнул и поплыл, Генри, не выпуская уздечки, поплыл тоже, подгребая левой рукой. Вода была холодная, ноги коченели. Рядом сосредоточенно сопел Джайлс, таща упиравшегося коня. Наконец носок сапога опять ткнулся в дно. Генри встал, натянул повод, выбрался на берег и оглянулся. Мятежное войско понуро вылезало из реки; солдаты выливали из башмаков воду, осматривали коней.

— Сколько до Бэрфорда, миль десять будет? — спросил Джайлс.

— По прямой, говорили, миль двенадцать, а по дороге все двадцать, — ответил Генри. Он подтянул подпругу, вскочил на коня и поискал глазами командиров. Полковник Эйрс уже в седле, рядом с ним — капеллан восставших, анабаптист Денн, и этот Уайт, прибывший от Фэрфакса с предложением мириться.

Почему этот Уайт так не нравился Генри? О нем говорили только хорошее — он-де выступал за дело левеллеров горячо и прямо, в сорок седьмом году был арестован. Но в словах его не чувствовалось искренности, а лицо дышало надменностью. Генри нахмурился и, увидя, что командиры тронули коней, оглянулся на Джайлса, кивнул ему и пустил своего пегого рысью.

Генри Годфилд, который шел сейчас с восставшими левеллерами на север, на соединение с отрядами Уильяма Томпсона, был совсем новый Генри, мало что общего имевший с тем восторженным, мягким, как воск, юношей, который проводил дни и ночи в будуаре леди Дуглас почти год назад, составлял с нею анаграммы и мечтал о прелестных зеленых глазах Элизабет Клейпул. Дамские разговоры, любовь, гадания... Все это детские игрушки по сравнению с той великой бурей, что сотрясла до основания добрую старую Англию с того памятного дня, когда его будущего зятя выгнали из парламента. В двадцать лет человек меняется быстро — да и было от чего перемениться! Леденящий кровь процесс над Карлом Стюартом, казнь злосчастного монарха, установление республики... И сразу поразительное, ужасное разочарование в этой республике, обещавшей столь много... Где обещанная справедливость? Где Конституция? Где новый парламент, избранный большинством народа? Страной правила кучка офицеров, и это было надругательством над святыми целями гражданской войны и над пролитой кровью.

Вместе с солдатами и младшими офицерами своего полка Генри понял: за справедливость и свободу надо бороться. На поле боя, с оружием в руках, до последней капли крови... Дух мятежа овладел им, как и всей партией левеллеров, военных и гражданских, и он подписывал петиции, участвовал в нелегальных солдатских собраниях, защищал «Народное соглашение», требовал созыва совета агитаторов...

Монотонная рысь укачивала, усталость наваливалась на плечи, под ложечкой противно сосало от голода. Надо было отвлечься, он прищпорил коня и подъехал к Эйрсу и Денну.

— ...Он одному врзал так, что тот упал бездыханный, — говорил Уайт, и надменное, насмешливое выражение не сходило с его лица. — Другого пинками выгнал на улицу, а хозяйку таверны ударил по лицу. Ему показалось, что у него украли 30 фунтов, на самом же деле он просто проигрался. А так как он был уже в изрядном подпитии, его уволили, и с тех пор, насколько я знаю, он в Армии не служит.

— Пойдите, пойдите, — сказал Эйрс. — Но ведь солдаты за него заступились, и он, я слышал, остался в полку.

— Это о капитане Томпсоне? — догадался Генри. Томпсон, один из левеллерских вожakov, имя которого окружали странные романтические легенды, был сейчас его кумиром. — Томпсона уволили позже, когда поднялись кавалеристы Фэрфакса. Его тогда и к смерти приговорили.

— Ну да, — согласился Уайт, — за подстрекательство к мятежу. Но он дважды бежал из тюрьмы. Только кто вам сказал, что он капитан? Он никогда не поднимался старше капрала.

— Сей достойный воин, — мягким голосом пояснил проповедник, — бежав из тюрьмы, скрывался в лесах, и к нему стекались такие же, как он, отверженные поборники свободы. Он и товарищи его, подобно Робин Гуду и лесным братьям, помогали беднякам и чинили справедливый суд над врагами свободы...

— Я не знаю, насколько этот суд можно назвать справедливым, — покровился Уайт. — Он всадил нож в спину человеку, который честно исполнял свой долг; человек этот умер через месяц.

— Честно исполнял долг?! — Генри от возмущения привскочил в стремени. — Да это был шпион, который навел полицию на тайную типографию!

— Не будем, господа, спорить о капитане Томпсоне, — примирительно сказал Эйрс. — Время позднее, мы устали. Вот встретимся, познакомимся поближе, тогда и будем судить.

— Нет, — не мог успокоиться Генри, — кому-то специально нужно раздувать слухи о пьяных драках, о диких выходках... — Все кипело у него внутри, и долгая усталость наливалась тяжестью тело и дурманила голову.

— А что, майор, — вдруг сказал он с притворным спокойствием, — вы твердо уверены, что генералы оставили нас в покое?

Уайт ответил невозмутимо:

— Конечно. Генерал Фэрфакс самолично поручил мне обеспечить союз с вашими силами. И Кромвель определенно обещал...

— Ну это мы уже слышали утром от Скрупа. И, между прочим, его прогнали вон... — Генри, сам того не замечая, теснил конем Уайта, и коню тоже передавалось его раздражение.

— Скруп другое дело, — вмешался Эйрс. — Скруп нас однажды уже предал, ему верить нельзя.

— Скруп, значит, предал! — Генри уже не мог остановиться, бешенство застлало ему взор. — Скрупу мы не верим, а этому майору верим, хотя он говорит то же самое и прислан от генералов! — Он повернулся к Эйрсу. — А знаете, многие в нашем отряде подозревают, что Кромвель и Фэрфакс идут за нами по пятам. А вестников о мире посылают, чтобы легче захватить нас врасплох!

— Вы думайте, что говорите! — в голосе Уайта послышалась резкая нота, он побледнел. — Генерал и лейтенант-генерал честию поклялись не вступать с вами в бой, пока не получат ответа! Да если они нападут на вас, я сам встану под ядра и остановлю сражение. Но этого не потребуется. Черный Том ни разу не нарушил слова. Даже когда имел дело с кавалерами. А вы все-таки часть его армии. Составьте ответ, и я отвезу его обратно.

— Мы вместе его составим, — опять вмешался Эйрс. — Нам всем надо отдохнуть сегодня. А завтра с утра сядем и напишем: так, мол, и так, созовите Всеобщий совет Армии, и мы подчинимся всем его решениям.

— А, ладно, — Генри махнул рукой, все стало вдруг ему безразлично до тошноты. Он почувствовал внезапную слабость и неодолимое желание лечь, вытянуться, забыть обо всем...

— А вот и Бэрфорд, — Эйрс указал рукой на холм за речушкой, на котором смутно виднелись крыши и шпиль колокольни. — Подтянись, ребята, скоро ночлег!

Генри оглянулся на войско. И люди и кони, казалось, двигались из последних сил. Сумерки почти совсем сгустились, и лишь слева, на западе, небо было светлее. Через

полчаса они вошли в сладостно пахнущую дымком, коровами, домашним теплом деревню, а еще через полчаса вождь мертвый сон — в деревенской гостинице, в домах, на сеновалах, в конюшнях — сковал мятежное войско, люди потеряли способность двигаться, что-либо соображать, действовать, откликаться. Даже ночного караула выставлено не было: Эйрс все-таки верил Уайту.

— А? Что? Кто это?

— Вставайте! Вставайте скорее! Нас предали! — Джайлс отчаянно тряс Генри за плечо, тот стукнулся головой о край кровати.

— Что случилось?

— Скорее, лейтенант! Атака! Генералы напали с трех сторон, бегите! Слава богу, мы не в гостинице, успеем!

Генри очумело вскочил, шаря шпагу и пистолет. «Уайт! — пронеслось в голове. — Это Уайт! Надо убить Уайта!»

За решеткой окна метался красный свет факелов, треск пальбы разрывал ночной воздух. В одной рубашке, со шпагой наголо и пистолетом Генри выскочил на улицу и увидел, что гостиница напротив, где расположились на ночлег Эйрс, и Денн, и большая часть войска, окружена. Солдаты в красных мундирах плотно стояли у дверей и у окон, просунув сквозь деревянные решетки пистолы, и беспрерывно стреляли внутрь, в темноту. Оттуда слышались крики. Несколько человек в нижнем белье, без сапог, без оружия пробежали мимо него по улице.

Генри было нацелился сгоряча ударить в спины, расшвырять нападающих, остановить бегущих...

Топот копыт донесся слева, отряд драгун, блестя кирасами, на крупных рысях мчался к гостинице. Впереди, на вороном коне, страшный, разгневанный всадник. Генри замер: он узнал Кромвеля. Белые пешие фигуры заматались, залп разорвал воздух, кто-то упал, остальные разбежались по закоулкам.

— Бегите, бегите скорее! — Джайлс выскочил из дома вслед за ним и набросил ему плащ прямо на рубашку. — Туда, вниз, направо!

Новый залп ухнул в воздухе, Джайлс оказался внизу, у его колена, и Генри, не отдавая себе отчета в случившемся, послушно побежал, куда указал Джайлс.

Улица вела вниз, к речушке, возле нее можно было укрыться в кустах. Только бы успеть... Сапоги он натянул еще в доме, но бежать в них было тяжело, руки со шпагой и пистолетом путались в сырых полах плаща...

— Стой! Вот еще один! Бери его!

Неотвратимый конский топот настигал, затылку сделалось холодно. Генри затравленно обернулся, увидел над собой черную разъяренную конскую морду, как тогда, в Уэре... и вдруг почувствовал себя маленьким провинившимся мальчиком, которому не уйти от отцовского гнева. Словно во сне, отцовская рука ухватила его за плечо, развернула к себе, лоснящийся потом черный конский бок прижал его к стене...

Полковник Годфилд нагнулся совсем близко, держа его за плечо, и заглянул ему в лицо. Потом, не отпуская руки, выпрямился в стременах и крикнул высоким командирским голосом:

— Вперед! Скачите вперед, там еще есть мятежники! Обыщите все дома здесь, а потом — за реку! Я сам возьму этого...

Свет факелов и топот пронеслись дальше, крики удалились, и Генри увидел лицо отца совсем близко.

— Генри, мальчик, я тебя искал... Я знал, что ты здесь... — зашептал маленький полковник.

— Отец... — только и мог вымолвить он, чувствуя лицом родную теплую руку, — это ты...

Ему захотелось прижаться к отцу и остаться с ним, под его защитой, и никогда больше не разлучаться... Но отец легонько толкал его, вел все ниже, к темному повороту улицы,

вниз, к речке.

— Беги, мальчик, — говорил он, — беги к реке, а там прямо по воде направо... Ты их минуешь... Нет, постой. Возьми коня. Возьми, возьми, право, тебе он нужнее. И сразу же к реке, слышишь, и направо, по воде... Так тебя не услышат. В эту ночь возьмут всех, Генри, нас две тысячи, беги же...

Говоря это, он поспешно спрыгнул с коня и передал уздечку сыну. Генри порывисто обнял его, прижался к щеке, поцеловал.

— Отец, ты второй раз спасаешь мне жизнь, — сказал он хриплым чужим голосом, — отец, я...

— Скорее в седло, Генри, и да хранит тебя бог...

Генри вскочил на вороного, и едва видимая в темноте тропинка начала уходить вниз, к прибрежным кустам, к сырости ночной речки. Он оглянулся в последний раз и смутно различил одинокую на темной дороге фигуру отца. «Увижу ли я его когда-нибудь еще?» — почему-то подумал Генри, и мокрые ветки хлестнули его по лицу, а под копытами коня тихо булькнула речная вода.

Генри, таясь, пробирался к северу, разыскивая отряд капитана Томпсона. Сначала он шел только ночами, а днем отлеживался в лесу, привязав к дереву отцовского коня. Потом, достаточно удалившись от Бэрфорда и купив в подозрительной придорожной лавчонке простреленный армейский мундир, рискнул продвигаться и днем, выдавая себя за нарочного Кромвеля. Исподволь он расспрашивал в тавернах об отряде легендарного Томпсона. И однажды наткнулся в лесу на лагерь разбойников, который и оказался ставкой Томпсона. В обозе этих людей, невесть откуда собравшихся к капитану, помимо оружия и воинственного левеллерского «Манифеста» хранились парики, фальшивые бороды, маски.

Самое удивительное, что Генри встретил в этом отряде земляка, длинного и нескладного Эверарда, которого он хорошо помнил еще с того дня, когда ему пришлось сражаться с подателями петиции на ступенях Вестминстер-холла. От этого-то Эверарда Генри узнал, что бедняки в его родном графстве начали вскапывать пустошь на холме святого Георгия и что предводительствует ими тот самый человек по имени Джерард Уинстэнли, которого он видел однажды с Джоном и сестрой. Чего хотят эти копатели, понять было трудно; Эверард говорил о них хмуро и туманно, все больше напирая на то, что «их все равно разгонят».

— Вот, — он вертел в красных руках огромный пистолет, поглаживая его, и щерил неровные зубы, — вот без этой штуки ничего не добьешься. Хватит, побыл я в их шкуре... Когда нас в церковь притащили да еще по морде надавали, я решил: с меня довольно. Не надо мне этого нового царства общности и любви... Ха, любовь! Хочешь любви — стреляй, тогда все получишь...

Генри эти разговоры не очень-то нравились, как и сам неряшливый Эверард, но раздумывать было некогда: следующие несколько дней пронеслись, как в бреду, кошмарном бреду бессмысленной пальбы, сражений, крови, криков, отступлений...

Томпсон повел их на Норгемптон, и они захватили его благодаря неожиданной дерзости удара. Ворвались в тюрьму и освободили заключенных. Потом, крича, размахивая пистолетами и отдавая приказы несуществующим командирам отрядов, они с Эверардом разнесли акцизную палату и нагроулили лошадей мешками денег. Затем в их руках оказались гарнизонные пушки, амуниция, уйма провианта, кони. Все это было чистейшей авантюрой, у них было слишком мало сил, и они, бросив половину добычи, а деньги раскидав в толпу на улицах, отошли к Уэллингборо.

Там их настиг карательный полк, и после краткой жестокой схватки повстанцы были наголову разбиты, потоплены в крови. Томпсон погиб, геройски сражаясь один с целым взводом; он продолжал стрелять и убивать, лежа в кустах, уже получив смертельную рану. Эверард тоже сражался, был, кажется, ранен, но исчез неведомо куда раньше, чем бой был окончательно проигран. Остальные или погибли, или попали в плен.

Все это Генри передумывал и переживал снова и снова, лежа под ворохом сена на дне телеги и по временам теряя сознание от боли, невыносимой тряски и потери крови. Нога была прострелена насквозь, левую руку он сломал, когда падал с коня, на плече зияла глубокая рана от удара шпагой. Больше всего ему было жаль отцовского вороного. Он не мог забыть человеческого, полного страдания взгляда погибающей бессловесной твари...

От слабости и голода слезы то и дело наворачивались на глаза, и его ничуть не приводили в волнение окрики: «Что везешь? Покажи!», которые время от времени раздавались над его головой. Старый крестьянин оказал ему милосердие и согласился довести под сеном до Кобэма — живого или мертвого. Генри вполне доверился ему и не прислушивался к тому, что старик отвечал на окрики. Возможно, у него начиналась горячка: все было ему безразлично.

И только когда он увидел над собой склоненное белое лицо сестры, которая, тихо охнув, стала снимать с его лица прилипшие сухие травинки, он понял, что добрался до дома, и ему захотелось жить снова.

#### 4. СОЛДАТЫ

Его разбудили птицы. Ставни еще не успели приладить, сквозь проемы окошек и щели меж грубо обтесанными досками стен брезжил рассвет. Было свежо и сыро. Дом, постель, стол, табуретки словно пропитались росой. Птичьи голоса тоже будто насквозь пронизывали воздух. То были лесные вольные птицы — совсем не те, которые селятся близ людей. Джерард различил голос дрозда, тонкую флейту иволги и бодрые, с резким росчерком посвисты зяблика.

Он встал со своего соломенного ложа и посмотрел на спящего в другом углу, тоже на охапке соломы, Джона. Ветхое одеяло натянуто на голову, голая длинная нога торчит смешно и незащищено. Джерард взял плед со своей постели, накрыл мальчика. Прихватил мотыгу и, тихо стукнув только вчера навешенной дверью, вышел наружу.

С тех пор, как ушел Эверард, Уинстэнли принял на себя всю ответственность за дела колонии. Он понемногу перетаскивал наверх, на холм, свой нехитрый скарб из хижины старика Клиффорда и все чаще оставался здесь на ночь. Джон, не без бурных домашних баталий, отвоевал себе право изредка оставаться с ним. В лагере обосновались еще несколько человек из деревни, кто победнее: Том Хейдон, младший сын кобэмского копигольдера, повздоривший с жившими в доме солдатами; молчаливый Гарри Бикерстаф, пришедший в Кобэм неизвестно откуда; однорукий солдат Хогрилл; вдова Сойера с детьми. Полмеры тоже думали перебраться, но давешний разгром задержал их в деревне.

Эх, Эверард, Эверард... Когда двери темницы, роль которой по странной прихоти судьбы исполнила для них Уолтонская церковь, растворились, и милостью судьбы Роджерса, разогнавшего чернь, они были выпущены на свободу, Эверард тут же, по дороге на холм, при Полмере и Роджере Сойере вылил на него такой ушат обвинений и упреков, что Джерард до сих пор не мог опомниться. Эверард кричал, что имеет дело с блаженным дураком; что давать негодяям волю издеваться над собой — преступление; что из-за него ни женщины, ни дети в колонии не могут чувствовать себя в безопасности; он высказал даже подозрение, что Уинстэнли питает тайные симпатии к Фэрфаксу и не желает портить с ним отношения, что было уже вовсе бредом и клеветой. Потом свежий ветер и долгий путь к лагерю несколько остудили его. Он признал, что погорячился, не вынес оскорблений Тейлора и Старра. И предложил укрепить лагерь валом и оградой, а сам вызвался собрать и вооружить отряд защитников, которые несли бы караулы и охраняли колонистов от злобы мира сего.

Но на это Уинстэнли никак не мог согласиться. Ему представлялось, что идеал свободной, открытой общинной жизни несовместим с заборами, охраной, оружием. Пусть все приходят и смотрят — не надо ни от кого запираť двери. Эверард возражал, и они опять крупно поспорили. Когда показался разоренный лагерь, стало ясно, что Эверард здесь не

останется. Молча, большими шагами он прошел по пепелищу, пиная и отшвыривая остывшие головешки и останки повозок; потом разыскал среди обломков тесак, взял его ручищей, постоял, расставив длинные ноги, посмотрел на небо, сплюнул и пошел прочь от лагеря. Джерард догнал его, взял было за рукав, но тот, не глядя, грубо выдернул руку. Затем обернул злое безумное лицо и крикнул, как ударил:

— Убирайся со своей правдой! Рой землю, крот, копайся в дерьме и веруй в добро — тебе и твоим блаженным еще не так... Уйди от меня! — вдруг взвыл он дурным визгливым голосом, взмахнул тесаком и бросился бежать, тяжело топая и не оглядываясь.

Джерард долго смотрел на удаляющуюся долговязую фигуру. Потом вздохнул и вернулся к своим. Он был уверен в одном — надо все восстановить, отстроить, посеять заново — это единственно возможный для них способ борьбы, способ утверждения себя в этом мире. Только возьми они в руки оружие — их тут же сметут, рассеют, сгноят по тюрьмам. И тогда — прощай то, что виделось ему уже так близко, так ясно...

И еще, думал Джерард, в мыслях все продолжая спорить с Эверардом, мы испытали насилие на собственном опыте. Ярость толпы, удары и оскорбления, которые сыпались на нас. Лишение свободы. Англия во тьме. Эти люди, которые с таким остервенением напали на безоружных работников, не ведают, что творят. Они недовольны, ибо ни казнь монарха, ни республика не принесли миру справедливости. Значит, единственный и самый правильный долг наш — своим примером показать, что можно, можно построить на земле совершенную жизнь, жизнь без обмана, без угнетения, без насилия. Да, да, без насилия — это и должно быть нашим девизом.

Ему, к счастью, больше не пришлось никого уговаривать. Золотые, терпеливые крестьянские руки убрали обломки, сколотили новые столы и тачки. А через несколько дней на срубках, уцелевших от погрома, поднялись вверх стропила. Полмеры притащили повозку, а Джон принес от сестры несколько серебряных монет. Колония возродилась.

Уинстэнли подошел к краю большого вспаханного поля, наклонился и вгляделся в землю. Среди комьев бесплодной сухой почвы явственно проглядывали двойные листочки бобов. На душе у него потеплело. Он взял комок сухой земли и раскрошил его в пальцах. Земля скудная, что и говорить. И скота на всех — две тощие коровенки, молока едва хватало детям. Но он знал, он был уверен, что до урожая они продержатся.

После казни Карла и отмены палаты лордов Джерарду казалось, что старый мир рушился безвозвратно и вместе с ним потеряли силу прежние королевские законы. Ему стала очевидна та простая истина, что английская земля, раньше принадлежавшая лордам, епископам и членам королевской семьи, теперь по праву стала достоянием бедняков. И это сознание наполняло его желанием действовать. Все хотят доброй, разумной, справедливой жизни — так давайте же ее строить! Он созвал тогда бедняков округи и объяснил им, что в Англии не должно быть нищих и обездоленных. Что цель его коммуны — накормить голодных, одеть нагих, дать кров бездомным, дать человеческую, радостную жизнь угнетенным. Чтобы никто не попирали их достоинства, не помыкал ими, не заставлял на себя работать. Для этого он убедил их выйти на холм и начать вскапывать общинную землю, которая формально все еще продолжала принадлежать изгнанному из парламента сэру Френсису Дрейку. Но это формально, говорил он. А на деле республика отменила власть лордов и их собственность на общинные поля, на то она и республика! Бедняки самим фактом ее установления получили право на эти земли. Давайте же работать, кормиться трудами рук своих, как заповедовал господь, и жить, как братья.

Тогда они поверили ему, а восторженные сумбурные речи Эверарда поддерживали их энтузиазм, и вот теперь колония разгромлена, и надо думать, как жить дальше.

Джерард выпрямился, выбирая участок для работы, прошел еще несколько шагов и увидел на поле темную согбенную фигуру.

— Это ты, Дэниел? Как ты рано.

— Я еще затемно вышел, думаю, успею поработать. К полудню мне уже и обратно надо, на пасторский надел.

— Ты продолжаешь работать на Платтена?

— А как же, у меня срок аренды не истек. — Маленький, тщедушный Уиден, спасший их некогда от ареста, смотрел виновато.

— Но ведь решили: на лордов не работать.

— А он меня из дома выгонит, штраф наложит... Еще в тюрьму посадит. У них расправа короткая. — Он снова взялся за мотыгу; некоторое время оба молча работали. Потом Дэниел распрямился.

— Я вот что думаю. Надо бы нам ремеслом еще заняться. Я, например, сапожничать могу, Джекоб — по кузнечному делу. Женщины — вязать или шить. А то ведь до урожая еще ох далеко... — он опять принялся колотить землю мотыгой.

Джерард усмехнулся. Выход есть, отличный выход, он хотел сегодня вечером объявить о нем колонистам. Он искоса хитро посмотрел на Уидена:

— А что, если рубить лес и вывозить на продажу? — спросил он. — Лес тоже общинный, значит, наш. Что ты на это скажешь?

— Неплохо придумано! — лицо работника просияло. — Там такие вязы огромные... Пока лорды до них не добрались. А то в других местах, знаете, рубят всю. Лучше мы его срубим и продадим! Тогда продержимся.

— Решено, — сказал Джерард. — Мы сегодня же вечером это обсудим. А завтра за работу.

Оба снова согнулись над бобами. Вдруг Дэниел спохватился, достал из кармана сложенные листы.

— Вот... Джекоб Хард вчера из Лондона вернулся, газеты вам привез. Тут и о нас, говорит, пишут.

Уинстэнли взял шершавые листы. Полистав, наткнулся на имя Эверарда.

— «Этот безумный пророк, — прочел он вслух, — побуждает таких же, как он сам, неистовых и помешанных людей уравнивать все состояния и отменить законы...» А вот еще. «Объявились люди, которые начали вскапывать холм святого Георгия в Серри. Они заявляют, что, подобно Адаму, ожидают возвращения земли к ее первоначальному состоянию... Один из них, как говорят, набрал большой узел колючек и терний и забросал ими кафедру Уолтонской церкви, чтобы помешать пастору говорить проповедь. Они хотят уверить всех в реальности своих мечтаний, видений, странных голосов и указаний, которые они якобы слышат. Они уверяют, что не будут сражаться, зная, что им за это не поздоровится...»

Дэниел улыбался беззлобно.

— Ну и врут, — сказал он с некоторым восхищением. — Колючки на кафедру... Да не было никогда такого! А там что?

— А вот «Прагматический Меркурий». «Наш великий пророк Эверет (имя-то перепутали) за свою стойкость в беззаконии требует дара лунатизма вместо дара откровения. Он и тридцать его учеников намереваются превратить Кэтландский парк в пустыню и проповедовать свободу угнетенным оленям... Чепуха какая-то. «Во что выльется это фантастическое возмущение, трудно предсказать, ибо Магомет имел столь же малое и ничтожное начало, а семя его проклятого учения охватило сейчас полмира...»

— Боятся, — сказал Дэниел. — Боятся, что все к нам прибегут, никто работать на них не останется.

— Так оно и будет. Мы теперь хозяева жизни. Смотри-ка, а «Британский Меркурий» пишет, что нас подстрекают роялисты, чтобы увеличить смуты. Да мы дальше от роялистов, чем от кого бы то ни было. Мы — истинные левеллеры и истинные республиканцы.

— А левеллеры-то, говорят, от нас отрекнутся, — сказал Уиден.

— В этом их беда. Они за половинную свободу. И сражаются мечом, кровь проливают.

Потому их и рассеяли. Наш мирный труд — более надежное дело.

Тонкий далекий звук трубы внезапно прорезал воздух. Он так не вязался с мирной картиной широко взрыхленного поля, с чистым росистым утром, что показался зловещим. Джерард воткнул мотыгу в землю, с тревогой взглянул на крестьянина и поспешил к лагерю.

Колония уже проснулась. Женщины хлопотали у котлов, однорукий Хогрилл, ловко зажав бревно коленями, тесал его, что-то напевая, дети собирали щепки для костров. Джерард пошел к валу, но не успел подняться наверх, как столкнулся нос к носу с Джоном.

— Мистер Уинстэнли, там к нам целая армия движется!

Джерард взбежал на вершину вала. Внизу, в долине Уэя, который обегал холм святого Георгия с запада, по дороге двигалась длинная лента войск. Головная часть ее уже свернула направо, к лондонской дороге. Отряд, человек двадцать офицеров, отделяясь от колонны, поднимался на рысях прямо к лагерю. Еще несколько минут — и Джерард узнал Фэрфакса.

Белый конь остановился у подножия вала. Рядом пританцовывала небольшая лошадка с капитаном Стрэви. Он показывал рукой на Уинстэнли и что-то шептал на ухо генералу.

— Так это здесь вы работаете? — спросил Фэрфакс, отстраняясь от капитана. — Покажите ваше поле.

Джерард поклонился и пошел к полю в обход вала. Кавалькада тронулась за ним, Джон догнал и зашагал рядом.

Над бобовым полем, кое-где потоптанным и примятым, пели жаворонки. Несколько согнутых фигур стучали мотыгами по каменистой земле. Утренний ветер шевелил листву одинокого куста.

— И это все? — спросил генерал. — Сколько вас?

— Двенадцать. К полудню придут еще двое.

— Их тут бывает до четырех десятков, милорд, — поспешно сказал Стрэви. По его темному, изрытому оспинами лицу пробежало беспокойство, он покусывал усы. Крестьяне, увидя офицеров, выпрямились и несмело подошли ближе.

— А там что за гарь?

— Мы подожгли вереск, чтобы удобрить землю. На этой земле никогда ничего не росло, кроме вереска.

— Вы живете здесь или в деревне?

— Кое-кто здесь: мы построили хижины.

— А бревна откуда взяли?

— Вон из той рощи, это общинные угодья.

— Общинные не значит ничьи, — сказал Фэрфакс и мельком оглянулся на офицеров. — Общинные земли, как и все в маноре, принадлежат лорду. Здесь лорд — сэр Френсис Дрейк, кажется?

— Мы не можем с вами согласиться, — Джерард старался говорить спокойно и мягко, ища той ниточки симпатии, которая связала их с генералом в Уайтхолле. — То, что мы вскапываем, было землею лорда, но теперь король мертв, и земля его лордов вернулась к простому народу Англии.

Фэрфакс с сомнением покачал головой.

— А правду о вас говорят, — Фэрфакс посмотрел на Стрэви, — что вы заставляете односельчан работать в вашей колонии?

— Мы — заставлять?! — не выдержал Джон.

— Мы никого не принуждаем работать, — ровно, как и прежде, ответил Джерард. — Мы поступаем с другими так, как хотим, чтобы поступали с нами.

— Это все хорошо, да нет ли тут заговора? — быстро проговорил Стрэви.

Уинстэнли взглянул капитану в глаза:

— Если кто-нибудь из нас украдет ваш хлеб или скот либо повалит ваши изгороди, то пусть ваш закон наложит руку на того из нас, кто явится нарушителем.

— Почему вы говорите «ваш закон»? — спросил генерал, не удостоив Стрэви ответом. — Разве у нас не один закон и разве он не обязателен для всех?



— Мы не нуждаемся ни в каком виде правления, ибо наша земля — общая, общий и скот, и все злаки, и плоды. А раз так — зачем законы? Все принадлежит всем, каждый трудится и получает наравне с другими.

— Видите? — светлые глаза Стрэви снова забегали. — Они отрицают законы. Они отрицают собственность, священное право каждого! Это опасно для государства.

— Мы не отрицаем ваших прав. — Джерард и со Стрэви старался говорить мягко, по-дружески. — Если вы называете землю своей, изгоняете других за пределы своей ограды и желаете иметь должностных лиц и законы по чисто внешнему образцу других наций, то мы не будем против этого возражать, но свободно, без помехи, оставим вас одних.

— Вы слышите? — Стрэви избегал говорить с Уинстэнли прямо, а все время обращался к Фэрфаксу. — Они не хотят работать на лордов. Это бунт, вы понимаете?

В глазах генерала мелькнуло презрение.

— Но я слышал, эта земля бесплодна, — снова обратился он к Уинстэнли. — Никто на ней не сеял. А если у вас ничего не взойдет?

Джерард широко улыбнулся.

— Это нас не смущает. Мы будем трудиться своими руками так усердно, как только можем. А успех — он всегда от бога. Он обещал сделать скудные земли плодоносными. Может, он нас и избрал для того, чтобы явить миру свою славу. А всходы уже есть. Смотрите, здесь взойшли бобы, там — ячмень. Правда, их потоптали, — нам завидуют...

— Завидуют? — Фэрфакс смотрел на его убогую одежду, на грубые стоптанные башмаки.

— Ну да, — сказал Джерард. — Они не верят, что на земле можно жить по справедливости. И их трудно убедить. Правда, кое-кто уже смягчился. И другие вслед за ними поймут, что мы их не обидим. Они увидят, что их ярость была безумием, и перестанут бодаться рогами, словно животные. А земля эта скоро принесет плоды, и труд наш будет увенчан, какими бы презренными мы ни казались.

Стрэви повернул коня боком к Уинстэнли и Джону, как бы отказавшись принимать их в расчет, и сказал Фэрфаксу:

— Вы видите? Они или сумасшедшие, или что-то замышляют. Да что разговаривать! Прикажите — я их мигом...

Взгляд генерала, обратившийся к нему, выразил столько холодного, брезгливого гнева, что Стрэви стушевался. Он подался назад, лошадка его затанцевала за спинами офицеров.

— Я надеюсь, — сказал генерал громко, как бы говоря речь перед многими слушателями, — что ваши действия не нанесут ущерба ни владельцам этого манора, ни спокойствию и безопасности Республики. Лучше всего вам, для вашего собственного благополучия, разойтись по домам и вернуться к обычным занятиям. Но если вы настаиваете и если, повторяю, все ваши действия будут и впредь носить мирный характер, что мы усматриваем в них теперь, то Армия Республики не причинит вам вреда. Мы оставляем вас на попечение джентри вашего графства и закона страны.

Он тронул уздечку коня, развернул его и не спеша поехал прочь от лагеря, к видневшейся внизу колонне. Офицеры двинулись вслед, и скоро топот копыт перестал слышаться на холме.

— За что они нас так ненавидят? — спросил Джон. Уинстэнли взглянул на него серьезно.

— Генерал, мне кажется, не ненавидит.

— Я не о генерале. Об этом Стрэви... Помните, он тогда в церкви пришел вас арестовать?

— Они не могут понять... — сказал Джерард задумчиво. — Их с детства учили совсем другому. Тот, кто не держится за свое, кто хочет дать больше, чем взять, — непонятен и потому ненавистен. Впрочем, что касается Стрэви, здесь, я думаю, другое. Ему не терпится проявить власть...

Вечером на холме собралось много народу. Все сидели на поляне вокруг потухающего

костра. Джерард только что прочел им, что пишут о них в газетах.

— Надо объяснить миру, чего мы хотим. Тогда и лорды поймут, кто мы, и бедняки узнают правду и пойдут за нами.

— И давайте свои имена подпишем, — сказал добродушный могучий Джекоб. — Не надо бояться. Мы дурного не делаем.

— И еще одно, братья, — продолжал Джерард. — Нам нужны деньги. Орудия наши попорчены, повозки разбиты. Где достать денег?

Собрание зашумело.

— А если подать петицию в парламент? Попросить помощи? — спросил юный Том Хейдон. Работники засмеялись.

— Ты помнишь, что было год назад?

— Уже ходили с петицией! И одного не досчитались!

— Ведь там лорды, в парламенте!

— Друзья, — сказал Уинстэнли, — если мы не будем ничего предпринимать, мы погибнем. Если мы подадим петицию, мы также погибнем, хотя мы и платили налоги, предоставляли солдатам наши дома и рисковали жизнью в борьбе с королем. Мы сейчас в нужде, и единственный выход — наложить руку на леса. Да, на тот общинный лес, что рядом с лагерем, и на другие — в окрестности их много. Мы теперь можем валить, рубить и использовать деревья, растущие на общинных землях. Мы призовем к этому братьев-бедняков по всей Англии! И себя обеспечим хлебом до урожая. Что вы об этом думаете?

Собрание несколько секунд молчало. Потом раздался голос:

— А они нас в тюрьму не потащат?

— Мы не будем касаться частных владений, — сказал Джерард. — А только тех, которые называются общинными.

Полмер поднялся со своего места и по обыкновению сложил ладони перед грудью. Шляпа его была настолько стара, что порыжелые поля ее бесформенно свисали и почти закрывали лицо.

— Мы должны, — сказал он, — все это написать на бумаге и поставить наши имена, как говорил Джекоб. И разослать эту декларацию в чужие края, всем и каждому. А лорды? Лорды тоже вырубают общинные леса. Вон пастор Платтен приказал недавно старые буки из Кобэмского парка свезти на продажу. А от этого общинная земля скудеет. У бедного люда крадут права. Его обманывают и рассказывают некоторым из наших бедных угнетенных братьев, что те из нас, которые уже начали копать и пахать на общинной земле, хотят мешать бедным людям. А бедные люди... — Он совсем было запутался в словах, но слушали его внимательно, и он выбрался благополучно. — А бедных людей еще задерживают, если они рубят лес либо собирают торф или вереск.

— Короче, я считаю, — повел широким плечом Джекоб, — мы должны объявить в декларации, что решили взять и общинные земли, и общинные леса, чтобы иметь средства к жизни для себя. Довольно мы жили в рабстве. Теперь лорды сравнялись с нами, и наша родина Англия должна стать общей сокровищницей для всех. И еще надо сказать лордам: если кто из вас приступил уже к вырубке общинных лесов, то вы должны прекратить это. И друзья Английской республики не должны у них ничего покупать.

— А у бедных пусть покупают, — вставил Полмер. — И еще давайте напишем: если мы остановим посланные вами повозки и используем лес, так как он — наша собственность, то уж вы нас не порицайте и простите великодушно как истинных братьев...

Бумага была составлена в какой-нибудь час. Уинстэнли, сидя на толстом бревне и окруженный товарищами, едва успевал записывать. Хотя было еще довольно светло, Джон принес сделанный собственноручно громадный факел, сунул его в костер, и чудовище загорелось, исходя густым черным дымом.

Документ назвали «Декларация бедного угнетенного люда Англии». Он начинался словами: «Мы, подписавшие свои имена, действуем от имени всего бедного угнетенного

люда Англии и объявляем вам, именующим себя лордами маноров и лордами страны, что царь справедливости, наш создатель, просветил настолько сердца наши, чтобы видеть, что земля не была создана специально для вас, чтобы вы были господами ее, а мы — вашими рабами, слугами и нищими, но она была сотворена, чтобы быть общим жизненным достоянием для всех, невзирая на лица; и что ваши покупки и продажи земли и плодов ее друг другу — дело проклятое».

Джерард записал сюда все — и то, что говорил Полмер, и то, что предлагал Джекоб, и свои сокровенные мысли. По настоянию Уриеля, причастного к алхимии и чернокнижию, вставил и толкование числа Зверя — апокалипсического числа 666. Хитроумные тайновидцы вычислили, что латинская надпись на английских монетах складывается в это зловещее число, и факт сей неопровержимо доказывал, что деньги — дьявольская выдумка. От себя Джерард добавил, что деньги — не более чем минерал, часть земли, и потому по праву должны принадлежать всем. И еще — мысль, очень ему дорогую: что купля и продажа за деньги есть великий обман, посредством которого люди грабят друг друга; он делает одних лордами, других — нищими, одних — правителями, других — управляемыми.

Потом к нему подходили по одному и, взяв перо, ставили свои имена. Кто не умел расписаться, чертил крестик, а Джерард рядом писал имя. Всего набралось сорок пять подписей, считая Роджера Сойера, который, полный гордости и великого смущения, старательно вывел свое имя. «За отца», — прошептал он.

Уинстэнли обещал свезти завтра бумагу в Лондон.

— Мой печатник, Джайлс Калверт, — сказал он, — верный человек. Он наберет это за день. И Англия узнает о нас правду.

Джерард возвращался из Лондона в смутном, непонятном расположении духа. Все дела удалось сделать быстро. Калверт обещал напечатать «Декларацию» тотчас же и на завтра пустить ее в продажу. Джерард поел в той самой харчевне, где они с Элизабет сидели в день казни, и сразу после полудня отправился домой. Ему посчастливилось: попутный крестьянин довез его в телеге с кожами до Уолтона, а оттуда он пошел пешком на холм.

Тогда, после собрания, Элизабет допоздна засиделась в лагере. Джерард, простившись с работниками, увидел, что она тихо и взволнованно говорит о чем-то Джону. Мальчик слушал очень серьезно. Когда Джерард подошел, они замолчали.

— Джон, — спросил он, — ты остаешься?

— Да, если позволите. Вот только провожу сестру.

— Иди спать. Я сам доведу мисс Элизабет до дому.

Ему хотелось подольше побыть с девушкой. С ней говорилось ему так легко, она слушала его так внимательно и благодарно. Он мог рассказывать ей о том, что занимало его ум больше всего, — о той новой, счастливой и справедливой жизни, которая вскоре настанет в Англии. И каждый раз после их редких встреч он чувствовал некое очищение, осветление. Она была духовно близка ему, и в этой близости он черпал не испытанную раньше радость.

Последняя их встреча смутила его. Он не думал, что чувство девушки к нему столь сильно, он вообще старался не думать об этом. И то, что Элизабет так трогательно и явно обнаружила себя, проникло в его сердце и поневоле разбудило. В нем проснулась щемящая нежность и странная надежда, что когда-нибудь... когда новый мир будет построен и все заживут счастливо... он и эта девушка, быть может, соединятся и будут счастливы, как и все вокруг.

А пока... пока он должен как-нибудь объяснить ей, что удовлетворение всех желаний плоти приносит боль и гибель, муку и стыд; что надо слушаться разума, который дает мир и свободу.

Но сегодня среди всех дел дня, и забот о колонии, и мыслей о будущем устройстве мира, он постоянно думал о ней и вспоминал ее милое грустное лицо, светлые пушистые прядки волос, темное скромное платье.

Он шел по тропинке, минуя большую дорогу к лагерю, не только для того, чтобы

сократить путь. После шума и суеты большого города хотелось быть ближе к земле, к кустам, травам. Тропинка вилась среди верескового поля, которое уже покрылось маленькими розоватыми цветками; изредка путь пересекали овражки с зарослями цветущего дрока и терновника; временами он входил под густую тень деревьев. Пели птицы. И по мере того как места их недавних свиданий приближались, желание увидеть девушку заполняло его существо; он уже больше ни о чем не мог думать.

Топот копыт послышался внезапно совсем близко, на скрытой кустарником дороге. Джерард вздрогнул, раздвинул ветви. Мимо него галопом проскакал отряд солдат — человек девять. На миг мелькнуло темное лицо капитана Стрэви: стальные глаза, торчащие жесткие усы.

Джерард постоял немного, глядя на облачко пыли, поднятое конями. Что нужно было солдатам в лагере? Он почувствовал беспокойство. Пробравшись сквозь колючки, вышел на дорогу. Невдалеке в пыли валялось что-то. Он подошел, вгляделся, какая-то тряпка со следами подков вдавлена в землю. Его внимание привлек пучок сухого репейника, прилепившийся на уголке... Он поднял эту тряпку, отряхнул пыль и увидел, что держит в руках детскую курточку. Смутное сознание беды захлестнуло грудь, сердце забилося. Он ускорил шаги и пошел, почти побежал к лагерю.

Когда вдали показались хижины и палатки, беспокойство сменилось беспощадной, пугающей уверенностью: что-то случилось. Дым клубами поднимался над лагерем — не домашний мирный дым костра. Но было и еще что-то, что подтверждало его зловещее предчувствие, только он никак не мог понять, что. Потом до сознания дошло: тонкий, отчаянный звук женского причитания висел в воздухе, не прекращаясь и надрывая грудь безысходной, страшной тоскою.

Его новый дом догорал. Соломенная крыша уже рухнула, новенький, непросохший сруб шипел, рождая густой черный дым. Пламя было уже почти забито. Несколько мужчин по цепи передавали ведра и плескали воду на горячие обуглившиеся бревна. Облака пара скрывали их лица.

На площадке под деревом женщины, наклонившись к земле, делали что-то; оттуда доносился непрекращавшийся жуткий вой, и это было страшнее всего. Джерард подошел и увидел распростертое на земле голенькое детское тельце. Дженни хлопотала над ним, прикладывая свежие листья подорожника к кровавым ссадинам, усыпавшим острые лопатки, спину и тощий задик. Мальчик стонал. Его голова лежала лицом вниз на коленях матери, которая не переставая причитала тонким пронзительным голосом и зачем-то все перебирала, теребила в пальцах светленькие потные завитки волос на затылке ребенка.

Поодаль молча сидел, неловко подогнув одну ногу, Роджер. Он смотрел в одну точку, лицо перерезала вздувшаяся красная полоса, левый глаз заплыл в багровом кровоподтеке. Джерард опустился перед ним, тронул за плечо:

— Роджер? Что стряслось?

— Капитан Стрэви... — лицо мальчика оставалось безучастным. — Мы в поле пошли с утра, бобы окучивать... В дальний конец... — Он махнул рукой.

— Вдвоем с Джо?

— Ну да.

— И что, Роджер? Что капитан Стрэви?

— Они пришли... Говорят, кончайте работу, господь идет, второе пришествие началось... Весело так. А этот... дурак... — он сглотнул и помедлил. — Думал, с ним играют, и пошел на них с палкой... В сражение, думал, играют...

— Ну?

— Ну, они схватили его, начали бить... Куртку сорвали... Потом рубашку... Я им кричу... — Судорога искажила его лицо, он заплакал, закрывши одной рукой глаза. Тут только Джерард заметил, что другая его рука висит плетью с неестественно вывернутыми наружу пальцами. Он подвинулся ближе.

— А у меня, — Роджер оторвал от лица руку, — мотыгу отняли и еду всю. За руку к

коню привязали, и солдат погнал сюда... Я не успевал бежать... А сюда пришли, спросили, где ваш дом. Я не знал, что они хотят делать... А они солому подложили и подожгли. Когда крыша рухнула, тогда только усаkali.

— Это он, он во всем виноват!

Джерард оглянулся. Рут указывала на него пальцем. В красных от слез глазах горела ненависть.

— Ты нас привел сюда! Ты обещал нашим детям хлеб и радость! А их истязают!.. Где твой хлеб? Что ты можешь? Только слова!..

Дженни, которая уже перевязала мальчика и укутала его одеялом, поднялась, подошла к ней сзади и обняла оплывшее, сотрясаемое рыданиями тело.

— Не надо, Рут... Ему уже лучше... Не надо...

Джерард встал и сжал голову руками. Что мог он ответить этой женщине? Этим избитым детям? Этим людям, смотревшим на него?

— Я сам пойду к генералу Фэрфаксу, — сказал он тихо. — Расскажу ему все и попрошу защиты.

Всю ночь он писал. Он не помнил, чтобы ел что-либо после легкого завтрака в лондонской таверне. Мысли обрели удивительную значительность и ясность. Есть совсем не хотелось, тело было здоровым и легким, перо не поспевало за слагавшимися в стройные фразы словами. Письмо получилось длинным. Он повторял, что цель диггеров — мирная обработка общинных пустошей; что копатели не выступают против властей или законов, не собираются вторгаться в чью-либо собственность и разрушать изгороди; что они никому не навязывают своих доктрин.

Он не просил о покровительстве, нет. Но поскольку вы — наши братья, писал он, наши правители и защитники, мы вольны писать вам и открыть сердца. И если вы, или ваши солдаты, или те, кто владеет землею, так называемые фригольдеры, оскорбят или убьют нас, мы умрем, исполняя наш долг по отношению к творцу, стремясь поднять творение из рабства, а вы будете оставлены без оправдания в день суда.

Он рассказал все, что произошло вчера на холме, но не требовал наказания для капитана Стрэви. Он просил только распорядиться не обижать копателей впредь. И тогда, заключал он, мы будем жить в спокойствии и трудиться на нашей матери-земле, равно принадлежащей всем тварям; а вы, воинство, станете огненной защитой, ограждающей народ от иностранного врага. Но если вы обманете нас и предадите наше дело, продолжал он с отчаянием, мы все равно будем сражаться — не мечом и копьем, а заступом и плугом, чтобы сделать пустоши и общинные земли плодородными.

Он долго и обстоятельно обосновывал несомненное право бедняков вскапывать общинные земли и жить на них, задавал вопросы юристам и ученым проповедникам, ссылаясь на священную историю и нормандское порабощение, цитировал законы...

Что заставляло его перо так живо двигаться по бумаге? Боль от сознания грубой несправедливости солдат, от жалости к детям? Да, конечно. Но странно! Он чувствовал в себе огромную силу любви — да, любви к беднякам, и к детям, и к Фэрфаксу, и к солдатам... Не было ненависти в его душе. «Пусть меня называют безумцем, глупцом, бранят, как давеча бранила Рут, — думал он, — закон любви ведет меня, дает терпение, радость, мир». Он так и писал генералу: «Я никого не ненавижу, я люблю всех, я буду наслаждаться, видя, как все живут в достатке. Я хотел бы, чтобы никто не жил в бедности, стеснении и скорби. Поэтому если вы найдете себялюбие в этом труде или что-либо губительное для всего творения, то откройте так же свободно ваше сердце мне и укажите мне на мою слабость, как я был чистосердечен... Но если вы увидите в моем труде справедливость и поддержку всеобщей любви ко всем, невзирая на лица, тогда присоединитесь и защищайте его, и пусть сила любви получит свободу и славу».

Он закончил еще до света, быстро собрал листы, сунул за пазуху кусок хлеба и вышел из палатки. Лагерь спал. Не глядя на вчерашнее пепелище, он прошел меж неоконченными срубами, вышел на дорогу. Предраcсветный ветер дунул в разгоряченное лицо, и он

улыбнулся ему навстречу. Он верил, что разум может и должен возобладать в людях.

Фэрфакс куда-то спешил. Вокруг стояли офицеры, и в лице его Джерард прочел смесь нетерпения, нежелания обидеть и легкое смущение. Будто генерал стеснялся говорить с ним при людях. Джерард прошел по ковру, приблизился к Фэрфаксу, который остался стоять, поклонился ему, не снимая шляпы, и отдал письмо.

— Что это? — спросил генерал, метнув нервный взгляд на полковника справа.

— Сэр, — сказал Уинстэнли и опустил глаза в пол, чтобы ему не мешали внимательные лица офицеров. — Сэр, вы знаете о нашем деле. Вы видели некоторых из нас и выслушали нашу защиту. Мы встретили мягкое и умеренное отношение от вас и от вашего военного Совета... А сейчас... У нас расквартирован ваш пехотный полк. И некоторые из солдат под командой капитана Стрэви напали на наших людей... И это несмотря на то, что мы пускали их на постой и жалоб на нас не было... — Он поднял глаза и заметил отсутствующее, скучающее выражение на лице молодого офицера, стоявшего рядом с генералом. Фэрфакс кашлянул.

— Вы требуете наказания виновных?

— Нет, нет, — поспешно ответил Уинстэнли. — Вы просто скажите им, чтобы они этого больше не делали. А в нашем письме... Мы хотим, чтобы и вы, и ваш Совет, и парламент обратили внимание на наше дело и оказали нам братское покровительство, чтобы мы могли работать мирно на нашей земле, без скандалов и унижений.

— Вас ограбили? — спросил Фэрфакс.

— Прошлый раз у нас поломали два плуга и телеги, а сейчас подожгли дом.

— Ну вы запирали бы... свои орудия, что ли... — Фэрфакс опять повел глазом на полковника. — Чтобы их не растаскивали...

— Мы не будем ничего запирать, — убежденно сказал Уинстэнли. — Ни хлеб, ни скот, ничего. Мы не хотим показать себя собственниками среди народа. Мы открыто заявляем, что наш хлеб, и скот, и все, что мы имеем, — общее.

— Ну хорошо, — нетерпеливо сказал генерал, — мы рассмотрим вашу просьбу. Я хочу только повторить еще раз то, что уже говорил: гарантия вашей безопасности — ваши мирные намерения и поведение.

Он обернулся к секретарю и протянул ему письмо, принесенное Джерардом:

— Вот возьмите. Я... освобожусь скоро и рассмотрю... — Он глянул мельком на Уинстэнли. — Ступайте на свой холм. Я обещаю вам, что мы прочтем то, что вы написали, и все обдумаем.

## 5. СОСЕДИ

Элизабет стоило больших трудов скрыть от домашних, что в доме у них появился еще один человек. По счастью, в тот ранний вечер, когда неизвестный молчаливый старик привез Генри в телеге под грудой сена, дома никого не было, и девушка с помощью крестьянина внесла Генри в дом, по лестнице подняла на второй этаж, а оттуда по еще одной шаткой лесенке втащила на чердак. Она уже знала из разговоров знакомых о восстании левеллеров и очень хорошо понимала, что весть о возвращении к ним в дом израненного офицера мгновенно разнесется по селу, и, не дай бог, надо будет опасаться появления солдат и ареста.

Но все сошло благополучно. Теперь она каждое утро, когда дом еще спал, и каждую ночь прокрадывалась, таясь, в кухню, набирала хлеба, мяса и овощей, наливала свежей воды в кувшин, складывала все это в корзинку, и, на всякий случай положив сверху свое вязание, поднималась по лестнице, и шла в конец коридора, туда, где за комнатой Джона тонкие шаткие ступени вели на чердак. Там за старой домашней рухлядью она устроила брату постель, расположив ее так, что ему было видно маленькое полукруглое окошко с пересекавшими небо ветками деревьев. Она перевязывала ему раны и поила его целебными настоями трав; кормила с ложечки, когда он был еще слаб, и рассказывала обычные

деревенские новости, не решаясь еще заговорить о колонии. Его же самого она ни о чем не спрашивала.

Жизнь в ее доме шла по-прежнему — тихо и невесело. Пастор Платтен после изгнания из парламента появлялся редко, а когда появлялся, то держался принужденно и речей о свадьбе не заводил. Да и мачеха не смотрела на него с прежним обожанием: как бы она ни относилась к новой власти — это все-таки была власть; и раз власть не жаловала жениха ее падчерицы, то и мистрисс Годфилд не могла почитать его. Разочарование ее в нем усугубилось после того случая, когда она попросила у пастора совета относительно Джона, сбежавшего на холм к диггерам. Пастор ответил, что ничего не желает знать об этом нечестивом сборище, и порекомендовал ей воздействовать на сына через его отца, полковника кромвелевской Армии. Легко сказать — через отца! Полковник Годфилд неотлучно находился при Кромвеле, и увидеть его пока не было никакой возможности. Зато в дом к ним теперь зачастил Чарли Сандерс, племянник уолтонского судьи. Но интересовала его не Элизабет, а ее сестра Френсис, которой он приносил маленькие букетики фиалок и рассказывал случаи из судейской практики.

Элизабет втайне радовалась, что речь о ее свадьбе с пастором не возобновлялась; в душе ее жила странная, не объяснимая разумом надежда, что когда-нибудь... может быть, очень не скоро... все устроится само собой и она наконец будет счастлива. Счастья же своего она не могла представить иначе, как соединив мысленно судьбу свою с судьбой Джерарда Уинстэнли.

Когда Генри стал немного поправляться, она принесла ему газеты и несколько книжек, купленных в лавке к немалому изумлению ее хозяина, не привыкшего, чтобы женщины Кобэма интересовались чтением. Впрочем, Элизабет была дочерью кромвелевского полковника, и на нее смотрели с уважением.

Генри прочел при свете брезжущего утра первый листок и вдруг побледнел так, что Элизабет испугалась.

— Что ты? Тебе плохо? Опять нога?

— Нет... — Он уронил газету и закрыл лицо руками.

Она подняла листок. Это был «Британский Меркурий» за 17 мая. Мятежники, говорилось в нем, захваченные доблестными войсками генерала Фэрфакса и генерала Кромвеля 14 мая под Бэрфордом, были заперты в помещении церкви. Военно-полевой суд, собравшийся на утро следующего дня, приговорил корнета Томпсона, брата опасного мятежника, капеллана Денна и капралов Черча и Перкинса к расстрелу. Полковник Эйрс уволен из Армии и предан гражданскому суду как государственный изменник. Денн проявил чистосердечное раскаяние, и его помиловали. Трех оставшихся расстреляли. Повстанцев расформировали по разным полкам.

— Это конец... — сдавленным голосом, не отнимая рук, сказал Генри. — Все... Больше нам не подняться... Посмотри постановление.

На первом листе газеты крупным шрифтом было напечатано: «Любое заявление, будто нынешнее правительство Республики является тираническим, узурпаторским или незаконным; или будто общины, собранные в парламенте, не являются верховной властью страны, равно как и любая попытка поднять мятеж или заговор против настоящего правительства или для замены или изменения последнего, а также любая попытка подстрекать к мятежу в Армии будет рассматриваться отныне как государственная измена».

После этого известия Генри сник, замолчал, его здоровье ухудшилось. Началась лихорадка. Черты обострились, лицо посерело. Элизабет не знала, что делать. Каждый раз, поднимаясь на чердак, она ожидала худшего, и сердце ее замирало. Генри лежал на спине, в лице ни кровинки, глаза подняты к косым стропилам крыши. Еда не тронута.

Элизабет не могла больше нести это бремя одна. И раз, сидя у костра диггеров, она решилась и рассказала обо всем Джоню. К ее удивлению, мальчик принял весть о возвращении брата спокойно, как взрослый, и очень обрадовался. А детская его уверенность в том, что плохого конца быть не может, дала ей силы.

С добродетельным виноватым видом, который так шел к нему и всегда обезоруживал мать, Джон спустился с холма, расцеловал ей руки, пошутил с сестрами, поужинал и рано отправился спать. А в полночь они с Элизабет, крадучись, поднялись на чердак.

Молодой человек по-прежнему лежал на спине и смотрел вверх. Джон метнулся к нему, чуть не загасив свечу, бросился на колени и припал к измученному неподвижному телу.

— Генри! — жарким шепотом заговорил он, будто не замечая печати страдания на лице брата. — Генри, как чудесно, что ты вернулся! Скорее поправляйся и приходи к нам!

— Джони, я говорила тебе, что никто не должен знать о Генри ничего, слышишь? Иначе его арестуют!

— Бетти, ну я же все понимаю! Я просто говорю, чтобы он скорее выздоравливал и приходил к нам... Если уж прятаться, то лучше всего с нами, на холме. Там его никто не найдет, я знаю такие местечки... Генри, — он затеребил брата, — а когда вы восстали, страшно было? Ты многих убил? А Кромвеля видел?

Добрая, прежняя, домашняя улыбка тронула стянутые губы раненого, он поднял слабую руку и взъерошил вихры на голове брата. И вдруг, приподнявшись на локте и страдальчески морщась временами, стал рассказывать. И о Скрупе, и об Уайте, и о походе на север... Элизабет хотела было остановить его, чтобы он отдохнул, но потом поняла, как необходимо ему выговориться. Джон слушал, как замороженный. Когда дело дошло до ночной стычки и смерти Джайлса, на глазах у Генри выступили слезы. А когда он рассказывал о встрече с отцом и о прощании с ним, он плакал уже не таясь, и Элизабет смотрела на него сквозь слезы счастливыми сияющими глазами, и Джон заревел, уткнувшись головой в одеяло.

Так хорошо они поплакали втроем в эту ночь, что Генри после нее стало лучше. Он взялся за книжки, принесенные сестрой, и тут наткнулся на любопытное сочинение. Называлось оно «Еще о свете, воссиявшем в Бекингемшире».

В этом небольшом, в 16 страниц, анонимном трактате все показалось ему близким. Все шло, по-видимому, от левеллеров: и требование равенства для всех людей независимо от звания и владения; и осуждение монархической власти, подкрепленное аргументами из Священного писания; и настоятельное повторение политических свобод, которые должны быть обеспечены каждому гражданину; и резкие нападки на продажных юристов. Но среди этих знакомых, давно усвоенных мыслей Генри вдруг увидел и нечто новое для себя. «Народное соглашение» — та самая прекрасная конституция, за которую левеллеры проливали кровь и в Уэре, и в Бэрфорде, и во многих других местах, вовсе не была для авторов «Света» непогрешимым идеалом. Она «слишком недостаточна и слишком поверхностна для того, чтобы освободить всех нас, — писал неизвестный автор. — Ибо она не ниспровергает все эти произвольные суды, органы власти и патенты, о которых мы говорили. А какой способ поддержания, какой путь она предлагает бедным, сиротам, вдовам и обнищавшим людям? И какую помощь или ободрение работникам, чтобы облегчить их бремя?».

На это Генри ничего не мог ответить: о бедняках он до сих пор думал мало...

Была в памфлете и еще одна удивительная мысль: там определенно утверждалось, что человек имеет право потреблять лишь то, что он произвел собственным трудом. «Наш хлеб производится не иначе, — читал Генри, — как трудами наших рук; и потому те, кто не работает, не имеют права есть». Равенство должно быть полным: каждый трудящийся имеет право владеть благами земли наравне с другими. Отсюда всякая частная собственность, всякая огороженная земля незаконна.

И тут Генри вспомнил разговор под дождем на холме святого Георгия — разговор с незнакомцем, впервые поразившим его подобными мыслями. В задумчивости он отложил памфлет о свете, воссиявшем в Бекингемшире, и взял следующую книжку. Это был манифест Лилберна и других левеллеров, выпущенный из Тауэра 14 апреля. Генри хорошо знал его содержание. Рассеянно он пробежал глазами знакомые строчки, как вдруг взгляд его



упал на слова: «У нас никогда не было в мыслях уравнивать состояния людей, и наивысшим стремлением является такое положение республики, когда каждый с наивозможной обеспеченностью пользуется своей собственностью...»

Так вот в чем разница: левеллеры из Бекингемшира требовали имущественного уравнивания, а левеллеры, которых вел Лилберн, — только политического... Но истинная справедливость, конечно, в том, чтобы не было нищих, голодных, чтобы не было угнетения на земле...

— А что, Бетти, — спросил он сестру, когда та пришла навестить его, — знаешь ты что-нибудь о человеке, с которым мы тогда говорили на холме?

Элизабет быстро отвела глаза.

— Да, знаю... — ответила она. — Мы иногда встречаемся с ним. У него на холме работает Джон. — И она рассказала все, что знала о колонии копателей, которые сами себя называли «истинными левеллерами», и об их предводителе Джерарде Уинстэнли.

— А ты можешь попросить у него что-нибудь почитать для меня?

Да, она постарается.

Она шла на холм с твердым намерением рассказать Уинстэнли о брате. Кому еще могла она открыться, с кем посоветоваться?

Генри теперь заметно поправился, скоро он начнет ходить, и тогда пребывание его на чердаке станет еще более затруднительным. Может быть, Джон прав, и холм святого Георгия и есть то спасительное убежище, в котором он нуждается?

Работники сидели вокруг потухающего костра и пели. Был канун Троицына дня. Их собралось на этот раз больше обычного. Джон не отходил от Роджера Сойера, подавал ему еду и помогал — одна рука у мальчика висела на перевязи. Маленький Джо сидел, прижавшись к матери. Глаза его печально и серьезно смотрели в костер. И с той же печальной серьезностью глядели на уголья выцветшие слезящиеся глаза старика Кристофера, тоже пришедшего к ночи в лагерь. Маленький Дэниел и длинный Уриель Уорсингтон сидели рядом. И Полмер был здесь. Невдалеке на вереске мирно паслась его лошадка. На завтра с рассветом было решено идти в большой лес за бревнами, чтобы отстроить заново хижину Джерарда. Троицын день — не помеха для тех, кто привык работать в поте лица и давно уже не ходит слушать пасторские проповеди в церковь.

Звуки печальной старой песни затихали в прохладном воздухе вечера. На западе еще не померкла поздняя июньская заря, а высоко над головой уже стоял ясный рогатый месяц. Где-то невидалье заливалась, булькая, молодая лягушка. Джерард встал, за ним поднялась и Элизабет. Он простился с диггерами, сказав, что вернется завтра после полудня.

Когда Элизабет шла на холм, она думала, что идет посоветоваться с Джерардом о брате, но сейчас, когда они остались вдвоем, все разумные дневные мысли куда-то отступили. Теперь ей хотелось говорить ему только о своей любви. А он рассказывал о колонии — о том, что они рубят и продают лес, хотя купля-продажа — дело нечистое, и человечество, начав покупать и продавать, утратило невинность. Они временно идут на эту меру, чтобы не оставить тела свои без пищи, и им надо проявить всяческую осторожность и осмотрительность, чтобы не превратить торговлю в дело наживы.

— Осторожность? — проговорила она. — А не слишком ли вы осторожны во всем? Вы ничего не делаете необдуманно, по велению сердца?

Он помедлил, подумал.

— Нет, — сказал наконец. — Я стараюсь во всех делах спрашивать совета у разума.

— И вы всегда так расчетливы? — она сама удивилась сарказму, прозвучавшему в этой фразе.

— А как же иначе? — ответил он спокойно. — Когда я жил, повинаясь сердцу, а не уму, как вы говорите, я был несчастлив, нечист, неспокоен. А когда обрел этого великого советчика внутри себя, узнал счастье, то есть покой и свободу.

Ей почудилось выражение превосходства в этих словах и захотелось сказать ему колкость. Она-то знала, что правда и свобода — именно в том, чтобы следовать велениям

сердца и отдаваться любви всем своим существом.

— Если хотите, я вам расскажу одну историю... Мечту, — сказал он.

Они дошли до старого дуба, за которым начинался спуск к Молю, он расстелил свой плащ, сели. Вдали мерцали ожерельем огни селения, в траве кто-то тоненько посвистывал, ночной прохладный ветер изредка набегал, заставляя девушку плотнее закутываться в шаль. Она смотрела вниз, в долину, и чудная картина рисовалась ее воображению, разбуженному словами Джерарда.

...Теплые лазурные волны омывают зеленый остров, встающий над морем подобно изумрудной переливающейся раковине. Остров населен людьми, в нем есть города, и села, и поля с перелесками, и густые дремучие заросли. Но что это за земля!

На ней нет оград. Нет межей, заборов, крепостных стен. Бескрайние поля возделаны и плодоносны. Собранный урожай доставляется в большие амбары и на склады. И это богатство является общим достоянием. Каждый имеет право взять оттуда все, что нужно ему и его семье. И никто не испытывает нужды.

А люди! Они молоды, здоровы, прекрасны. Все трудятся на залитых солнцем нивах, на свежем воздухе, а физический труд, и добрая простая пища, и сознание свободы делают их счастливыми.

Каждая семья живет отдельно, как и теперь. Но не корысть, не зависть или взаимное раздражение правят в доме. Нет, в семье царит любовь — единственный принцип, который должен в ней властвовать. Дети воспитываются сначала дома, в почтении к родителям и старшим. Отец сам заботится о них, учит читать и писать, помогает в постижении искусств и наук и готовит к труду — в ремесле или сельском хозяйстве. Он печется о том, чтобы все дети помогали ему в обработке земли или в ином деле; он поручает им работу и следит, чтобы они хорошо выполняли ее, не допуская праздности. А дети не ссорятся, как звереныши, но живут в мире, как разумные люди.

Затем они идут в школы, в леса, и поля, и в светлые мастерские и там не за книгами, а на деле познают жизнь и все необходимые науки. Здесь они учатся читать законы Республики и созревают умом, вырастая из детского возраста и продолжая свое обучение, пока не ознакомятся со всем, что известно на земле. Всякое дело их учат доводить до совершенства.

Каждый ремесленник получает материалы — кожу, шерсть, лен, металл — из общественных складов и обрабатывает их хитроумными прочными орудиями; когда изделия — одежда, башмаки, шапки и подобные необходимые вещи — готовы, он отдает их на общественный склад. И каждая семья, если она в них нуждается, может получить их бесплатно.

А в седьмой день недели все люди, освободившись от забот, собираются, вместе и обсуждают законы Республики, новости со всех концов мира, деяния и события древних веков и правлений. Кто держит речи об искусствах, кто рассказывает о достижениях физики, или хирургии, или навигации, или хлебопашества. Кто поясняет тайны астрологии или целебные свойства трав; кто знакомит с законами блуждающих звезд. А некоторые избирают темой своих речей природу человека, его темные и светлые стороны, его слабость и силу, любовь и ненависть, скорби и радости, внутреннее и внешнее рабство, внутреннюю и внешнюю свободу... И нет нужды в специальных проповедниках или священниках — каждый, кто имеет знания в какой-либо области или опыт духовный, может делиться ими.

Для поддержания справедливости и порядка на острове действуют мудрые и ясные законы, которые регулируют время пахоты и сева, время работы и отдыха. А для надлежащего исполнения этих законов избраны пригодные правители, дух которых настолько смирен, мудр и свободен от алчности, что они могут исполнять установления страны как свою волю.

Такие правители избираются всенародно; ими могут быть лица только старше сорока лет, то есть достигшие того возраста, когда не страсти правят человеком, а человек — страстями. В таком возрасте скорее встречаются опытные люди, поступающие честно и

ненавидящие алчность. Как они умеют подчинять порывы своего сердца голосу высшего разума, так смогут подчинить жизнь народа и свою собственную волю мудрым и справедливым законам. Ибо великим законодателем в этой республике служит дух всеобщей справедливости, победившей в человеческом роде.

Каждый год правители переизбираются заново. Ибо если вода застаивается долго, она портится, тогда как проточная вода остается свежей и идет на общее употребление. В городе или приходе выбирается миротворец, а также наблюдатели для поддержания мира и руководства ремеслами. Для управления же страной каждый год заново избирается парламент — одна палата, без лордов, без единоличного правителя. Все помогают друг другу в любви и понимании совместной высокой цели. Такое правление делает весь остров, всех людей, на нем живущих, единой семьей, единым, хорошо организованным целым...

Месяц передвинулся далеко влево, ожерелье огней внизу почти погасло, сквозь плащ проступала сырость ночной земли. Элизабет и Джерард встали.

— Как же я забыла! — встрепелась вдруг девушка. — Я хотела кое-что рассказать вам... Очень важное... И посоветоваться.

— Встретимся завтра в полдень, — предложил он. — Завтра Троицын день, я остаюсь в Уолтоне и утром пасу коров в роще. Приходите туда, потолкуем.

Троицын день выдался жаркий и сырой, и, к счастью, на солнце то и дело набегали тучки, но было светло, весело. Они сидели в роще на поваленном дереве. Кусты вокруг были сплошь увиты хмелем, его пронизывали солнечные лучи.

Элизабет рассказала о Генри все. И они решили, что, как только молодой человек почувствует себя достаточно крепким, сестра приведет его — под покровом ночи или на рассвете — на холм, где для него будет приготовлена в укромном месте хижина и все необходимое. Свежий воздух и необременительный труд помогут ему выздороветь окончательно. На диггеров можно надеяться: никто ничего не узнает. Надо будет только на всякий случай изменить имя.

— Я сам буду ему другом, буду помогать во всем, — говорил вполголоса Джерард; лицо его было светлым, ласковым, на нем играли солнечные пятна. — Он поправится. Наши ряды вырастут, и скоро ему уже не нужно будет скрываться.

Они сидели рядом и тихо разговаривали и были счастливы так, как только могут быть счастливы любящие, которым не нужно ни завтра, ни вчера, лишь бы сидеть так друг подле друга, и говорить вполголоса, и смотреть друг другу в лицо.

В это самое время большая толпа людей вывалилась из задней двери уолтонской таверны и покатилась, невнятно гомоня, прямо к лесу, которым порос северный склон холма святого Георгия.

Это была странная толпа. Впереди ехали верхом два человека. Один — кряжистый, плотный, с красным лицом; другой — повыше ростом, бледный, в черной шляпе, с темными длинными волосами и свисающими по обеим сторонам пухлого рта усами. За ними с хихиканьем и нелепыми ужимками двигались человек двадцать мужчин, переодетых в женские платья. Большие ноги путались в длинных широких юбках, корсажи не сходились на животах, рукава трещали по швам. Кое у кого на головах напялены чепцы, они сидели косо, по-дурацки, то слишком съезжая на лоб, то залихватски заламываясь на затылок. В руках у одних были дубинки, у некоторых — доски или колья. Длинный парень в едва доходившей до щиколоток юбке гоготал, запрокидывая голову, отставляя зад и то и дело давая тумака товарищам. Те ухмылялись и взмахивали палками. Пивной дух, густо поднимавшийся над толпой, красноречиво говорил о том, что пиво в таверне лилось рекой.

Что-то непристойное было в этой ряженой процессии, что-то преступное, а не праздничное чувствовалось в ней с самого начала. Они вошли в лес, под сень высоких вязов, но лесная прохлада не освежила их и не успокоила, а, наоборот, пробудила в них тлевшие звериные инстинкты, жажду преследования, охоты, крови. Они быстро, двигаясь трусцой или прыжками, поспевали за лошадьми предводителей. Глаза рыскали по кустам, дубинки

просились в дело.

Когда между деревьями забрезжил свет и дорога стала круто подниматься в гору, краснолицый вожак придержал лошадь, предостерегающе поднял кулак и прислушался. Все остановились, задрав носы и замерев в чудных позах. Невдалеке, на опушке, явственно слышались удары топора. Банда нырнула в кусты.

На опушке леса в тени большого дуба стояла впряженная в телегу лошадь. Старик Кристофер поправлял подпругу. Полмер кончил обрубать ветки у последнего поваленного дерева и подошел к телеге. Возле нее возились, укладывая прекрасные ровные стволы, Дэниел Уиден и Том. Оставалось подтащить последнее дерево, распилить, уложить в телегу, привязать покрепче, и можно трогать.

Все четверо не успели даже сообразить, что произошло. Из густого орешника на них вдруг накинудись какие-то дикие сатанинские фурии с кольями и дубинками. Неистовый крик, визг, улюлюканье оглушили, град ударов посыпался на головы, на спины... Верзила в съехавшем на затылок чепце в два гигантских прыжка очутился возле лошади, в руке сверкнул топор. Взмах, удар, и бедная тварь рухнула на землю.

Старик Кристофер упал.

— За что? Что вы... Люди добрые... — повторял он, стараясь прикрыть седую голову от ударов.

Узкогрудого тощего Тома тоже свалили и били, били ногами, тяжело пыхтя и норовя угодить в лицо.

— Старр! Тейлор! Я узнал вас! — крикнул Полмер, пытаясь пробиться сквозь разъяренную толпу фурий к двум всадникам, остававшимся неподвижными. — За что вы нас? Побойтесь бога!..

Страшный удар пришелся ему по голове, он вскрикнул и упал, обливаясь кровью, в розовые цветки вереска.

— Люди! Остановитесь! Если мы делаем что-то незаконно, мы ответим! Перед судом... Дайте нам оправдаться... — взывал тщедушный Дэниел. Но и он упал под градом ударов, и над ним, уже лежащим недвижно, все склонялись, все били, все пыхтели...

Непривычное, непристойное обличье развязало самые низкие страсти. Мужчине бить лежащего стыдно. Мужчина обязан помнить свое имя, знать свой долг и управлять собой. Мужчина должен подчиняться разуму и бояться бога. Но нелепые одеянья стерли все — и память, и разум, и достоинство. Неистойой мегере в косо сидящей юбке все пристало — истерически хохотать, вцепляться в волосы и бить, бить недвижного, лежащего человека, не боясь ни земного суда, ни небесного.

И только когда жертвы перестали проявлять признаки жизни, ярость мало-помалу иссякла, и потные, красные, растерзанные каратели оглянулись на своих вожakov, которые молча стояли в стороне.

— Хватит, ребята, — сказал Тейлор. — Довольно с них. Давай в лес и быстро по домам, по одному. Тряпки снимите.

Они отъехали в кусты, за ними отошли остальные, и там поспешно стали сдирать с головы чепцы, расстегивать корсажи, путаясь, стаскивать через ноги юбки. Вот один, превратившись снова в почтенного фригольдера, поспешно скрылся меж деревьями, не взглянув на остальных и не простившись; вот другой так же быстро отступил, бросив дубинку и зажав под мышкой узел с тряпьем... И скоро вся толпа рассеялась, как дурной сон, словно и не было здесь только что дикого разгула, словно не стонала земля от топота и ударов.

— Хорошо, что мы им бочку поставили, — сказал Тейлор Старру, трогая лошадь. — Надо же людям повеселиться в Троицын день.

— Теперь эти мерзавцы будут знать, как трогать общинную землю, — ответил Уильям Старр, бледный как полотно. — Мы имеем право пасти своих коров, где хотим. Весь холм — общинный, значит, и наш тоже. А они там сеют, строят... Наглецы.

— Они подонки и гады, — проговорил Тейлор и сплюнул. — Им разреши копать в

одном месте, они скоро всю страну взроют. А нам что останется? Мы и землю и почет потеряем. На себя, вишь ты, хотят работать... Все у них общее... Где это видано? Да я ничего своего не отдам, зубами вырву. А отберешь — засужу или забью до смерти.

Они шагом ехали по лесу. Ненависть, смутное удовлетворение, затаенный страх читались на их лицах.

## 6. СУД

Всю ночь Джерард писал «Декларацию о кровавых и нехристианских действиях Уильяма Старра и Джона Тейлора из Уолтона». Старик Кристофер тихо охал за занавеской. Выживет ли? Остальные являли собой такое жалкое зрелище, что больно было смотреть. У Полмера на голове зияла глубокая черная рана, у Тома багровыми синяками заплыли оба глаза и, вероятно, было сломано ребро: он то и дело хватался рукой за бок и страдальчески морщился. Лошадь погибла.

С утра он работал вместе со всеми: бобы требовали постоянного разрыхления почвы, потом подправлял хижину, немного повозился с Джоном над своим срубом. Вечером, когда все собрались у костра, прочел им декларацию. Они слушали молча.

Когда стало смеркаться и луна, почти полная, явственно проступила в вышине, пришла Элизабет. Она сказала, что в таверне «Белого льва», в задней комнате, с обеда сидит компания — лорды, бейлиф, фригольдеры. Тейлор и Старр с ними. Они о чем-то совещались.

— О том, как покончить с нами, — сказал Джекоб. — Мы им поперек горла. Они уже и в лавках отказываются нам продавать.

— А что мы им сделали? — запетушился Джон.

Старый Колтон, который построил в долине просторный дом и потому оказался вконец разоренным солдатскими постоями, подтвердил:

— И правда, налоги мы платим? Платим. Солдат кормим? Кормим. Воевать против них не идем. Так пусть они оставят нас в покое.

— Вы о них, как о людях, — мрачно молвил Том. — А они разве люди? Они по-людски с нами и не говорили, а дрались и выли, как звери. Разве они поймут человеческий язык?

— Узнать бы, о чем они совещаются? — сказал Джерард.

— Когда я шла сюда, я встретила пастора нашего, мистера Платтена. Он сказал, что там сидят сэр Фрэнсис Дрейк, виконт Вэнмен и Ричард Винвуд, эсквайр. А еще атторней из Кингстона, бейлиф Нед Саттон и фригольдеры. Но о чем они говорили, я не знаю.

Она замолчала и стала смотреть в землю. Разговор с Платтеном получился неприятный. Пастор вырос перед ней внезапно на дороге за мостом, будто нарочно поджидал ее, важный, надутый.

— Здравствуйте, мисс, — сказал он, поблескивая очками. — Что-то я давно не видел вас в церкви. Как прикажете это объяснить?

Элизабет молчала. Он посмотрел на нее внимательно и осклабился.

— Опять на прогулку вышли?

Она ничего не нашла лучше, как ответить вопросом:

— А вы? — Это прозвучало дерзко, но он не смутился.

— Я смотрел всходы на моих полях за рекой. Урожай обещает быть лучше, чем в прошлом году, благодарение господу. А сейчас я иду к «Белому льву», меня пригласил сэр Фрэнсис Дрейк.

Так она узнала о совещании. Сама она ответила, что гуляет, и поспешила проститься. Уже спеша вперед, к роще, она оглянулась. Дородная фигура в черном длинном одеянии не двигалась. Он смотрел ей вслед, поблескивая под солнцем круглыми стеклами очков.

— ...Слушайте, а может как раз лорды подговорили эту толпу напасть на наших в лесу? — услышала она звонкий голос Джона.

— Не знаю, мальчик, — ответил Уинстэнли. — Единственно, в чем я уверен, — не надо отвечать им злом, пытаться отомстить. Наказывать — не наше дело. Пусть об этом заботится

тот, кто один должен вершить суд...

Несколько дней спустя Джерарду сообщили, что против него и дигтеров возбуждено судебное дело по обвинению в нарушении прав чужой собственности. Истцы считали, что вся земля северной стороны холма святого Георгия по-прежнему принадлежит владельцу манора сэру Фрэнсису Дрейку. Следовательно, дигтеры, начав вскапывать общинную пустошь, нарушили право собственности означенного лорда. В тесной камере, куда их заперли втроем, было влажно и душно. Даже сейчас, в июльскую жару, стены покрывала липкая плесень, от земляного пола веяло затхлой могильной сыростью. Высокое, под самым потолком, окошко совсем, казалось, не пропускало свежего воздуха.

Том Хейдон лежал на охапке полуистлевшей соломы, держась за ушибленный бок; кровоподтеки на его лице приняли густой синий цвет. Рядом сидел Гарри Бикерстаф, великий молчальник и трудяга, свесив голову с желтыми соломенными волосами. Джерард, стоя на коленях, писал, пристроив перед собой табурет. Лязгнув замок, дверь открылась, узники подняли головы. Толстый человек в мантии важно вошел в камеру, за ним семенил маленький клерк с чернильницей и пером. Солдат вытянулся у двери.

— Так... — сказал толстый, заглянув в листок. — Джерард Уинстэнли, Гарри Бикерстаф и Томас Хейдон. Вы арестованы по иску лорда Вэнмена, рыцаря Ральфа Верни и Ричарда Винвуда, эсквайра, каковые являются доверенными лицами сэра Фрэнсиса Дрейка. Суд будет рассматривать ваше дело через три дня. Вам надо нанять адвоката, чтобы он изложил ваши мотивы. Понятно?

Уинстэнли поднялся с колен.

— Сэр, мы сами можем защитить себя, нам нет нужды нанимать адвоката. Мы только хотели бы знать, в чем нас обвиняют. Ваш бейлиф, который арестовал нас и привез сюда, не хотел нам этого сказать. Нельзя ли ознакомиться с заявлением истцов?

— Нет, это невозможно. Документы будут переданы вашему адвокату, и он подготовит ответ от вашего имени.

— Но мы не сможем найти адвоката за три дня.

— Суд будет иметь дело только с адвокатом.

Он важно развернул полное тело в длинном черном одеянии и выплыл из камеры. Клерк засеменил следом. Дверь захлопнулась, снаружи щелкнуло железо замка.

— Кто это? — мрачно спросил Бикерстаф.

— Это Роджерс, судья. Он ведет наше дело.

— А адвокат зачем?

— Так полагается. Хотя постойте... Надо бы справиться в книгах. По-моему, есть закон, по которому обвиняемый может сам защищаться, если пожелает, а может передать свою защиту родственнику или другу...

— Ну так давайте сами, — сказал Том, страдальчески морщась. — Какого еще адвоката?

— Болит, Том? — Джерард подсел к нему, взял за руку. — Ты прав, мы попробуем сами... Нам нанимать работников не пристало, да и не на что. Адвокаты охочи больше до денег, чем до защиты правого дела. Знаете что? — сказал Джерард, обернувшись к Бикерстафу. — Я напишу в парламент. В Армии о нас уже знают, и лорд Фэрфакс не станет нас преследовать. А теперь пусть в парламенте прочтут. Я изложу наше дело, объясню, почему мы копаем пустошь. Может, нас поддержат...

— А с адвокатом как? — с тоской спросил Том.

— Плохо наше дело, парень, — сказал Бикерстаф. — Судить будут присяжные, а это знаешь кто? Те самые, фригольдеры, что тебя так разукрасили. Смекаешь?

— Мы у них потребуем обвинительный акт и составим защиту сами, — проговорил Джерард. Он бережно положил руку Тома, встал, подошел к табурету, перевернул исписанный клочок бумаги и взял перо.

На следующий день, когда другой судебный чиновник пришел к ним в камеру, все

повторилось снова: суд отказывался предъявить обвинение, пока они не наймут адвоката, а Уинстэнли противился. Божественный голос сказал ему: не нанимай работников. Он не мог послушаться. Но и земные, разумные доводы подтверждали его правоту. Где взять денег, чтобы заплатить адвокату? И какой обученный в университете юрист согласится защищать дело бедняков, многие из которых по закону не имели права ни жить на холме, ни ставить там хижины, уж не говоря об обработке пустоши? Они, наоборот, приведут десятки законов, поправок, добавлений, указов, которые непреложно докажут, что вся земля манора, включая и общинные выгоны, и пустоши, и поймы реки, и болотца, принадлежит лорду. Недаром и месяца не прошло после казни короля, а они уже издали указ, предписывавший местным властям оставаться на местах и исполнять королевские законы впредь до специального распоряжения.

Истина опирается на другой закон. На ясный, чистый закон справедливости. На нем и надо строить защиту. Кто лучше него самого знает этот закон благодати?

Он изложил дело на шестнадцати страницах. Жалоба должна была пойти в парламент в ближайшие дни — он ожидал, что кто-нибудь из колонии навестит их. Тогда на всю Англию прозвучат слова: «О, не смыкайте ваших глаз от света, обсуждая мелкие привилегии отдельных людей, когда всеобщая свобода приведена к вам на суд; не спорьте больше, когда явилась перед вами истина, но храните молчание и действуйте в ее духе. Не затыкайте ушей против тайных жалоб угнетенных, иначе господь закроет уши свои от ваших жалоб и освободит тех, кто ждет его, иным путем».

Первое, что должно сделать, убеждал он парламент, — это освободить землю. Пусть джентри пользуются своей огороженной землей, а простой народ владеет общинными угодьями. А если вы отвергнете эту свободу, пусть кровь и слезы угнетенных бедняков падут на ваши головы и заклеят вас как отступников и лицемеров. И если вы закрепите древние законы завоевателей, пусть тогда и кровь короля Карла падет на головы ваши, ибо станет ясно, что вы пролили его кровь только для того, чтобы самим сесть на трон вместо него.

Прошел еще один день в невыносимой духоте каземата. Джекоб с Джоном принесли еду и взяли обращение к парламенту. Они принесли немного денег, и Джерард, боясь спросить о происхождении этих монет, тут же послал Джона в лавку за бумагой — для защитительной речи. И когда друзья ушли, принялся за дело.

— «Мы, ваши меньшие братья, — взывал он к обвинителям и судьям, — требуем свободы на наших общинных землях; мы хотим жить в мире и любви с вами, без нищеты и гнета, на нашей родной земле. А те, кто сажают нас в тюрьму, угнетают или избивают нас, связав нам предварительно руки, — предатели страны и враги справедливости».

Он вставил в текст защиты стихи, может быть, они скорее растопят сердца. Надежда его росла; он не чувствовал сырости, позабыл про боль в коленях, не слышал ровного дыхания товарищей. Лучина потрескивала, от пламени изредка отделялась и улетала вверх маленькая искра. Из-под пера четкой линией шли строчки:

«Сойдем мы в могилу; потомки придут; прозрев, увидят они,  
Что мы стояли за правду и мир, и вольность в наши дни...»

Так он писал и черкал всю ночь...

На третий день судья Роджерс снова вплыл в их камеру и важным бесстрастным голосом объявил:

— Поскольку вы, Гарри Бикерстаф, Томас Хейдон и Джерард Уинстэнли, отказываетесь нанять адвоката, суд считает вас отсутствующими и рассмотрит дело без вас. Отправляйтесь по домам и ждите решения.

Джерард вскочил.

— То есть как отсутствующими? Вы арестовали нас, привезли сюда, держали в заточении, а, выходит, мы отсутствовали? У нас готова защита! — Он протянул судье листы с текстом защитительной речи. Но Роджерс не взял их, а строго посмотрел в угол, где на

соломе лежал Том, а подле него сидел Бикерстаф.

— Вы слышали, что я сказал: вы можете идти. Освободите камеру и ступайте по домам. О решении суда вам объявят.

— Господин судья, но дайте же нам сказать, — настаивал Джерард, все протягивая листы. — Мы не стыдимся нашего дела и не боимся защищать его. Пусть сэр Фрэнсис Дрейк изложит обвинение, пусть по закону его докажет, а мы ответим. Господин судья, выслушайте нас! Не нарушайте закона!

Собравшийся было уходить Роджерс сердито обернулся. Его пухлое бледное лицо задрожало.

— Прекратите болтовню! Не вам бы говорить о нарушении закона! Это вы всякий закон отрицаете.

— Неправда! Нас оклеветали! Мы не закон отвергаем, а продажность закона! Мы готовы подчиниться законной процедуре, но выслушайте нас!

Судья махнул в сердцах рукой и заспешил к выходу. Уинстэнли шагнул за ним и горячо заговорил снова:

— Ну хорошо, вы не хотите нас слушать. Господь вам судья. Но тогда — вот: возьмите наш письменный ответ и прочтите на суде. Это и будет нашей защитой. Ведь вы обязаны выслушать обе стороны...

Судья шел не оглядываясь. Тучное тело его колыхалось под мантией.

— Нет! — бросил он через плечо. — Суд не будет зачитывать вашу бумажонку. Мы рассматриваем вас как не явившихся! И вы заплатите судебные издержки, я вас предупреждаю.

После тьмы и сырости камеры яркий солнечный свет ударил Джерарду в лицо, ослепил, и он понял внезапно, что ничего не сможет добиться. Он еще спешил по двору за отдувавшимся, махавшим пухлой рукой судьей, что-то говорил ему о совести, о справедливом законе, и все пытался всунуть в эту белую руку исписанные листы со своей такой продуманной, такой блестящей защитительной речью; но яркий свет будто сковал его волю, и все это делал как бы другой человек, цепляясь за кажущуюся возможность что-то изменить. А сам Джерард уже не верил в эту возможность. И когда у входа в красное кирпичное здание суда, куда нырнуло, как рыба в омут, тело судьи, его остановил, вытянув поперек двери обоюдоострую алебарду, стражник, он отступил почти с облегчением. Фарс окончен.

Он обернулся к товарищам, которые, щурясь от слепящего света, ждали его у черной двери тюрьмы, и побрел к воротам, сжимая в руке белые ненужные листы защитительной речи. А какая там была великолепная ссылка на первую главу двадцать восьмого статута короля Эдуарда VI! «Каждый человек имеет свободу говорить на суде от своего имени или избрать для этой цели своего отца, друга или соседа для своей защиты, не прибегая к помощи адвоката...»

Два дня спустя он возвращался вечером с холма к своим коровам, которых оставил на лужайке возле хижины Кристофера. Он давно уже не пас большое стадо — уолтонские хозяева нашли себе нового пастуха, но этих еще в апреле оставил ему уехавший в Шотландию хозяин, и Джерард иногда водил их на пастбище к лагерю, а иногда оставлял у дома.

Вечер был погожий. Солнце только что село, и ясная серебристо-розовая заря стояла на небе. Невыразимо грустный запах сена пронизывал воздух.

Он подошел к дому, и сердце его стукнуло тревогой раньше, чем он понял, что произошло.

Дверь распахнута настежь. Коров на лужайке нет. В коровнике — тоже. Их кто-то увел, и это было новое нападение злых сил, прямое воровство, преступление. Но есть же еще какой-то закон в Республике!

Дом бейлифа Неда Саттона стоял в середине села рядом с домом судьи. Джерард



постучал, и почти тотчас же дверь открыл сам хозяин — лысый, не старый еще человек с бегающими черными глазами. В комнате сидел и судья Роджерс.

— Ваши коровы... — нехотя сказал Саттон, отводя глаза под вопросами Уинстэнли. — Да, мы конфисковали ваших коров по постановлению суда.

— Но почему? На каком основании?

Судья тяжело поднялся со стула.

— Суд приговорил вас, Бикерстафа и Хейдона к штрафу по десять фунтов с человека и к возмещению судебных издержек в размере 29 шиллингов и одного пенса.

— Но за что? Мы ведь не нарушили закона! Разве парламент издавал когда-нибудь указ, что этого нельзя делать? Мы нарушили только древний порочный обычай.

— Это не обычай, а право прерогативы лорда манора! — Здесь, в доме, Роджерс не казался таким неприступным. Голос его звучал по-стариковски ворчливо. — Кто дал вам право нарушать права лорда? Какой пример вы подаете арендаторам?

— Но, мистер Роджерс, все эти права, все это страшное иго вырвано вместе с королевской властью!

— Не ваше дело рассуждать, — строго перебил судья. — Суд вынес постановление, бейлиф обязан его выполнять. Бикерстаф отказался платить и заключен в тюрьму. Хейдона обнаружить не удалось, его будут искать. А у вас в счет штрафа изъяты коровы.

— Но, господин судья, коровы эти мне не принадлежат. Они не мои, и вы не можете их отобрать. Вы сами нарушили закон. И вам придется за это отвечать.

Судья вдруг взял Неда под локоть и отвел в дальний угол комнаты. Они стали шептаться. Судья доказывал что-то, а Саттон не соглашался. Уинстэнли ждал. Потом судья шагнул к нему и сказал брезгливо:

— Мы ничего против вас не имеем. И объяснения ваши нам не нужны. Нам нужно ваше имущество, которое мы должны конфисковать в возмещение штрафа и судебных расходов.

— Возьмите все мое имущество, я вам не препятствую, — сказал Джерард. — Но коров верните, они не мои!

Маленькие глазки Неда вопросительно глянули на судью, тот кивнул.

— Да ваши коровы уж небось дома вас ждут, — сказал Саттон, не глядя на Уинстэнли. — Какой шум из-за них подняли на всю округу.

Он еще раз, как бы спрашивая разрешения продолжать, бросил взгляд на судью. Тот снова важно кивнул. Нед осклабился:

— Мы не успели их увести, а уж арендаторы поскакали и в Кингстон, и в Кобэм, крича, что диггеров преследуют, угнетают, бьют... У вас много защитников, даже слишком много... — Глазки его сощурились, и он в первый раз взглянул в лицо Джерарду. — И к нам приходили. И в общем... У них ваши коровы, они их увели.

— Лучше сказать, отбили, — поправил судья. — Дикий народ... Ну ладно, раз они не ваши, суд на них претендовать не может.

Джерард быстро вышел из дома. Уже за калиткой вытер шляпой разгоряченный лоб. Не так уж все безнадежно! Какие-то посторонние люди, арендаторы (он даже не знал кто!), вступились за него, вызволили его коров... Он вдруг совершенно успокоился. «Царь справедливости дозволил всему этому свершиться, — подумал он, — дабы я мог прославить его дело, которое для меня выше всего — выше собственности, заработка, выше желаний плоти...»

Он шел по улице. Луна, уже заметно ущербная, освещала дорогу. Господи, думал он, пусть берут что хотят. Мяса я уже почти не ем; хлеб, молоко и сыр — вот все, что мне нужно.

Возле дома на лужайке, залитой лунным светом, стояли четыре коровы. Бедные твари являли собой жалкий вид. Они хрипло замычали при виде его. Их бока, спины и головы были избиты, рога у двух поломаны. У одной, похоже, выбит глаз.

Он побежал в хижину, взял ведро и скамеечку, вернулся к несчастным коровам и стал

доить одну, горестно оглядывая распухшие от побоев бока и находя на них все новые следы варварского обращения.

— Бедные вы мои, — говорил он, чувствуя лбом тепло большого коровьего бока. — Вы никогда не копали на холме святого Георгия, за что же вас так?

Эти люди, Уильям Старр и Нед Саттон, фригольдеры, лорды маноров и джентри, судьи и прокуроры, палачи нормандского лагеря, шептал он, стараются отнять у меня пищу, и заработок, и свободу моего бедного слабого тела — д&#243;ма, в котором дух мой поселился на время; но чем больше они стараются, тем больше тревог и бед приходит в их сердца, и в конце концов они окажутся поверженными. Я же хочу только того, чтобы на земле кончился этот ад, чтобы все жили в любви и мире друг с другом...

Луна все ниже склонялась к горизонту и становилась все краснее, мутнее, печальнее. Над головой выступили крупные августовские звезды. Джерард, превозмогая усталость и боль в плечах, возился с бедными животными. И виделась ему впереди бесконечная вереница ожидавших его бед, он будто знал, что еще и еще придут к нему от прокурора и опять заберут коров — этих и других, соседских; что будут требовать с него денег за судебный процесс, которых ему взять неоткуда; будут посылать на холм проповедников и шпионов, дабы отвратить от него товарищей и расколоть лагерь; будут снова и снова вытаптывать по ночам посевы, ломать инструменты и дико кричать, и выплясывать на обломках, как тогда, в Троицын день, — от радости, что душат дело свободы. А он будет писать жалобы — судьям, командирам Армии, олдерменам и жителям Сити, членам парламента, ученым Оксфорда и Кембриджа, — и все это будет напрасно. Если и ответят ему, то так, как ответил на его просьбу парламент: «Мы заняты сейчас другими, более важными делами; поэтому ответа нашего придется подождать».

Ненависть к дигерам уменьшаться не станет, а будет расти. Потому что эти кроткие бедняки опасны. Да, да, опасны. Они пытаются работать на земле, которая дает лордам доход или десятину; которую можно огородить или обложить штрафом; которую можно продать и выручить деньги. А деньги — их бог; они не отдадут своего, пока души их темны, а сердца алчны. Есть ли вообще смысл возвращать прекрасное древо свободы в проклятом месте, наполненном чертополохом и тернием?

Он отошел от коров, поставил неполное ведро с молоком на землю, вытер руки. Беспощадная истина раскрылась перед ним. Воры и убийцы, одобряемые лживыми проповедниками, правят нацией; законы этого мира — законы тьмы. Вся страна — царство дьявола, потому что правит в ней алчность. И пока эти слуги Вельзевула владеют мечами, тюрьмами, кнутами и виселицами, их не одолеть.

Борьба предстоит долгая, мучительная. Однако оружием, восстанием ничего не добиться, пример левеллеров — тому свидетельство. Их борьба, борьба беднейших, должна состоять в том, чтобы снова и снова выходить на свои скудные поля, снова и снова взрыхлять бесплодную почву, и засеивать, и возделывать ее, и жить в братстве и общности друг с другом.

Джерард еще раз взглянул на небо: оно стало теперь совершенно черно, на нем сверкали звезды. До рассвета было еще далеко.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ ПАСТОР ПЛАТТЕН

*«Все говорят о свободе, но сколь немногие делают что-то для свободы! А тех, кто действует для свободы, преследуют те, кто говорит и проповедует о свободе».*

УИНСТЭНЛИ

### 1. «АНАТОМИЯ МЕЛАНХОЛИИ»

Сумрачный пасторский дом всегда казался пустым, хотя его населяло довольно много народу — дети, слуги, учитель. Но после смерти Маргарет Платтен, урожденной Лайнд, хозяйки и владелицы имения, душа будто ушла из этого дома. В нем поселилась нежилая тишина.

Вслед за уходом матери разлетелись и старшие дети. Сыновей отец послал в Оксфорд. Дочь вышла замуж и жила в Эссексе. А двое младших, мальчик и девочка, со смертью матери будто лишились свойственных детству резвости и веселости. Бледными тенями бродили они, держась за руки, по пустым комнатам, в положенные часы чинно сидели за обедом, а во время уроков прилежно внимали словам учителя. Пастор Платтен больше всего ценил тишину в доме. Он приучил детей разговаривать полупшепотом и не бегать по лестнице.

Он сидел наверху, в библиотеке, и готовился к проповеди. Стоял ноябрь 1649 года — время тяжелое, хмурое. Мутный дневной свет едва пробивался сквозь окна. Свечи приходилось зажигать в четыре часа пополудни. Невероятная слякоть и сырость рождали отвращение к божьему миру.

«Сколь счастливы были бы мы, — читал он, — и сколь благословенным и сладостным удовольствием могли бы быть овеваны наши дни, если бы мы могли сдерживать себя и как должно сносить обиды, учиться благочестию, кротости, терпению, забывать и прощать, как велит слово божье...»

Пастор поднял лысеющую голову и уставил круглые очки на горящую свечу. Ему не хотелось работать. Прочитанные слова ничего не говорили сердцу. В сердце же гнездились злое, непобедимое раздражение. «Теперь этот сброд закопошился на моей земле, — думал пастор. — В августе их прогнали из владений сэра Фрэнсиса Дрейка, и они объявились в моем маноре. Безбожники!...»

Ему не хотелось думать о завтрашней проповеди. Да что проповедь! Собери теперь народ в церкви! Этот Уинстэнли, нищий пастух, перетянул на свою сторону половину прихожан. С установлением Республики церковное благочестие пало, строгие указы парламента не помогают. А нравы!.. Он вздохнул прерывисто и тяжело, боясь прикоснуться к большому вопросу.

Патрик Платтен, воспитанник Оксфорда и ректор собора, а также владелец манора в Кобэме, волею судеб был поставлен пастырем местного населения. Господь определил его наставлять и воспитывать жителей окрестных сел, которых он презирал в душе за их невежество, темноту и тупость. Он должен был отвечать за порядок в храме, за многочисленность и послушание паствы, за благомыслие каждого из прихожан. И всегда старался честно исполнять эти обязанности. А теперь вот паства разбрелась, храм пустел, влияние его проповеди заметно пошатнулось после того скандального спора с Уинстэнли в храме. «Господи, — подумал он словами псалма, — спаси меня, господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими... Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились...»

То, что происходило сейчас в Англии, было чуждо и непонятно его душе. Смуты, войны, неразбериха... Возвышение темных и незнатных... Божественный порядок нарушился. Истина и свобода для пастора состояли в том, чтобы каждый жил на своем месте и работал в чистоте сердца на отведенном ему поприще. И пусть лорд будет лордом, торговец — торговцем, а бедный арендатор — бедным арендатором. И бедный арендатор пусть снимает шляпу перед лордом или пастором, чтобы показать свое уважение к божественному порядку. Жить, подчиняясь свыше определенной иерархии, — удел сынов человеческих.

Он снова взялся за книгу и прочел: «Смирять страсти свои и думайте лучше о других, как говорил апостол Павел, чем о себе самих; равно любите друг друга и не помышляйте об отмщении, но живите в мире со всеми...» Книга называлась «Анатомия меланхолии», пастор черпал из нее немало полезных мыслей для своих проповедей. Автор, викарий Роберт

Бертон, выяснял, систематизировал и толковал причины человеческой печали — причины духовные, телесные, моральные, медицинские, любовные... Она была начинена мудростью всех времен; на каждой странице цитировались то античные классики, то отцы церкви, то средневековые схоласты, а также поэты, историки, путешественники.

Но сегодня пастору не читалось. Он поднял голову, толстые губы раздвинула неприятная улыбка: он вспомнил бумагу, которую послал лорду Фэрфаксу и Государственному совету около месяца назад. В ней говорилось, что диггеры — мятежники, не желающие подчиняться правосудию, что они силою захватили дом одного из его арендаторов и держат там мушкеты для своей охраны, и что они вообще — пьяницы и кавалеры, которые только выжидают момента, чтобы оказать содействие принцу Карлу.

Он написал этот донос в великом гневе, когда узнал, что диггеры перешли на его землю, на ту часть холма святого Георгия, которая примыкала к Кобэму, и начали вспахивать пустошь. Было и еще одно обстоятельство, в котором пастор предпочитал не сознаваться даже самому себе. Дело в том, что с лета он стал замечать странное и решительное стремление невесты избегать его. Когда они виделись, лицо ее словно застывало, становилось замкнутым и отчужденным. Он объяснял это своим поражением в парламенте и решил предоставить дело времени: оно все залечит и расставит по местам. Каково же было его изумление, когда начали доходить слухи о ее встречах с этим Уинстэнли!

Первым сплетню принес Сандерс, племянник судьи. Лицемерно опуская глаза и то и дело прижимая платок к насморчному носу, он тонким лживым голосом сообщил, что видел их на закате в роще вдвоем.

— И другие видели, — сказал он и помолчал, всем видом выражая сочувствие пастору. — И это не в первый раз.

Платтен ничего тогда не ответил, но лицо его потемнело, а на сердце легла черная, тяжелая, разъедающая ненависть. Не к ней, женщине, сосуду слабому и подверженному порче, а к нему — соблазнителью умов и совратителю невинности. Этот жалкий разорившийся торговец привел на его землю нищих кротов, и они стали вгрызаться в ее лоно, срубать великолепные деревья, строить лачуги. Он своими проповедями братства увел прихожан из его церкви. И он же, червь, посягнул на его невесту!

Пастора начинало трясти от слепого, неразумного гнева, когда он думал об этом. Не то чтобы он очень уж любил Элизабет. Он выбрал ее скорее разумом, нежели сердцем: тихая, умная, сдержанная девица из хорошей семьи лучше всего годилась для его целей. Она следила бы за чистотой, занималась детьми и хозяйством и главное — поддерживала бы священную и необходимую тишину в его доме. И вот — о времена, о нравы! Добропорядочная девица бежит на свидания к оборванцу. Это сознавать было нестерпимо.

Дверь внизу стукнула, кто-то вошел. Пастор обрадовался: раз уж работа не клеится, лучше отвлечься. Он вышел на лестницу и увидел Неда Саттона, уолтонского бейлифа.

— Вы заняты, ваше преподобие?

— Нет, нет, располагайтесь, Нед, я спускаюсь.

Старая деревянная лестница скрипнула под его дородным телом. Бейлиф, все еще не решаясь сесть, стоял, держа в руке пахнувший дождем плащ.

— Садитесь сюда, поближе к огню, — пастор подбросил поленьев в очаг. — Я тоже хотел с вами потолковать.

Нед повесил плащ на спинку стула, вытер лысину большим красным платком и, наконец, сел, протянув к огню ноги. Платтен уселся рядом.

— Ну что скажете? — начал он. — Что слышно об этих... копателях?

— Да я, собственно, о них и хотел, — откликнулся Нед. — Они теперь здесь, на нашей земле...

— На моей земле, — веско поправил Платтен. — Этот вереск достался мне по завещанию покойной жены. Я намерен прекратить это бесчинство.

— Вот-вот. Бесчинство, — согласился Нед. — У меня в Кобэме тоже владение. Когда

церковные земли распродавали, мы с братом кое-что подкупили. Вот я и боюсь, как бы они того... И на мой участок не посягнули. Ведь стоит только начать...

— Из Уолтона их выгнали, теперь они пришли сюда. Я ходил, смотрел — они без разрешения возвели два дома.

— Мало того. Они вспахали и засеяли озимыми несколько акров — уже всходы поднялись, рожь и пшеница. Если так пойдет, к ним все наши арендаторы сбегутся.

— Я думаю, что мы, честные люди, — пастор надел очки и они заблестели решительно, отражая языки огня, — честные и благочестивые люди, покорные господа, уважающие и свою, и чужую собственность, должны принять меры. Вы очень хорошо сделали, Нед, что пришли. Надо собрать всех торговцев города и убедить их ничего этим копателям не продавать и не давать в кредит.

Нед криво усмехнулся.

— Это-то, конечно, можно. Это мы сделаем. Но всходы уже есть. Несколько месяцев — и у них будет свой хлеб. Что тогда?

— Но не можем же мы сами топтать их посевы, как уолтонцы. Это противно всякому благочестию. Я — человек, облеченный саном, вы — представитель власти. Надо найти какой-то иной... законный... выход.

— Вы можете, конечно, как владелец земли, подать на них в суд. Но что это даст? Они опять не заплатят...

За окнами быстро смеркалось. Пастор придвинулся ближе.

— Я думаю, только государственная власть может укротить этих мятежников, — сказал он вполголоса. — Между нами говоря, я уже послал жалобу... Самому...

— Фэрфаксу? — тихо выдохнул Саттон.

Пастор кивнул, на губах заиграла самодовольная улыбка.

— А почему Фэрфаксу? Почему не Кромвелю?

— Во-первых, Кромвель в Ирландии. А во-вторых... — пастор пристально посмотрел в маленькие смышленные глазки бейлифа. — Я не хочу иметь дела с цареубийцами. Кромвель — сам мятежник, кто знает, как он взглянет на это. А Фэрфакс на суд не пошел, приговор не подписывал. Всем известно, что и он, и особенно леди Анна — пресвитериане, люди богобоязненные, серьезные...

— И что он вам ответил?

— Я послал верного человека. Он вручил письмо его личному адъютанту, тот вернулся и сказал, что ответа не будет. Я думаю, не послать ли копию в Государственный совет. Может, там скорее разберутся. Все-таки дело государственной важности.

— Постойте! — Нед хлопнул себя по лбу. — Я, кажется, понял... Ведь генерал Фэрфакс был на холме святого Георгия! Самолично пожелал осмотреть... А еще говорят, их главарь, Уинстэнли, ездил к нему в Уайтхолл и имел аудиенцию... Понимаете, к чему я клоню?

При имени Уинстэнли пастор брезгливо оттопырил губы:

— Вы хотите сказать, что генерал им...

— Ну да! Кто знает, что они ему наговорили? Может статься, они нас очернили, а его разжаловали, склонили на свою сторону... Вот он и молчит. И солдат не посылает.

Пастор прокашлялся.

— Быть может, вы и правы, Нед. Но как его разубедить?

— А вы, ваше преподобие, поехали бы к нему сами, а? Поговорили бы, объяснили, что и как... Открыли бы глаза. Так, как вы, никто из нас не скажет.

— Самому поехать в Уайтхолл? — пастор поднялся и заходил по залу. — Завтра я собирался читать проповедь...

За окнами было уже почти совсем темно. Большой сумрачный зал озарялся красным неровным пламенем очага. Нед Саттон, склонившись, протягивал к нему руки и грел их, потирая, будто заранее готовился к победе. Пастор вспомнил «Анатомию меланхолии», и в душе его поднялось отвращение к ее постным словам о мире и смирении, к завтрашней

проповеди, к тем тупым овцам, которых ему предстояло пасти всю жизнь, до самой смерти... Нет, проповедь подождет. Он поедет в Лондон завтра же! Он будет действовать снова как государственный человек, и они в парламенте пожалеют, что вычеркнули его из списков!

— Решено, — сказал он. — Я еду к Фэрфаксу. Только знаете что? Поедьте вместе! Вы — представитель местной власти. И в землях имеете интерес.

— Ну что же, я не прочь, — легко согласился Саттон. — Мне эти диггеры давно уже поперек горла...

Генералу уже второй раз докладывали, что его ожидают джентльмены из Серри. Он догадывался, что речь снова пойдет об этих копателях с холма святого Георгия. Хорошо, он их примет. Но если они будут требовать карательной экспедиции, нет уж, увольте. Кромвель далеко, в Ирландии. Там он предает огню и мечу целые города — пусть... Здесь генерал Фэрфакс будет заботиться о мире. И потом — бросить регулярные войска против нескольких десятков безоружных копателей? Сознание воинской чести не допускало и мысли об этом.

По его знаку в кабинет вошли двое — высокий дородный человек в строгом пасторском одеянии и другой, пониже ростом и попроще, с круглой лысиной. Они отрекомендовались: Патрик Платтен, лорд манора Кобэм, настоятель в Уолтоне, и бейлиф Нед Саттон, фригольдер. Фэрфакс не сел, желая показать, что спешит. Руки его нетерпеливо поигрывали короткой серебряной цепочкой.

— Ваше превосходительство, — начал высокий, — я уже имел честь сообщить вам о бесчинствах людей, именуемых диггерами.

— Не знаю, — сказал Фэрфакс. — Не помню. Но если вы говорите о копателях с холма святого Георгия, то я ознакомился с их действиями и не нашел в них угрозы для государства. Эта кучка бедняков вскапывает бесплодные верески, которые находятся в общинном пользовании.

— Но это еще полбеды, — пастор прижал руки к груди. — Поверьте, мы не стали бы беспокоить вас этим делом, если бы не знали, насколько оно серьезно. Они... — он понизил голос, — связаны с кавалерами!

Генерал постукивал цепочкой по руке.

— У вас есть доказательства? — спросил он спокойно.

— Нет, то есть да... Видите ли... Нам говорили, что некоторые из них в прошлом принадлежали к королевской партии.

— Кто говорил? Вам известны какие-нибудь документы, которые подтвердили бы ваши слова? Вы можете назвать свидетелей?

Пришедшие в некоторой нерешительности посмотрели друг на друга.

— Да, может быть... Надо собрать сведения... Но дело не в этом. Появление диггеров на нашей земле — это угроза безопасности Республики. Они посягают на святая святых — на права собственности граждан, на правила благочестия, на наших жен и невест, наконец! Да, да, в их лагере царят разврат и непотребство. Они, как нам достоверно стало известно, вводят у себя общность жен...

Фэрфакс рассматривал пастора пристально, словно читал его мысли, с лица его не сходило презрительное выражение, и Платтен подумал: «Не то, не то я говорю...» Нед выступил вперед.

— Мы хотели доложить, что копатели грабят мирных жителей. Крадут скот и добро. У соседа, Уильяма Тейлора, пропал боров. Он может подтвердить...

Фэрфакс поднял брови:

— Вы полагаете, я должен расследовать дело о пропаже борова у вашего соседа?

— Н-нет, — стушевался доноситель, — мы думали... Это угроза для всех. Ведь что это будет, если они и на наше будут смотреть, как на свое?..

Он совсем смутился и замолчал. Фэрфакс с трудом подавил улыбку и решительно хлопнул цепочкой по руке, намереваясь прекратить разговор. Но в это время заговорил пастор:

— Все это не такие безобидные вещи, как кажется на первый взгляд, — вкрадчиво произнес он. — Я с вами согласен, по отдельности они выглядят смешными и не достойными внимания. Но если подумать о нации...

Перед Фэрфаксом теперь стоял не простоватый доносчик из провинции, а опытный, умный оратор. Патрик Платтен был в своей стихии — он читал проповедь. Он говорил о национальном единстве англичан как избранного богом народа; а это единство возможно лишь при условии единства веры, единства церковного устройства. Он защищал церковное единообразие и правление избранных и указывал, что сектанты, подобные Уинстэнли, расшатывают это единство и, проповедуя спасение для всех, тем самым ведут к разделению, к разрушению веками установленной иерархии. Он настаивал на том, что единство нации и церкви предполагает строгую дисциплину, оплот против разрушительного воздействия разнообразных ересей и сект, призывающих к терпимости и разброду. Он подчеркивал, что пытаться строить царство божие на земле — то, к чему призывают диггеры, — грех и богохульство, ибо только там, за гробом, в горнем граде Иерусалиме возможно совершенное бытие, но не здесь, в этой юдоли скорби, отравленной первородным грехом...

Фэрфакс слушал, не перебивая. Улыбка сбежала с его лица. Доводы пастора были слишком серьезны. Все сходилось против несчастных диггеров: их обвиняли в разрушении основ частной собственности, государства, религии, семьи... Он вспомнил ясное лицо Уинстэнли и непостижимое ощущение братства, исходившее от него. «Мы будем жить в спокойствии и трудиться на нашей матери-земле, а вы, воинство, станете огненной защитой, ограждающей народ от иностранного врага...» Он с открытой неприязнью взглянул на полные бритые щеки Платтена.

— Заботиться о воспитании благочестия и чистоте нравов — ваше дело, пастор, а не мое. Я не могу воздействовать здесь с помощью солдат. И кроме того, не считаю нужным ссориться с простым народом. Вы слышали, с каким триумфом был оправдан Лилберн? Но я обещаю подумать...

Пастор кашлянул, опустил глаза, потом поклонился и быстрыми шагами направился к выходу. Нед Саттон поспешил вслед.

Больше они не появлялись, и генерал совсем было забыл о двух доносчиках из Серри. Он следил за действиями Кромвеля в Ирландии и радовался, что не ему приходится идти в ноябрьском тумане по чавкающим болотам, осаждать упорный Уотерфорд, страдать от дизентерии и лихорадки и смотреть, как бубонная чума косит его солдат. Он радовался, что не участвовал в страшных жестокостях Дрогеды и Уэксфорда, — пусть Кромвель сам отвечает за пролитую кровь стариков и женщин. Он потихоньку укреплял Армию, добивался выплаты жалованья солдатам, читал военные донесения и с тревогой и любопытством следил за действиями Шотландии.

Но через неделю вдруг пришло предписание Государственного совета. Усилий местных властей, говорилось в приказе, недостаточно для того, чтобы разогнать мятежное сборище на холме святого Георгия. Лорду-генералу предлагалось «послать кавалеристов, сколько он сочтет нужным, в те места для наведения порядка...». Видимо, доносчики, ничего от него не добившись, отправились в Государственный совет, и трусливый Брэдшоу не замедлил издать предписание. Ах, да, вспомнил генерал, ведь Брэдшоу имеет дом и какие-то владения в Уолтоне...

Он велел позвать капитана Глэдмена и некоторое время говорил с ним наедине.

Колеса экипажа, подвозившего пастора к просторному кобэмскому дому, выстукивали победную мелодию. Двухнедельное сидение в Лондоне принесло плоды. Завтра придут солдаты Фэрфакса, и ненавистное поселение сровняется с землей. Пастор сам будет руководить праведным делом разрушения. А пока... Он сочинит проповедь — это будет сокрушительная и блестящая речь победителя.

Он сразу прошел к себе в кабинет. От бывлой меланхолии и отвращения к жизни не осталось и следа. Действовать — вот что нужно для того, чтобы не падать духом. Он

выполнил свой долг сегодня и завтра тоже будет действовать, не давая разъедающим душу сомнениям победить его. Пастор сел за стол, взял в руки отложенную две недели назад книгу, нашел отмеченное ногтем место и прочел слова: «...Но мы столь раздражительны и упрямы, дерзки и высокомерны, столь фальшивы и мятежны, столь злобны и завистливы, мы терзаем и сердим друг друга, мучим, беспокоим и низвергаем себя в такую бездну скорбей и забот, которая усугубляет нашу горечь и меланхолию, навлекая на нас ад и вечное проклятие...»

## 2. РАЗГОН

С утра перепархивал легкий снежок и заметно похолодало. Стоял конец ноября. Два дома, выстроенных недавно на холме святого Георгия, на площадке под большим дубом, едва начали просыпаться.

С тех пор как диггеров окончательно выгнали с вершины холма, из Римского лагеря, народу в колонии заметно поубавилось. Старик Кристофер умер, так и не оправившись после побоев. Одни подались неведомо куда искать счастья, другие, как Дэниел Уиден, вернулись в деревню, чтобы по старинке работать на арендованном у лорда участке, платить ренту, пасти коровенок. Два новых дома вмещали в себя все диггерское население полностью. В большом строении, разделенном на несколько комнат, жили Рут с детьми, однорукий Хогрилл, Том Хейдон и Уинстэнли с Джоном. На чердаке поместился новый жилец. Был он бледен и худ, хромотал и прятал в рукав рассеченную левую ладонь. На вид ему можно было дать лет двадцать пять, не больше. Звали его Роберт Костер. Он мало говорил, в общих посиделках вечерами не участвовал, все больше находился у себя наверху, читал или писал что-то. Только Джон просиживал у него длинные осенние вечера да Уинстэнли подолгу говорил с ним о чем-то наедине.

В общем зале изредка ночевали крестьяне, делившие свое время между работой на лорда, и трудом в колонии. Они жили внизу, в убогих тесных хижинах с семьями; на холм же приходили, чтобы поработать несколько часов в поле, помочь в починке инструментов или посидеть вечером у огня.

Вторую хижину, поменьше, занимала семья Полмеров. Маленький фамилист сильно постарел и сдал после того случая в лесу. Он часто хворал, и Дженни сбивалась с ног, хлопоча по дому, помогая на поле и исхитряясь готовить вместе с Рут скудную пищу на всех.

Часто приходил длинный, суматошный Уриель. Он возникал и исчезал неожиданно, и никто, в первую очередь он сам, не мог предсказать, что он будет делать через час или два, куда пойдет, что скажет. Как на работника на него рассчитывать не приходилось — он был то вял, то хватался за все и ничего не мог довести до конца. Джерард страдал, видя, как надрываются на работе Полмер и Том и как рядом разглагольствует Уриель, держа в руках топор или мотыгу. Ничто не могло заставить его трудиться. Но его терпели и даже любили, как любят в деревнях юродивых. Последнее время он все доказывал, жестикулируя не в меру, что и бог-то — не бог, и дьявол — не дьявол, и грех — не грех, что все дозволено в этом мире, все благо...

Усилиями этой горстки людей удалось распахать несколько акров каменистой земли в новом месте, над Кобэмом, и засеять их озимыми. Невесомый снежок засыпал нежные зеленые всходы, наступила зима.

Джон выскочил из дому первый. Замотав горло шарфом, но поленившись надеть куртку, он выбежал за водой к источнику и тут в хмуром тумане утра увидел, что к ним поднимается процессия. По дороге, скрипя и кренясь на ухабах, ехала тяжелая пасторская карета, рядом — закутанный в плащ всадник. Человек двадцать конных солдат, разбившись попарно, двигались за каретой, а следом за ними, чуть поотстав, шли пешие. Джон бросил ведро и вихрем ворвался в дом:

— Вставайте! К нам гости! Пастор с солдатами!

Двери захлопали, в зал выглянул испуганный Джо в одной рубашонке, за ним вышла



Рут.

— Что ты кричишь, Джон? А где Джерард?

Тот вышел из своей комнаты, на ходу застегивая куртку.

— Спокойно, Рут, я здесь. Оставайтесь у себя, я поговорю с ними. Надо только увести Костера...

Он поднялся по лестнице на чердак и через минуту вышел в сопровождении Роберта. Тот был бледнее обычного и одет, как в дорогу. Они поспешно вышли в заднюю дверь, к ложбинке, поросшей кустами.

Джон выскочил на дорогу, перебежал луг и постучал к Полмерам. Озабоченная Дженни приоткрыла дверь.

— Ты что, Джон?

— Вставайте, выходите, к нам гости! Солдаты и пастор!

— Да как выходить-то, хозяин у меня слег. Всю ночь маялся, лихорадка. Простыл, видно... И дочка, похоже, тоже... Их не подымешь.

— Ну лежите тогда, я скажу, что вы больны. Справимся!

Едва он успел вбежать в дом, как в дверь громко застучали. Так стучат только солдаты или представители власти.

— Эй вы! — донеслось снаружи. — Открывайте, или мы разнесем вашу дверь в щепы!

Люди в зале переглядывались, молчали.

— Ну где же Джерард! — простонала Рут. Хогрилл подошел к двери и отодвинул засов. Перед ним стоял пастор Платтен. Очки его слегка запотели, волосы в беспорядке свисали из-под шляпы. Из-за его спины выглядывал бейлиф.

— Выходите! Выходите все! Именем господа мы будем сносить дом! — крикнул пастор. — Нечестие ваше будет попрано, гнусные дела преданы справедливой каре! И не советую сопротивляться, с нами войска. Где ваш предводитель?

Люди молча стали выходить под пляшущие колющие снежинки.

— Вот, — Платтен обернулся к офицеру. — Полнобуйтесь. Без моего разрешения настроили домов на моей земле, вспахали ее, засеяли... Я требую защиты закона!

— О каком законе вы говорите? — Уинстэнли, выйдя из-за угла дома, подошел к пастору. Костера с ним уже не было. — О том законе, который велит бедным умирать с голода или гнуть спину, работая на праздного господина? Этот закон отменен вместе с монархией.

Он был совершенно спокоен. На широкие плечи падал снежок. Пастор с ненавистью посмотрел на него.

— Я вас не спрашиваю. Здесь шериф и представители генерала Фэрфакса. Капитан, вы можете задать вопросы этому человеку.

Офицер со светлыми глазами и открытым привлекательным лицом, обогнув монументальную фигуру шерифа, подъехал ближе.

— Скажите, — спросил он, — вы держите у себя в доме или где-либо еще оружие? Получены сведения, будто вы вооружаете людей и готовите выступление в пользу принца Чарльза.

— Я не знаю, кто оклеветал нас, чтобы восстановить против колонии генерала, но вы можете войти в дом и все посмотреть. Оружия вы не найдете, его у нас нет. Наше оружие — наш труд.

Пастор дернулся. Офицер жестом остановил его и весело улыбнулся, показав два ряда ровных белых зубов; ему было ясно, что человек с таким лицом, как у этого копателя, не может быть злоумышленником.

— А чью собственность вы присвоили, распахав пустошь? — спросил он.

— Ничью. Мы сеем и строим на общинной земле. Мы имеем на это право, потому что платили налоги и пускали на постой солдат Республики. Она победила и воздала от своей победы господам и лордам, освободив их от повинностей. А о нас забыла. Вот мы и решили позаботиться о себе, трудясь на общей земле и питаясь трудами рук своих.

Офицер кинул взгляд на пастора и спросил опять:

— Но если позволить всем в Англии пользоваться землей сообща, мы ведь вообще разрушим всякую собственность?

— Что из того? Собственность всегда и всюду была проклятием. Так почему бы Англии первой не начать новую жизнь на своей земле?

Капитан Глэдмен отлично понимал, что нищий чудак говорит чепуху. Не может быть в Англии справедливости. Капитан полагал, что знает, что почем в этом мире; но как хорошо он понимал необъяснимую симпатию своего блистательного командира к этому нищему!

— Хорошо, — сказал он. — Я вижу, среди вас нет левеллеров, врагов Республики. Армия не считает нужным предпринять против вас военные действия.

— А вы не осуждайте левеллеров, — ответил Уинстэнли. — Вам лучше осудить королевскую власть, которая еще живет среди вас, в ваших законах, в проповедях ваших пасторов, в ваших советах и магистратах. Говорю вам, это надо осуждать, а не левеллеров. Ведь главный левеллер — Иисус Христос. Он скоро поднимется и поведет за собой всех верных; тогда вы останетесь нагими и босыми и устыдитесь себя.

— Вы послушайте, что он говорит! — пастор Платтен подскочил в Глэдмену. Кулаки, которыми он потрясал в воздухе, дрожали. — Он порочит власть и церковь! Дело Республики! Он нам угрожает! Господин капитан, я требую немедленных действий против этих мятежников!

Глэдмен сверху вниз посмотрел на пастора. «Какие преимущества дает спокойствие», — подумал он. Зубы его блеснули:

— Мы посланы генералом для охраны шерифа. Я не вижу угрозы для шерифа. Мы ничего предпринимать не будем. — И отъехал туда, где застыли на конях его солдаты.

— Ну хорошо. Тогда я сам буду действовать, — произнес пастор, и лицо его налилось густой темной кровью.

Он махнул рукой, и йомены с палками и топорами подошли ближе. Они встали нерешительно, переминаясь с ноги на ногу, опираясь на свои орудия. Впереди стоял Томас Саттон с тупым лицом и ждал приказаний.

— Дети мои! — начал пастор. — Господь с небес взирает на вас в эту минуту. От вас зависит, будут ли попораны благочестие, святость закона и права каждого из нас. Самонадеянные нечестивцы пренебрегают нашей церковью. Они попирают законы и смеются над священными обрядами. Они не соблюдают день субботний, нарушая первойшую заповедь господню. Они не платят десятину и не подчиняются властям. Они посягают на нашу собственность! Никто из нас не сможет спать спокойно, пока это ядовитое семя гнездится на нашей земле. Дай им волю — они скоро и в наш карман запустят руку, растлят ваших жен и дочерей! Так пусть же кара господня обрушится на проклятое логово! Прольем на нечестивых горящие угли, огонь и серу! Благословляю вас, дети мои! Разбейте этот дом в щепки, чтобы и духу зловредного здесь не осталось!

Йомены переглянулись. Лица их не выражали той решимости, которой следовало бы ответить на речь пастора. Невысокий человек в порыжелой потрепанной куртке громко вздохнул и, сдвинув шапку на лоб, почесал затылок.

— Что? — спросил пастор, пристально посмотрев на арендаторов. Губы его побелели. — И вы бунтовать? Не боитесь кары господней? Да я завтра же выгоню вас всех на улицу! Здесь мятеж! Кто не сражается с мятежом, сам мятежник. Праведный гнев и проклятие да падут на вас и семья ваша, да станет геенна вам уделом!

Он с силой вырвал топор из рук молодого йомена и крикнул в сторону офицера:

— Если Армия не хочет защищать дело Республики, святой церкви и собственности, я сам!..

Он подбежал к углу строения, размахнулся и со всей силы ударил топором по опорному бревну сруба. Топор сорвался и только едва задел угол дома. Пастор размахнулся и снова ударил. Щепки брызнули во все стороны, сруб зазвенел, на бревне появилась отметина.

Уинстэнли сказал что-то диггерам, и они отошли. Лицо его по-прежнему было бледно и спокойно, только кулаки невольно сжимались. Но что они могли сделать против взвода солдат, и властей, и нескольких десятков вооруженных топорами йоменов!

Нед Саттон подошел к брату, что-то горячо зашептал ему на ухо, и капитан Глэдмен вдруг увидел, как похожи между собой эти два человека. Дюжий Томас поплевал на ладони, взялся за топор и пошел к противоположному углу дома. За ним потянулись другие. Дом содрогнулся, и щепки полетели от стен.

— Молодец, Томас! — вскричал пастор. — Так их! Восстань, господи, да не возобладает человек, да судятся народы перед лицом твоим! Наведи, господи, страх на них; да знают народы, что человеки они! Смотрите, смотрите, как славно! Так им и надо!

Лицо его исказила бешеная радость, он был почти в исступлении. Нед взглянул на топор в его руке и отшатнулся.

— Соломы! — закричал Платтен пронзительным голосом. — Тащи соломы! Поджечь — и дело с концом! Очистим землю!

Он бросил топор и подскочил к йомену в потрепанной куртке, все еще празднично стоявшему в стороне.

— А ты что стоишь, Джилс Чайлд? Тащи живо соломы, запалим это волчье логово, и огонь праведный пожрет беззаконие!

Крестьянин смотрел в землю и не двигался.

— Не хочешь? — зловеще спросил пастор. — Подумай, Джилс Чайлд. Подумай хорошенько. Господь все видит. Он не любит беззакония и карает нечестивых жестоко! Враги его будут выброшены во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Подумай об этом, Джилс Чайлд. Ты ведь живешь на моей земле. Как бы тебе не пожалеть.

Тем временем кто-то уже догадался принести соломы; ее подложили под стены и под порог, запихали в зияющие прорубленные дыры, и скоро дым стал обволакивать жилище диггеров. Языки пламени поскакали по стенам — сначала робко, потом все веселее, веселее, выше; дерево затрещало, разбрызгивая искры.

Диггеры стояли в стороне, глядя на разрушение. Ни один из них не шевельнулся, чтобы спасти дом. Только Джон дернулся было, когда пастор нанес первый удар, но Уинстэнли остановил его. Он начал что-то говорить, и все они, несколько мужчин, женщины и дети, сгруппировались вокруг него и слушали. Когда же дом запылал, они запели.

*Вы, диггеры славные, встаньте скорей,  
Диггеры славные, встаньте скорей!  
Трудом вашим пустоши вновь расцветут,  
И пусть кавалеры бесчестят ваш труд,  
Встаньте, о, встаньте скорей!*

Голоса были слабые, хрипловатые. Люди замерзли, стоя на холоде. Но песня звучала. Старательные детские голоса переплетались с мужскими, и мужские крепили, одушевляясь.

*Ваш дом они рушат, встаньте скорей,  
Дом они рушат, встаньте скорей.  
Ваш дом они рушат, и щепки летят,  
Они запугать тем весь город хотят.  
Но джентри падут, а венец обретут  
Диггеры, встаньте же все!*

Джилс Чайлд, который так и продолжал стоять в стороне, подвинулся ближе, прислушиваясь. Глэдмен склонил лицо к холке коня и не поднял его, пока дом не догорел дотла.

Когда факелом занялась крыша, разрушители отскочили и тоже замерли в праздности;

отсветы огня плясали на их разгоряченных лицах. Никто не разговаривал и не смотрел друг на друга. И только Платтен, не стесняясь, ликовал. Он топтался на оттаявшей земле, потирал руки, толкал в бок Неда Саттона, и тот тоже смеялся невесело, заражаясь его дикой радостью.

Соломенная крыша пылала, огненным столбом уходя в небо. Огонь дошел, казалось, до высшего неистовства, языки пламени вскидывались вверх, а навстречу им не переставая сеялась морозная крупа. Стало жарко; люди отходили подальше от пожара, заслоняясь от искр и дыма. Но песня не умолкала.

*С плугами, мотыгами встаньте скорей,  
С плугами, мотыгами встаньте скорей.  
Чтоб вольность и право свое охранять,  
Его кавалеры желают отнять, —  
Свободу отнять, бедняков убивать,  
Диггеры, встаньте скорей!*

Она звучала и дальше, когда от дома остался только тлеющий фундамент. Будто служила невидимой защитой.

Шериф, шевельнувшись наконец под засыпанным снегом плащом, обернулся к офицеру и сказал, что, по его мнению, можно расходиться. Глэдмен, будто только и ждал, с силой хлестнул коня и первым поскакал прочь впереди своего отряда. За ним не спеша двинулся шериф.

В руке Платтена заблестели деньги.

— Молодцы, — сказал он арендаторам. — Господь вас не забудет. Вот десять шиллингов... Можете выпить за успех правого дела.

Он подмигнул Неду и высыпал деньги в горевшую ладонь его брата.

Йомены подняли топоры и пошли прочь от тлевших остатков диггерского дома. Они не смели взглянуть друг на друга, не смели произнести слова, пока хозяева их, лорд и бейлиф, стояли тут же. Так собака, которую держат в страхе, когда хозяин дает ей кость и стоит над нею с хлыстом, глодает, и смотрит вверх, и виляет хвостом... И только когда Нед и пастор сели в тяжелую заснеженную карету и покатали вниз, они, уже уходя, осмелились посмотреть на ту почти призрачную в меркнувшем свете тусклого дня кучку мужчин, женщин и детей, которые стояли и все пели свою песню под сыпавшей на них холодной снежной крупой.

На другой день в сумерках два солдата и три крестьянина подошли к одинокой хижине Полмеров, о которой накануне, казалось, все забыли. Теперь она одна сиротливо высилась на холме среди присыпанных снегом головешек и остатков сгоревшего дома. Один из солдат был рослый добродушный капрал Дик, которого Глэдмен послал посмотреть, как обстоят дела на холме. Цинику и весельчаку Глэдмену не хотелось самому глядеть на развалины.

Поднимаясь на холм, Дик догнал трех крестьян и солдата из гарнизона капитана Стрэви. По их словам, они тоже шли посмотреть на последствия вчерашнего.

На холме под дубом не было ни души. Пепелище казалось мертвым. Они подошли к темной хижине и постучали. Открыла Дженни, лицо ее было бледным, потухшим.

— Хозяин лежит, — сказала она. — Лихорадка. Что вам угодно?

— Не бойтесь, добрая женщина, — сказал Дик. Он неловко дотронулся до красной замерзшей ладонки Дженни: в ладонку легло несколько монет. Она подняла измученные глаза, и подобие улыбки тронуло ее губы.

— Спасибо, — сказала она тихо и опустила голову.

— Да что там, — тоже потупился Дик, — вы нас... простите... Вы не думайте, что все мы такие звери, — говорил он, переминаясь с ноги на ногу. Ему и вправду было жаль эту маленькую женщину с большими горестными глазами. Он стеснялся перед ней своей силы,

своей сытости, своего высокого роста. — Многие из солдат, да и йомены вас жалеют... Даже шериф вчера выразил недовольство...

Он быстро подошел к коню, вскочил в седло, махнул на прощание рукой и исчез в морозной мгле вечера. Дженни проводила глазами его широкую спину и пошла в дом.

— Куда?! Давай выходи! И кто там еще в доме — все вон!

Солдат из гарнизона Стрэви грубо повернул ее за плечо. Она посмотрела в темное лицо и ужаснулась.

— Давай, давай, нечего таращиться! Нам приказано порушить здесь все, поняла? Живо выводи своих хворых!

Через минуту Полмер вышел из дома, пошатываясь и держа за руку закутанную до бровей девочку лет двенадцати. Он подошел к солдату:

— Добрый человек, куда ж нам идти-то? Где теперь жить? Его милость лорд Платтен запретил мне возвращаться в мою-то хижину. Вот я и поселился здесь... И захворал... — он закашлялся.

— Ничего не знаю, приказано! — солдат обернулся к крестьянам. — Эй вы! Давайте рубите, да поживее!

Трое нехотя взялись за топоры, и скоро ветхая хижина поникла, пала под их ударами. Обломки досок посыпались на землю, соломенная крыша рухнула вбок, обнажая покосившиеся, наскоро сбитые ребра стропил.

Полмер повернул девочку к себе и прижал ее лицо к груди. Дженни утирала слезы.

Огня не понадобилось. Разметав для порядка обломки, четверо поспешно ушли. Работа не доставила им удовольствия. Они жили на земле лорда и привыкли к тому, что правды на земле искать нечего. Нет ее, этой правды. И потому выжить может только тот, кто терпит молча, гнет спину и не противится. И когда лорд пригрозил им, что выгонит вон со своей земли и пустит по миру, они покорились. Нехотя повинаясь злым окрикам солдата, они рубили доски и топтали обломки, зная в глубине души, что делают черное дело.

Когда они ушли, было уже совсем темно. Ветер усилился. Дженни вытащила откуда-то из-под обломков большую тряпку. Потом стала разгребать мусор, собирать и складывать в эту тряпку то, что уцелело от погрома — оловянную кружку, котелок для воды, ухват... В темноте искать было трудно, и Полмер, отпустив наконец от себя девочку, попытался развести огонь. Ему долго это не удавалось, но в конце концов костерок затрещал, съедая остатки их дома. При его скудных отблесках они стали втроем разбирать, раскапывать рухлядь, пытаясь спасти уцелевшее. Холодная ноябрьская ночь засыпала их снежной крупой.

### 3. РОЖДЕСТВО

— Это не христиане! — говорил Роберт Костер, и глаза его горели нехорошим лихорадочным блеском. — Проклятье! Я отсиживался в этой лощине. Мне бы шпагу в руки и силу, я бы им показал суд божий!

— Сила наша не в шпаге. Мы должны держаться друг за друга и продолжать то дело, которое начали. Во что бы то ни стало продолжать. Стоит нам применить оружие, и нас сметут с лица земли, как смели твоих левеллеров.

Генри, которого все звали теперь Робертом Костером, и Джерард сидели в крохотной темной хижине. С холма святого Георгия пришлось уйти. За два дня и две ночи под крутым берегом Моля, над слегка прихваченной льдом старицей выросли четыре крохотных хижины, наподобие телячьих хлебов. Прямо на земляном полу из досок и соломы устроили постели, перевернутый ящик или пень служил столом. Обогревались лучиной, жаровней и несколькими глиняными грелками. Очаг устроили один на всех, в самой большой хижине; там женщины варили пищу.

Хуже всего было с едой. Когда Джекоб Хард и Хогрилл, подсчитав скудные гроши в общем кошельке, пошли в лавку купить хлеба и мяса, им отказали.

— Нет для вас ничего, ступайте своей дорогой, — сказал хозяин, суетливый, всегда чем-то обеспокоенный человек.

— Но мы заплатим! Вот, у нас есть деньги!..

— Идите, идите. Не велено. Приказано ничего не отпускать.

На верхнем конце Кобэма — то же. Платтен и бейлиф с утра послали слуг по всему городу с приказом не давать диггерам ни жилища, ни пропитания, ни фуража. И трусливые лавочники, арендаторы и соседи лордов, боялись ослушаться. Посланные вернулись с пустыми руками.

— Нехристи! — повторил Генри. — Изверги. Хотя этот Платтен и проповедует в церкви, я где хотите скажу, что он отрицает бога, Христа и Писание.

— Он собственник земли, лорд и не может допустить, чтобы мы засеяли клочок обширного пастбища. Ладно! Надо подумать, как продержаться до весны.

— А ведь посевы они почти не тронули.

— А если опять нападут?

Джерард задумался.

— Они нападут, потопчут посевы... — сказал он наконец. — А мы снова выйдем и снова вскопаем пустошь и посеем зерно. Мы будем сражаться с ними мотыгой и лопатой, и упорство наше победит. Они покорятся неизбежному.

Генри исподлобья глянул на Уинстэнли, потянулся рукой к лучине, поплотнее укрепил ее в щели между досками. Собственная телесная слабость раздражала его. Он привык действовать, не размышляя долго.

— А они опять будут жечь наши дома и выгонять детей на улицу. Хватит у нас сил отстроить все снова?

Уинстэнли промолчал, тень пробежала по его лицу.

— Если мы будем надеяться только на себя, то, возможно, и не хватит, — тихо ответил он. — Но нас много. Христос проснулся в душах тысяч бедняков, и он поможет нам продолжать работу и сохранить радость сердца. Работать вместе и вместе есть скудный хлеб наш — вот в чем вижу я выход.

— Но ведь они на все способны! — с отчаянием вскричал Генри. — Против них надо действовать, иначе они нас сожрут! Мы, знаете, написали письмо Фэрфаксу. Вы подпишете его?

— Я сам напишу генералу, от себя, — сказал Джерард. — Ты прав, надо попробовать и это. Завтра я поеду в Лондон и отвезу оба письма.

В дверь постучали. Генри метнулся в темный угол, Уинстэнли подошел к двери и раскрыл ее. В синих туманных сумерках стоял человек с огромным узлом в руках. За ним виднелась лошадь. Телега была нагружена скarbом, на ней сидела закутанная женщина, копошились ребятишки.

— Кто это? — спросил Джерард. — Вам что?

— Это я, Джилс Чайлд, — сказал человек в потрепанной куртке и положил тяжелый узел себе под ноги. — Бейлиф сегодня выгнал нас из дома. Вы нас примете?

— Господи, примем ли мы его! Да распрягайте же лошадь, давайте сюда ваши вещи! Сегодня переночуете в тесноте, с Хогриллом и Томом, а там построим и вам жилье.

Он подошел к телеге, потрепал по щеке четырехлетнего малыша и подал руку женщине. Она неловко поднялась. Бледное лицо ее покрывали пятна, она казалась нездоровой.

— А за что выгнали-то? — спросил Генри, подходя к Чайлду. — Ренту не уплатил?

— Да нет... — усмехнулся тот. — Дом ваш рушили вчера... Ну а я отказался.

— И они еще обвиняют нас в беззаконии! — не выдержал вдруг Уинстэнли. — Они доносят на нас, что мы пьяницы и кавалеры. Они сами ведут себя, как кавалеры, враги Республики! Разве можно так обращаться с ее работниками, солью земли, трудом которых

они существуют?

— Кавалеры? — сощурился Генри. — Они говорят, что мы — кавалеры? А между прочим, Уильям Старр и Тейлор участвовали в восстании в Кенте! А бейлиф Саттон — главный зачинщик роялистской петиции, уж я-то знаю. — Он едва удержался от того, чтобы добавить: «Я сам тогда стоял на страже в Вестминстере...»

В синих зимних сумерках возле хижин закопошились люди, устраивая вновь прибывших. Бог даст, переживут они как-нибудь эту зиму, а там... Пригреет солнце, взойдут рожь и пшеница, придут новые диггеры...

В тусклом свете декабрьского дня галерея в Уайтхолле, где просителям велено было ожидать, выглядела холодной и неприветливой. И люди, столпившиеся здесь в этот час, казались хмурыми, изможденными. Ждали выхода генерала. Высокая женщина с блестящими черными глазами стояла неподалеку от Джерарда. Взгляд его то и дело возвращался к ее лицу — что-то необычное сквозило в тонких чертах. Быть может, она пришла просить за сына или мужа? Бархат ее платья кое-где истерся, кружево у шеи пожелтело.

Двери растворились, и генерал в широкополой шляпе, сопровождаемый офицерами, вышел в галерею. Люди двинулись ближе, потянулись руки с прошениями. Маленький проворный адъютант собирал бумаги.

Фэрфакс поравнялся с Уинстэнли и глянул ему в лицо. Черты его потеплели. «Узнал», — подумал Джерард и хотел было уже заговорить, но тонкая рука с изящным кольцом на пальце протянулась раньше.

— Милорд, — сказала дама, — я прошу вашей защиты.

Фэрфакс перевел на нее взгляд, дама низко присела; он протянул руку, желая взять бумагу, но маленький адъютант выхватил свиток и положил под грудку прошений. Юный надменный офицер свиты склонился к соседу и что-то ему сказал, указывая на женщину; оба тихо прыснули. Она подняла на них полные горя глаза, и Джерард, уже устремившийся вслед за генералом, успел расслышать слова:

— Я рада за вас, вы, видно, не были на месте презираемых...

Он догнал Фэрфакса.

— Милорд генерал, я к вам от диггеров с холма святого Георгия. Вы обещали, что солдаты нас не тронут...

Фэрфакс обернулся.

— Они нанесли вам ущерб, мои солдаты? Что они сделали?

— Нет, я не хотел этого сказать... Дома разрушали другие, слуги лордов...

— Тогда в чем же дело? — спросил Фэрфакс, осторожно освобождая локоть из руки увлекавшего его дальше адъютанта с бумагами. Джерард протянул ему письмо и прошение диггеров.

— Хотя солдаты ваши проявили мягкость, милорд, все же ваше разрешение и само присутствие их на холме — большой удар для нашего дела, большой ущерб...

— Я сейчас не могу вам ничего сказать... — произнес Фэрфакс быстро и тихо, беря бумаги. — Но я обещаю прочесть это. — В глазах его мелькнула беспомощность. Длинный развязный субъект втиснулся между ним и Джерардом, Фэрфакс коротко кивнул и, увлекаемый офицерами, пошел дальше, выслушивая жалобы и сетования; адъютант собирал бумаги.

Джерард поискал глазами леди, лицо которой поразило его, но ее уже не было видно. Толпа просителей редела. И на генерала, видимо, нельзя было положиться. Ни на кого из сильных мира сего... Как же согреть, как поддержать слабую плоть новой жизни?

Джерард вернулся после встречи с Фэрфаксом подавленный. Он забился в свою каморку, и из темных углов нахлынули смутные видения, раздумья, боль... В этом хаосе трудно было разобраться, он обхватил голову руками и постарался сосредоточиться. Он

опустился на самое дно жизни. Он жил в хижине, мало чем отличавшейся от собачьей конуры, среди бездомных, нищих, обойденных судьбою людей и сам был так же нищ и наг, как они... Один-единственный вопрос, казалось, стоял теперь перед ним — как выжить?

В дверь стучали — Джон звал его к обеду. Он отмахнулся и крепко потер ладонями лицо. Кажется, он начинает понимать... В крайности своей он не один. Он чувствует то же, что и эти бесприютные, он и они — одно. Они — вместе. И единственный правильный путь — поддержать их, помочь...

Лучина догорала. Он поспешно нашел новую, зажег, приладил в щели между досками. Из ящика достал самое дорогое — чернильницу и четвертушку бумаги. Обмакнул перо... Он так и напишет: «Друзья мои, я пишу это предисловие не для того, чтобы показать себя... Нет во мне ничего, кроме полученного от духа внутри; потому я и пишу, чтобы прославить дух и бросить слово утешения в горестные сердца ваши. Временами сердце мое было полно апатии и муки; оно шло вслепую, пробираясь, как человек сквозь тьму и слякоть. Но потом вдруг меня наполнил такой покой, такой свет, жизнь и полнота жизни, что если бы у меня было две пары рук, я писал бы всеми ими не останавливаясь...»

Он в самом деле стал работать как одержимый... Он писал целыми днями, не чувствуя потребности в пище. Когда Джон или кто-нибудь из женщин насильно увлекал его к обеду, ел быстро, не разбирая вкуса, и, едва закончив, тут же вставал, чтобы уединиться в своей каморке и писать, писать... И только когда поздний вечер и усталость заставляли его встать, он обнаруживал; что не может этого сделать: надо было сначала крепко ухватиться за края ящика, а потом подниматься постепенно, пока силы и тепло не доходили от сердца к ногам, застывшим в неподвижности. И все же ночью, лежа на холодном и жестком соломенном ложе, он испытывал глубокую радость от своего труда во имя людей.

Но однажды утром он проснулся опустошенным: сердце его закрылось от мира. Он почувствовал, как холод пронизывает все тело до костей, его начал бить озноб, руки и спина болели, а вокруг спустилась мгла; солнце, казалось, не вставало и никогда не встанет над окутанной туманом землей. И вместо света внутри он услышал вкрадчивый коварный голос: «К чему эти жертвы? Зачем мучить себя постом и холодом? Какая польза от твоих писаний? Кому? Ты все равно ничего не изменишь. Иди же ешь и пей вино и склоняй голову на грудь подруги — она иссохнет, ожидая тебя напрасно!..» Он попытался заглушить этот голос, но он все шептал: «Усилия твои тщетны. Ты не сможешь дать счастье этим беднякам, мир растопчет вас. Конец один для всех... Не истины надо искать в этой жизни, а радости. Совсем немного, и ты станешь стариком, так поспеши же...»

Он закрыл лицо руками и поклялся никогда больше не писать и не говорить перед людьми. Ибо с тех пор, как он начал писать или говорить о свете, который засиял в нем, мир стал его ненавидеть.

Он вышел в сырую мглу. Голые вязы на холме святого Георгия шумели равнодушно и сурово. Ничто в этой жизни не имело смысла.

Опомнился он, когда заметил, что уже темнеет, и повернул к дому. Когда до лагеря оставалось уже немного, глянул вперед и вдруг увидел, что к хижинам над рекой с другой стороны, из Кобэма, бредет такая же одинокая фигура, склоняясь под ветром и пряча лицо. Он вгляделся, сердце стукнуло: несмотря на его запрет, Элизабет шла к лагерю.

Джерард просил ее не приходить больше в колонию после переезда на землю Платтена, вскоре после того, как ее брат пришел к ним, чтобы разделить их судьбу. Она тогда зачастила в лагерь. Они помногу говорили, гуляя над Модем, и в какой-то момент Джерард почувствовал, что кто-то ходит за ними следом, осторожно прячась за деревьями. Раз или два они сталкивались с племянником судьи; он преувеличенно вежливо кланялся Элизабет, метя вереск шляпой, а на Джерарда не глядел вовсе. Потом девушка сказала ему, что пастор Платтен мечет громы и молнии против племени нечестивого и развращенного, сектантов и богохульников. А однажды к вечеру, когда она собиралась идти на холм, он попытался остановить ее, грубо схватив за руку.

Тогда Джерард и попросил ее, чтобы она больше не приходила на холм. Он сам



целиком принадлежит колонии, он будет жить и, если нужно, — погибнет с нею, но она, Элизабет, не должна подвергать себя опасности. Не надо, чтобы ее видели рядом с ним. Он знал, что лишается огромной отрады и обрекает себя на душевный холод и одиночество, но он обязан был позаботиться о ее чести, о ее благополучии.

И она покорилась. Больше трех месяцев они не встречались. И сейчас при виде тонкой, колеблемой ветром фигуры волнение охватило его. Он понял: что-то случилось. И ускориł шаги ей навстречу.

Она плакала, бежала к нему и содрогалась от рыданий.

— Что случилось? — Он сжал ее плечи. — Элизабет! Что?..

— Отец... Письмо... — рыдания не давали ей говорить, лицо уткнулось ему в грудь, в мокрое, холодное сукно плаща.

— Что отец? Он жив? Ранен? Говори же...

Она отстранилась и с трудом проговорила опухшими искусанными губами:

— Нет... Его нет больше...

На этот раз собрались все. Теснота была такая, что сидели прямо на полу, дети примостились на коленях у матерей. Канун Рождества — такой день, который нельзя не праздновать. В этот день прощаются все обиды и в сердцах просыпается надежда.

Элизабет видела вокруг себя простые, добрые, улыбающиеся лица. Эти люди всем существом отдавались песне, забыв о невзгодах.

*Придет пора, он скажет «нет»*

*Насильям и мечам.*

*Отнимет у тиранов хлеб*

*И даст своим сынам.*

Их били, разгоняли, оскорбляли, лишали самого необходимого. Но они все равно верили в прекрасный грядущий мир, который им предстояло построить своими руками. Что давало им такую веру и такую силу? Что заставляло радоваться празднику и песне среди самых страшных испытаний? Они вместе делали общее святое дело. И вместе ели скудный хлеб бедняцкого праздника. Это рождало чувство братства и надежду.

Джерард сидел рядом с девушкой, и взгляд его светился любовью. Ее приход в лагерь тогда, в мрачнейший из дней, словно разбудил его. Сердце снова открылось людям, будто кто-то отворил дверь и внес пылающий светильник во тьму души. Он опять поверил, что счастье для диггеров и для него с Элизабет — не теперь, но в будущем, может быть, далеком будущем — возможно. А сейчас он нужен людям, и он сумеет принести им пользу.

Он принялся за новый трактат — большой серьезный труд. Ему надо было показать происхождение королевской власти и объяснить дело диггеров. И поскольку сейчас все в мире представлялось ему единым и сам он ощущал себя ветвью целостного древа человечества, то он доказывал, что цель диггеров и есть как раз суть и костяк того, за что боролись парламент и Армия. Если позволить тысячам бедняков кормить себя, вскапывая общинные земли, то Англия первой среди наций станет счастливой.

Песня стихла, некоторое время молчали.

— А знаете, я тоже написал кое-что, — сказал Генри. Щеки его, обычно бледные, пылали. — Раз уже я не могу сражаться за вас, да и копатель пока что из меня никудышный...

Все великодушно запротестовали, но он продолжал:

— ...так я решил тоже написать, чтобы защитить наше дело. Я так и назвал: «Лепта, брошенная в общую казну». Я ставлю там вопросы — пусть, кто хочет, отвечает.

— Какие вопросы? Расскажи! — слышалось со всех сторон.

— Да их немного... — он смутился, неловкой рукой достал из-за пазухи листы. — Вот: «Разве все люди, по милости божьей, не созданы равно свободными и не наслаждались равно

благами земли и всех плодов ее, пока не продали свое первородство и наследие за гордую праздную жизнь?» Так в книге Бытия.

— Вот замечательно! — Джон был в восторге.

Джерард усмехнулся. Ему не хотелось омрачать их радость в эту ночь, но он-то знал, что не в Библии — главное доказательство их правоты.

— А какие еще вопросы? — спросил он.

— Еще вот так: «Разве частная собственность не была принесена в дом общности путем убийства и грабежа, и тем же путем хранится и поддерживается? И разве бесстыдные дела эти не прикрываются фиговым листком постов, благодарений, разных доктрин, богослужений и проповедей?»

Диггеры одобрительно зашумели, мальчики засмеялись и завозились. Хогрилл нахмурился:

— Ты еще спроси, как бедняки могут прокормиться на восемь или десять пенсов в день? Больше ведь нам не платят даже за самую тяжкую работу. Или они хотят, чтобы мы все по миру пошли?

— Когда кто-нибудь украдет овцу, — вставил Чайлд, — его тащат чуть ли не на виселицу. А сами грабят нас каждый день. Ты это тоже напиши. Пусть и моя лепта будет.

— Это замечательно, Роберт, — сказал Уинстэнли тепло и серьезно. — Я завтра же поеду в Лондон и отдам это Калверту печатать. Я тоже закончил кое-что, называется «Новогодний подарок парламенту и Армии». Я так и написал: «Англия — это тюрьма. Хитроумное крючкотворство законов поддерживается мечом, замками, засовами и воротами тюрьмы. Юристы — тюремщики, а бедный люд — заключенные, ибо если человек попадет в лапы кого-нибудь из них, от бейлифа до судьи, то он или погибнет, или останется разоренным на всю жизнь».

— И это напечатают? — спросила Элизабет.

— Цензура в Республике отменена. Калверт еще и не такое печатает, — Джерард обвел глазами утомленные лица диггеров. Свеча догорела, пора было расходиться.

— Друзья мои, — сказал он, — не может быть, чтобы дело наше пропало. Будем надеяться, братья. Истинная религия и состоит в том, чтобы возвратить землю, которая была отнята у нас завоевателями, простому люду, и тем освободить угнетенных.

Он встал, за ним поднялись остальные. Женщины будили задремавших, ослотивших детей. Кто-то распахнул дверь, и крик удивления и радости вырвался из груди Джона: над землею вставало солнце. Впервые после долгих месяцев мглы и тумана лучи его празднично засияли на принаряженном, припорошенном снегом холме, на верхушках деревьев.

## 4. РАНТЕРЫ

— Ты должен взять эти деньги, не для себя, для них.

— Я не могу, пойми, Элизабет. От тебя — не могу.

Она взглянула на него и поразились: какие бледные у него губы.

— Не могу, — повторил он. — Убери их совсем.

— Но ты же знаешь, что эти деньги мои, только мои. Это то, что завещал мне отец. Я теперь сама себе хозяйка.

— Я понимаю, Элизабет, но именно потому и не могу. Не заставляй меня объяснять.

Они сидели вдвоем в его хижине. С той ноябрьской встречи они стали друзьями, между ними не было больше недомолвок. Элизабет помогала колонии, чем могла: носила из дома еду, одежду, разные мелочи, необходимые в хозяйстве, лекарства для детей. Диггеры встречали ее всегда с радостью. Они немного оправились от последнего погрома: отстроили хижины, занимались ремеслом, кое-что продавали. Но жизнь была скудна и тяжела — едва сводили концы с концами.

За окошком сгустились зимние февральские сумерки. Было холодно.

— Но как же вы проживете? Вы уже и так голодаете.

— Проживем. Скажи лучше, куда пропал Джон?

Она все еще сжимала в руках мешочек с деньгами.

— Джон теперь ходит к этим... к рантерам. И Роджер Сойер с ним тоже. Из Лондона пришел их проповедник, Лоуренс Кларксон.

— Кларксон? Я, кажется, что-то слышал. И что же?

— Они собираются у Бриджет в доме. Что они там делают, я не знаю, но, когда он приходит от них, пахнет от него гадко: вином, табаком... Ты поговори с ним, а?

— Хорошо. Я понимаю, у нас сейчас трудно. Чтобы сохранить веру в успех, нужна огромная сила, выдержка. А мальчику хочется удовольствий, радостей, хочется немедленных улучшений. Он уже небось и на девушек заглядывается, а? — Лицо его потеплело, он положил ладонь ей на руку. Она встрепенулась и потянулась к нему.

— Я отказала Платтену. Грех не держать обещания, но еще больший грех делать то, против чего вся душа твоя восстает... Он пришел в ярость, затрясся весь. Начал кричать... я уже не помню точно, на меня будто столбняк нашел. Что я падшая женщина и продала душу дьяволу. Что стоит ему захотеть, и меня привяжут голую к телеге, протащат через весь город и высекут на базарной площади как ведьму или уличную девку. — Она закрыла лицо руками. — Но главное, знаешь, что он твердил? Что для него не секрет, чьих рук это дело. Что он будет жаловаться, добьется искоренения зловредной ереси и разорит, как он это сказал... гнездо богохульства.

За дверью раздался шум, возня, слышались удары. Элизабет вздрогнула. Джерард встал, открыл дверь.

— Джон, Роджер, вы как раз и нужны. Что это вы такие веселые?

В хижину вместе с морозным паром ввалились четверо: Джон с Роджером, Уриель и сухонький подвижный человек лет сорока. Небольшое личико бороздили морщины, темные волосы были расчесаны гладко, даже с некоторым щегольством. Губы его были тонки и очень красны, взгляд небольших серых глаз цепко останавливался на собеседнике.

Он уселся рядом с Элизабет, сбоку быстро глянул на нее, потом уставился на Уинстэнли.

— Что-то, брат, лицо у тебя невеселое. Или не соглашается?

Джерард вместо ответа вопросительно посмотрел на мальчиков. Джон, усевшийся было вместе с Роджером на кровать, вскочил. Лицо его пылало.

— М...мистер Уинстэнли, это Лоуренс Кларксон из Лондона. Он... проповедует здесь... почти то же, что и вы...

Роджер сидел молча и тихо икал. По комнате распространялся запах лука и винного перегара. Длинный Уриель с восторгом смотрел на Кларксона безумными блестящими глазами. Тот повернулся к Элизабет:

— А вы будьте добрее, уступите. Сейчас все сердца раскрылись и все объятия распахнулись.

Элизабет вспыхнула.

— Почему вы так со мной разговариваете? Со мной так никто не говорил...

Он не дал ей закончить:

— А почему я должен говорить с вами, как все? Всем, может, нельзя, а мне можно. Да и всем можно. Все мы дети божьи, значит, все братья и сестры. Нам все твердят — душа, душа, бессмертие души, а о теле и забывают. Я вот, например, считаю, что ни посты, ни всякие там моления и воздержания богу от нас не нужны. Мы — твари земные, как скоты или куры, ничем не хуже, и должны получать все, что нам требуется. А запрещать себе или кому-нибудь другому — преступление. За него надо в тюрьму.

Джерард внимательно изучал подвижное, с жестким выражением лицо. Кларксон частил быстро и гладко, не останавливаясь:

— Христос умер за всех, так? Значит, все наши грехи — не только христиан, но и турок там каких-нибудь — все прощены. Это и есть вечная благодать. А то думают некоторые, что бедные все дураки и их можно обмануть всякой там чепухой о загробном воздаянии. Наше

рабство — их свобода, наша нищета — их богатство. А мы — не такие уж дураки, правда, ребята? — он подмигнул Джону и Роджеру. Те слушали заворуженно. Джерард хотел было возразить, но Кларксон напористо продолжал:

— Я один раз в тюрьме сидел, в Ковентри. Подставил скамейку, гляжу в окошко — мимо люди идут. Ну я высунул голову, стал проповедовать. Толпа собралась — страх! Как на ярмарку. Я им говорю: у тебя много мешков с деньгами, но смотри! Я, господь, приду, как тать в ночи, с ножом в руке и скажу: а ну давай кошелек! Давай, живо! Давай сюда, а не то я перережу твою глотку! Давай его мне, для разбойников и воров, распутных девок и карманников, которые голодают в зачумленных тюрьмах и мерзких подвалах! Они ведь плоть от плоти твоей, и каждый из них в глазах моих не хуже тебя, жирная свинья! Ты видишь, моя рука уже протянулась к тебе. Ты не видишь. Но она протянулась, твое золото и серебро поест ржа, тело твое прогниет изнутри, его пожрет огонь, и ты узнаешь, что нет бога и дьявола, нет света и тьмы, все едино, все общее, все наше!

Элизабет забыла про свою обиду и смотрела во все глаза. Кларксон уже почти нравился ей. В нем угадывалась буйная сила, постоянная готовность к нападению и отпору. Джерард быстро спросил:

— Вы в самом деле хотите поднять меч против богатых?

— Не меч, — тотчас же вскинулся он, — меч ничего не решает. Зачем проливать кровь? Куда лучше напиваться до полусмерти семь раз в неделю и обнимать шлюху на рыночной площади. Думаешь, это хуже, чем отбирать у бедного пахаря последние гроши? — Он победоносно оглядел присутствующих. — Вы скажете, это разврат, я живу в разврате. А когда бедные в тюрьме кричат: «Хлеба, хлеба, хлеба ради Христа!» — это не разврат? Я считаю, что правители и лорды должны ноги целовать у этих вшивых бедняг! Это их собственная плоть и кровь, мы все — увечные, бродяги, нищие, шлюхи, воры — все одна плоть и кровь с богатыми.

Дверь открылась, в хижину вошли Хогрилл, Том, за ними, прихрамывая, Генри.

— Джекоб приехал, — сказал Хогрилл. — Про обязательства расскажет.

— Вот и еще братья, — Кларксон проводил вошедших глазами. — Садитесь, садитесь, не стесняйтесь, какие там обязательства. Вот они, хромые и увечные, соль земли, слава господя. Я, господь, всем рад, потому что во всех вас пребываю.

— Вы — господь? — спросила Элизабет, с изумлением посмотрев на Кларксона.

— Да, я бог. И дьявол тоже. Тот самый змий, понятно? — Его рука изогнулась и, подобно змее, поползла к девушке, будто намереваясь обвиться вокруг нее. Он зашипел, лицо его стало свирепым. Генри нахмурился и по привычке схватился за пояс, там, где прежде торчал эфес шпаги.

— Ну вы, поосторожней. А то как бы вас кара земная...

Кларксон не дал договорить:

— А что я? Я только говорю, что бог находится везде, в человеке и звере, в рыбе и птице, в любом цветке, травке, скотинке. Свет и тьма, дьявол и бог, небеса и преисподняя — не все ли едино?

Он достал из кармана трубку, постучал ею об стол, набил табаком из тряпицы и принялся высекать огонь. Все смотрели на него и молчали. Курение табака было еще новостью. Говорили, что оно так же возбуждает и одуряет, как вино. Элизабет отодвинулась. Кларксон пустил изо рта клуб дыма, в глазах зажегся веселый огонек.

— А греха, я вам говорю, нет совсем. То, что делается с чистым сердцем, чисто. Грех умер, с ним покончено. Если вы — братья во Христе, все законы земные значат для вас не больше, чем законы Англии — для Испании. Вы все равны, как дети перед отцом.

— Вы правы, — неожиданно сказал Уинстэнли. — Бедняки — соль земли и должны получить свободу. Тут я согласен. А вот о грехе — нет. Если нет греха, нет и ответственности.

Кларксон улыбнулся, показав желтые зубы.

— А зачем ответственность? Все в боге, все от бога. Вы только осознайте это, и вам

сразу станет легко. Грех — часть божьего замысла. Мы — как реки. Пока живем, отдельно от океана, каждый вроде бы сам по себе. А помрем — вольемся в океан и растворимся в нем, только и всего. Но что-то холодно у вас тут сидеть, да и скучно. Мистрисс Стар меня уж заждалась небось...

Он встал, одернул куртку, твердо глянул на Уинстэнли.

— Вы, если хотите, приходите сегодня вечером, попозже. Мы у Бриджет остановились, там лишних глаз нету. Может, понравится. Вот мальчишки, по-моему, довольны, а? — Он церемонно поклонился Элизабет и пошел к двери, но дверь сама, словно по волшебству, отворилась. На пороге стоял Джекоб. Ему пришлось нагнуть голову и втянуть могучие плечи, чтобы войти в хижину.

— Осторожнее, лоб пробьешь, не на чем клеймо ставить будет, — донесся снаружи бойкий говорок Кларксона. Джекоб обернулся и, ничего не ответив, прикрыл за собой дверь. Сел к столу.

— В общем так. Был я в Лондоне, Кенте и Бекингемшире. Расспросил народ. Только и разговору что об обязательстве.

— Какое обязательство? — спросил Джон.

— Проснулся. Хотя ты несовершеннолетний... Парламент выпустил обязательство, которое должны подписать все взрослые люди Англии, понял? Обязательство верности Республике. Сбегай-ка лучше за Полмером и Уиденем.

Джон встал, мотнул головой Роджеру — пойдем вместе? Уже взявшись за ручку двери, спросил:

— А мы? Мы подписывать будем? Диггеры?

— Об этом и речь, Джон, — сказал Уинстэнли. — Вы обегите сейчас хижины, соберите всех, и из деревни тоже, а мы пока поговорим.

Мальчиков будто ветром сдуло; взрослые обернулись к Джекобу.

— Так вот, — сказал он, — большинство все-таки за то, чтобы подписать.

Бледные губы Генри скривились.

— Клятву верности этой республике? Вы понимаете, что это значит? На новые цепи соглашаться?

— Не горячись, — остановил его Уинстэнли. — Послушаем Джекоба.

— Значит, доводы выдвигают такие. Во-первых, если мы поддержим настоящее правительство, без короля и палаты лордов, мы тем самым выступим за сменяемые парламенты. Это гарантия от продажности властей. Тех, кто долго сидит у власти, легче купить, так?

— Республику не успели установить, а уже продажность! — опять вскипел Генри. — Надеяться на эту республику глупо, сотрудничать с ней — преступление. Лучше уж договориться со Стюартом.

— Ишь как он сразу — с принцем договориться! Да возвратиться к монархии — это сунуть голову в старое ярмо! Ты выслушай сначала. А второй довод, Джекоб?

— А во-вторых, они говорят, что, раз королевская власть отменена, это дает беднякам право пользоваться землей.

— Ну правильно, я давно об этом твержу.

— Да где ж это ваше право? — голос у Генри сорвался от обиды. — Где вы видели общую землю? Вас мало гоняли с места на место? И в тюрьму не сажали за общую землю?

— Но при короле над нами была тирания. Произвол завоевателя. А сейчас мы все имеем право избирать представителей.

— Каких представителей? Ты когда-нибудь их избирал? Сорокашиллинговый ценз<sup>3</sup> как был при короле, так и остался.

---

<sup>3</sup> По старинным английским законам, не отмененным революцией, право избирать в парламент предоставлялось только тем, кто имел не менее 40 шиллингов годового дохода.

Том Хейдон обратился к Джерарду темные голодные глаза:

— А не захватит ли парламент такую же тираническую власть, как прежде король или лорды?

— Мне кажется, нет, — добродушно ответил за него Джекоб. — Они представители народа, так? Значит, должны уступать свои места другим. Иначе это будет тирания, а не республика. Они сами нарушат свое обязательство, и мы вправе не соблюдать наше.

Вошли Полмер, Бикерстаф, Джилс Чайлд, Колтон, Уиден и Джон с Роджером. Молча встали вокруг стола.

— Друзья мои, — Джерард встал. — Мы с вами до сих пор о государственной власти не думали. Делали свое дело. Теперь перед нами вопрос: поддержать ли Английскую республику? Поддержать ли ее, подписав клятву верности нынешнему правительству, весьма далекому от совершенства, или отвергнуть всякий договор с ним?

— А как другие-то? — спросил Полмер. — Что люди-то говорят?

— Бедняки в общем согласны, против — лорды, священники, ростовщики, юристы. — Джерард посмотрел на Генри. — Они и вправду заинтересованы в возвращении монархии.

— Не хотят, значит, как братья, жить с другими, — задумчиво вставил Бикерстаф.

— И вот еще что, друзья, — Джерард оглядел серьезные, изможденные лица. — Парламент объявил, что его цель — установить свободу для народа. Я думаю, мы должны поддержать их на этом пути, если хотите — вести, толкать их дальше, помогать... Что они без нас? Нас большинство. Давайте же действовать, давайте строить. И тогда мы сможем потребовать от них свободы распоряжаться землей — что может быть важнее? Я напишу об этом. И для вас, и для всех бедняков Англии. А сейчас нас пригласили рантеры. Вам, мисс, я думаю, не стоит туда являться, мы вас проводим домой. И мальчики пусть останутся. А мужчины, кто хочет, идемте.

В комнате было жарко, дымно, шумно. Пахло жареным мясом и пивом. Уинстэнли испытывал блаженное ощущение тепла — он намерзся в своей землянке. Бриджет, как всегда растрепанная, выплыла им навстречу.

— Входи, Джерард, давно тебя не видала.

Она поставила перед ним тарелку с дымящимся ароматным мясом и кружку эля.

Джерард огляделся. В комнате горели свечи, пылал очаг. Огромная кровать в углу покрыта красным. За столом посредине сидел довольный Кларксон рядом с женщиной, еще молодой, пухленькой, с большими голубыми глазами и глуповатой улыбкой. Белокурые волосы ее в беспорядке рассыпались по обнаженным плечам. По правую руку от нее Уриель усиленно налегал на мясо. Еще трое или четверо незнакомых молодых мужчин, скорее, юношей, поместились с другой стороны. Среди них была дурочка Мэри, с огромным, непристойно обтянутым ветхим платицем животом: бессмысленно улыбаясь, она раскачивалась взад и вперед, расплескивая пиво. Кларксон кивнул вошедшим, словно он был хозяином, и продолжал рассказывать:

— Так вот, я тогда уже стал проповедником у анабаптистов, странствовал по средним графствам. Забрел в Сеффолк и остановился там у Роберта Марчанта. Они все меня приняли с радостью, особенно дочка. И одна мне очень понравилась. Френсис взяла меня за самое сердце. Такая благовоспитанная, умная девица. Я забрал ее с собой, и мы несколько месяцев бродили с ней и другими анабаптистами, крестили людей и жили чудесно.

При упоминании имени Френсис блондинка стала проявлять признаки беспокойства; лицо ее вытянулось, она надула губки и сердито посмотрела на Кларксона.

— Раз я проповедовал на церковном дворе, в церковь не пустили. Толпа собралась — ужас. Проповедник кончил при пустых скамьях — все ко мне высыпали. Ну, я пошел на его место, толпа за мной. Шум, гам, мятеж, солдаты пришли, нас схватили. Меня на лошадь посадили, чтобы в суд везти, в Эйбери; тогда Френсис говорит: я ему жена, мы едины плоть. Села сзади меня, ухватила за пояс, так мы и добрались. А там уж прослышали, что к ним везут великого анабаптиста, народу на улицах — тьма. Вечером нас привезли в гостиницу.

Мы заказали всего: еды, выпивки сколько душе угодно. Поели и улеглись с моей душенькой, а солдаты караулили в соседней комнате. Наутро нам говорят: платите за пиво, вино и еду. А я им: нет у меня ничего, а если бы и было, не заплатил бы. Довольно того, что свободы меня лишили. Ладно, говорят, пошли в суд, если тебя не повесят, ты нам заплатишь...

Джерард слушал. Мясо источало аромат, было горячим. После долгих месяцев сурового поста, после похлебки из корней и черных лепешек оно казалось ему непозволительной роскошью. Тело отошло в тепле, он вытянул под столом ноги. Бриджет загасила одну свечу, другую. Села рядом и прижалась к нему плечом.

Рассказ Кларксона казался нескончаемым. Сидевшие за столом смеялись. Джерард взглянул на его спутников: они не внушали доверия. Лица нечисты, кожа угреватая; взгляд у одного тупой, у другого ускользающий... Они походили на карманников и воришек. Двое курили трубки, третий тискал колени дурочки.

— ...А потом они ввели мою Френсис, — веселясь, продолжал Кларксон, — она подошла ко мне и тут же взяла меня за руку. «Это ваш муж?» — спрашивает судья. «Муж». — «Кто выдал вас замуж?» — «Мой муж с согласия моих родителей и церкви». Они все покатились: муж, говорят, не выдает замуж, а берет. Я тут рассердился, говорю: брак это свободное согласие любить друг друга перед богом. Этого довольно. Тогда, отвечают, ваш брак незаконный. «По-вашему незаконный, а по-моему законный». Ну, потеха была! Короче, они посадили нас вдвоем, но не в простую тюрьму с ворами и бродягами, а в специальное помещение для джентльменов...

Лицо его вдруг стало серьезным, он схватил с тарелки кусок мяса и крепкими пальцами разодрал его пополам.

— Вот тело Христово, — произнес он торжественно. — Берите и вкушайте.

Даже отпетые бродяги оторопели. Никто мяса не взял. Жир стекал по пальцам. Кларксон подождал и положил мясо на тарелки к мистрисс Стар и дурочке Мэри. Потом поднял кружку с элем:

— А это кровь Христова. Пейте ее все. — Он обвел шальными глазами присутствующих, обернулся назад и плеснул из кружки в очаг. Пламя зашипело, на решетке выступила пена.

— Грех-то какой! — выдохнул Том. — Как вы можете?

— Грех? — живо обернулся к нему Кларксон. — Кто сказал грех?

Он вскочил, схватил свечу со стола, поднял ее над головой.

— Где вы видите грех? Нет? Давайте искать.

Он живо нагнулся и залез под стол, шаря там и хватая женщин за ноги. Те взвизгивали. Его голова и рука со свечой показались наконец с другой стороны стола.

— Там греха нет, я все обшарил. Может, под кроватью? — он полез под кровать, подняв красное покрывало.

— И там нет. Где же он? — Он встал. — Греха нет вообще. Его выдумал человек. И когда он поймет, что греха нет, тогда он очистится и все дела его станут безгрешны.

Джерард поднял на него спокойный, твердый взгляд:

— Если нет греха, значит, можно грабить бедных, тащить в тюрьму невинных, вешать...

Кларксон придвинулся к Уинстэнли:

— На покури. — Он протянул трубку. — Пробовал когда-нибудь?

Джерард отстранился. Кларксон стал совать мундштук ему в рот:

— Да ты попробуй. Все твое, все наше. Это я говорю тебе, я, господь, и, что я делаю, всем другим можно.

— А какая завтра погода будет, вы можете сказать? — мрачно спросил Том. — Если вы господь, вы должны знать.

— Про погоду я не знаю, — живо отпарировал Кларксон, — а знаю про страну Кокейн:

*Пускай прекрасен и весел рай,*

*Кокейн гораздо прекрасней край.  
Ну что в раю увидишь ты?  
Там лишь деревья, трава, цветы...  
Нет ни трактира, ни пивной.  
Залей-ка жажду одной водой!*

Он хлопнул в ладоши:

— Псалом, братья! — и затянул на мотив церковной мелодии чудовищную похабщину. Молодые люди подхватили, один подсвистывал в такт.

Кларксон обнял обнаженные плечи блондинки и приник к ним лицом. Последняя свеча догорала. Джерард почувствовал пьяное, жаркое дыхание Бриджет у своего уха.

Он отвел от себя липкие руки и встал. Генри, суровый и трезвый, стоял рядом. За его спиной — Том и Хогрилл. Джерард шагнул им навстречу, и они четверо вышли на морозный, очень свежий февральский ночной воздух.

## 5. «ОПРАВДАНИЕ»

Пастор Платтен сидел у себя в библиотеке и внимательно изучал трактат. Этот человек, Уинстэнли, поистине дьявол. Он и здесь умудрился оставить его, Платтена, в дураках. Pamфлет назывался «Раскрытие истинного духа Англии».

После того как Элизабет столь неожиданно и твердо отказала Платтену, после всей этой безобразной сцены (как мог он, пастор, слуга божий, так забыться и облить женщину потоком грубых угроз!) ему стало совершенно ясно, что с копателями и их вождем надо покончить как можно скорее.

Но как покончить? Фэрфакс тогда с трудом согласился послать солдат, вряд ли он сделает это во второй раз. Да и диггеры сидят в норах, не вылезают. Февраль на дворе. С разгоном надо подождать до весны, до пасхи.

Пастор перелистал памфлет до конца. Последние две страницы занимало приложение под названием «Призыв». Брови Платтена поползли под очками вверх. Это было обращение к женщинам с призывом не участвовать в собраниях рантеров. «Их свобода, — писал Уинстэнли, — суетна и пуста; а если вы от таких рантерских радений зачнете младенца, то знайте, что отца у него не будет. Он оставит вас и уйдет, пользуясь своей свободой, к другим женщинам».

Далее в приложении говорилось, что диггеры никакого отношения к рантерам не имеют. Наоборот, если кто скатится до рантерства, значит, он перестал быть диггером. «Эта приманка обманных удовольствий, — читал пастор, — соблазняет глупых юнцов и ввергает их в рабство. Она питает праздность, жестокосердие и лживость, заставляя людей говорить одно, а делать другое, чтобы наслаждаться все больше. Она наполняет тело болезнями, мерзостью, отравой и сифилисом, а в душу вселяет гнев, недовольство и раздражение; это царство сатаны внутри вас...»

Для чего этот человек так старательно открещивается от рантеров? Он боится, что его копателей спутают с развратниками и пьяницами. А не замешать ли его в их делишки? Его видели выходящим из дома Бриджет, шлюхи, которая дала пристанище Кларксону и его друзьям. Может, они и в самом деле связаны?

Это была блестящая мысль. Смешать врага с грязью, объединить в людской молве с подонками, потаскухами и ворами! Отлично!

План действий мгновенно сложился. Дать знать церковным властям Кингстона... нет, и Лондона тоже. Пагубная ересь, как чума, разъедает страну. Мало того что некие отребья, именующие себя диггерами, хотят сделать общей землю, они хотят ввести общность жен! Их надо отлучить от церкви. Ах боже мой, как яростно все они, и Принн, и пастор Платтен, боролись десять лет назад за отмену церковных судов и добились своего, а вот сейчас и пожалеешь... В застенки бы их, на дыбу! в Высокую комиссию! Нет, имел смысл надзор за



совестью, строгий контроль за нравами, имел... Вот вам плоды свободомыслия... И в парламент написать. Пусть составят комитет, издадут акт о наказании атеистических, богохульных и гнусных ересей. Тюрьма, штраф, изгнание, галеры — что угодно, лишь бы пресечь...

В доме стояла мертвая тишина. Пастор писал в Лондон.

— Элизабет, ты не должна ходить к нам так часто.

— Но почему же, почему? — в голосе ее звучала тоска.

— На тебя не должна падать тень. Сейчас еще эти рантеры... Кое-кому очень хочется показать, что мы с ними — одно... Элизабет, пойми, — мягко сказал он, — сейчас еще не время...

Глаза ее сверкнули.

— Но когда же, когда? И придет ли оно, это время? Разве мы не свободны уже сейчас? Ты сам говорил о свободе.

Он усмехнулся невесело.

— Свобода не может быть безграничной. Тогда это не свобода, а распущенность. Как у рантеров. Такая свобода не дает счастья. И полноты жизни. На всякую свободу должен быть свой закон.

Она опустила голову.

— Ты хочешь, чтобы я ушла совсем? Но у меня здесь братья...

Он отвернулся к окну, нахмурился. Сжал руки.

— Когда-нибудь придет день... Надо только не терять веру. Я говорю тебе: время наше настанет. Для нас всех. И для нас с тобой.

Он подошел к ней, в глазах была мука. И вдруг она поняла. Пока остаются господа и слуги, пока она, Элизабет, почитается как дочь дворянина и офицера, а на Джерарда смотрят как на нищего поденщика, пока, наконец, существуют старая церковь, и обычаи, и предрассудки, и этот его брак с Сузан, давно сметенный временем, но живущий в сознании людей, — не видать им счастья. Он будет отдавать жизнь колонии, снова и снова возрождать ее и отстраивать. Для него это — главное в жизни. А она...

— Хорошо, я постараюсь не приходить сюда, — сказала она, не глядя ему в лицо. — Эти деньги я оставляю для братьев. Пока Генри не получил свою долю. Это необходимо.

Она положила на стол вышитый тугой мешочек и шагнула к выходу. Он ее не удерживал. Перед ним мелькнул нежный профиль, трогательно обрамленный чепцом, тонкая шея, выступавшая из складок темной пуританской шали. Дверь закрылась.

Он писал: «Оправдание тех, чье намерение — сделать землю общей сокровищницей, тех, которых называют диггерами. Или некоторые основания, составленные ими против неумеренности в использовании дара творения, или необузданной общности женщин, что носит название рантерства».

Рантерство разрушает мир в семье, и муж и жена уже не могут любить друг друга: мужчины топчут домашний очаг и оставляют своих детей сиротами, женщины забывают долг материнский и супружеский.

А еще рантерство рождает праздность, ибо эти дети неразумия не хотят работать, да и не могут. А для вина, мяса и продажных женщин нужны деньги. Задумались ли вы, откуда у них деньги? Одни воруют, другие проповедуют на базарных площадях и потом, как циркачи, обходят с шапкой доверчивых слушателей, третьи показывают фокусы или занимаются магией, четвертые составляют гороскопы. И все обирают и обманывают бедняков, которые выращивают хлеб в поте лица.

Так он писал, стремясь заглушить в себе боль утраты и изгнать из памяти это лицо, застывшее в отчаянии, эту тонкую шею под белым чепцом. Надо думать о колонии. Вот его дело, его совесть, его страсть. Ничто другое не должно отвлекать его, ничто другое — затемнять ясность духа. Если уж берешься стоять за справедливость — будь чист сам, будь

достоин этой правды.

А рантеры? Лучше всего, если они сами бросят свои пагубные увлечения и придут к диггерам, чтобы жить чистой трудовой жизнью. Это для них — самый правильный выход. Но если нет — все равно он не призывает сечь их, тащить в тюрьму или клеймить железом. Он жалел их: они заблуждаются от бедности, темноты своей жизни. А захочешь наказать их, написал он, и впервые слабое подобие улыбки тронуло его губы, — посмотри на себя.

Что-то тяжело стукнуло, упав на утоптаный земляной пол. Он нагнулся: то был вышитый тугой кошелёк, который оставила Элизабет, уходя из колонии. Джерард поднял его и сжал в руке. На эти деньги диггеры могли просуществовать ещё месяц.

## 6. «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Только не впасть в отчаяние. Не дать одолеть себя этому мраку апатии и лени, который парализует мысль, а жизнь делает безрадостной серой ямой, без смысла, без выхода...

Денег нет, колония голодает. Дети с утра начинают цепляться за материнские юбки и просить хлеба. Мужчины суровее с каждым днем, Роджер и Том тают на глазах... Ему снова пришлось убедить их рубить леса и продавать бревна, рискуя навлечь на колонию гнев соседей. Но и на вырученные гроши купить что-нибудь трудно, во всяком случае в Кобэме и Уолтоне. Запрет бейлифа сохраняет силу, двери лавок закрываются, едва диггеры показываются на улице. За скудным пропитанием приходится ездить за тридевять земель, в Кингстон или Гилфорд.

Но главное — Джерард чувствовал, что какая-то сила, прежде помогавшая пережить трудные времена и беды, ослабла, иссякла. Они не верят больше... Приближается время сева, время новой работы, а сил для нее, внутренних сил, надежды нет. Глаза прячутся от его взгляда, а в разговоре то у одного, то у другого проскальзывает печальная нота: зря все это... Все равно разгонят...

Он присмотрел новое поле — вересковую пустошь, ровную, солнечную, у подножия холма. Может быть, здесь им суждено собрать урожай новой жизни?

Том Хейдон ездил на север и привез неожиданную новость: он узнал, что какие-то люди собирают в разных местах деньги от имени диггеров и даже имеют с собой бумагу, на которой стоит имя Джерарда Уинстэнли. Но никаких денег они не получали. Уж не Кларксона ли это дело? Он отбыл из Кобэма со своей свитой недели две назад. А с его неразборчивостью в средствах добывания денег... Диггеры тогда посмеялись вместе, невесело посмеялись, и он дописал в готовое уже «Оправдание» просьбу присылать собранные средства с верным человеком в Кобэм и передавать из рук в руки. Но денег не было, Элизабет ушла, Генри ходил чернее тучи и хромал больше обычного, Джон все чаще ночевал дома, у матери, и избегал разговоров. Они не верили больше...

Какой верой горел он сам полтора года назад, когда писал свои первые трактаты! Как легко, как уверенно думал о будущем, какие силы черпал из этих размышлений! Как Моисей в пустыне, видел он перед собой куст терновый, который пылал чистым пламенем, но не сгорал, и голос духа вещал ему из огня, и сам он возгорался тем же чистым бездымным полымем...

Его новый трактат так и будет называться: «Неопалимая купина, или дух горящий, но не сгорающий, но очищающий род людской». Пусть горит огонь правого дела. Он прежде убеждал лорда Фэрфакса и военный Совет, Армию и парламент, наконец, всех англичан — и не получал ответа. Теперь он обратится ко всем церквам Англии — пресвитерианам, индепендентам, анабаптистам, фамилистам, рантерам...

Он начал писать, и снова дни смешались с ночами и его естество почти совсем отказалось от пищи. Любовь исторгала слезы жалости к беднякам, страдающим безвинно в стране, полной хлеба, и мяса, и вина, и земли. Соедините же ваши руки и сердца, почти кричал он, и крик этот падал словами на белые листы бумаги, освободите землю!

Туман вползал сквозь щели в ставнях, просачивался под дверь. Красный в неверном

свете лучины, он заволакивал взор, и в нем виделись кровавые апокалипсические сражения. Блистал латами, и оперенным шлемом, и мечом архистратиг Михаил, глава небесного воинства; перед ним извивался стоглавый дракон, извергая из пастей серное пламя. Из-за спины дракона, из моря, которое было всем родом человеческим, вылезали четыре чудовища. Первое было похоже на льва с орлиными крыльями — это королевская власть, поработившая народ. Второе было подобно медведю — это власть, несправедных законов, отнимающих у бедняков их достояние. Третье чудовище, барс, означало воровское ремесло купли-продажи земли и ее плодов. И вот зверь четвертый вставал из моря: у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен от всех остальных зверей: десять рогов у него. Это духовенство, другое имя которому — Иуда, он воистину отец всем остальным.

Он отрывался от стола, вставал, с трудом распрямляя онемевшие ноги. Тяжкая боль давила грудь, спину пронзали кинжалы. Он задувал лучину и, сделав три неровных шага, падал на холодное жесткое ложе, чтобы забыться на время.

Однажды ему снилось, что он приговорен к смерти. Он стоит в веренице людей, таких же, как и он, ожидающих казни. Впереди трудится палач, то и дело взмахивая остро отточенным топором. Каждый подходит к плахе, преклоняет колена, кладет голову на изборожденный предыдущими ударами обрубок дерева; взмах топора — и голова катится прочь, тело убирают, а к плахе шагает следующий. Джерард подвигается к неминуемой казни вперед, шаг за шагом, вместе со всеми, но в душе его живет надежда, что с ним, именно с ним, такого быть не может: что-то спасет его. Но вот он почувствовал, что палач взмахнул топором над ним и... чуда не произошло. Он явственно ощутил, как топор упал, холодное острие вонзилось в шею. «Что дальше?» — мелькнула безумная мысль, горячая волна крови захлестнула грудь, и он проснулся.

В хижине было темно. Что-то тихо потрескивало в углу под окном. Джерард сел, огляделся. До рассвета, видно, еще далеко. Станный сон.

Спать больше не хотелось. Он встал, высек огонь, зажег лучину. Подошел к столу, на котором в беспорядке валялись исписанные листы.

Он задумал этот трактат как полное осмысление духовной и земной жизни человека. В нем должно быть тринадцать глав: «Что есть древо познания добра и зла», «Что есть древо жизни», «Что есть человек»... Готовы были семь глав из намеченных тринадцати.

«...Те, кто живут внешним, — читал он, — полны внутреннего беспокойства; их пробирают многие горести; рабский страх в душе их заслоняет дорогу к древу жизни; они не осмеливаются жить жизнью свободной общности...»

«...Вы, угнетатели, властители мира, вы, кто думаете, что бог благословил вас, потому что вы сидите на троне, с которого изгнали прежних тиранов! Помните ли вы об этом? Вас свергнут, свергнут, свергнут!»

Дверь стукнула. Он поднял голову, хижина поплыла перед глазами, перо упало. Слабой больной рукой рванул ворот, глотнул сырого свежего воздуха... Перед ним стоял Генри.

— Ты подожди. Подожди... — проговорил Джерард, боясь потерять мысль. — Сядь, почитай пока. Мне чуточку осталось...

Он не глядя сунул в руку Генри пачку исписанных листов и снова склонился над столом. Нельзя было закончить седьмую главу, не сказав о грехе. Самом большом грехе мира. Собственно, их было два. Первый — когда человек запер сокровища земли в сундуках и домах. Второй грех подобен первому и имеет ту же природу. Это — захватить землю силой меча и потом, согласно своим собственным, придуманным законам, вешать и казнить всех, кто берет ее плоды для нужд своих.

— Ну и ну, — проговорил Генри, не поднимая головы от листов. — Ты думаешь это напечатать?

— Непременно. — Джерард дописывал последнюю фразу.

— Тебе что, в Тауэр очень хочется? — не отставал Генри. — Тебе здешних лордов мало, ты и на правительство замахнулся?

— Я на правительство не замахиваюсь. Я хочу сказать им правду.

— Ну как же, тут сказано, что наше правительство от антихриста. И управляет «по тираническому закону». Ты забыл указ: «Кто назовет нынешнее правительство тираническим, узурпаторским или незаконным, виновен в государственной измене». Это не шутка, за это смертная казнь полагается! — Генри сердито потряс листками.

— Ложное правительство и ложную церковь действительно следует низвергнуть. И мы сделали первый шаг, предав короля казни. Теперь надо строить.

Генри всплеснул руками.

— Ну вот, поговори с ним! Когда я ему толкую о том, что надо действовать, вырвать власть из рук злодеев, он отвечает, что он против насилия, закликает не поднимать меча. А сам призывает все ниспровергнуть — правительство, церковь, законы, собственность! Да ты гораздо опаснее для них, чем Лилберн!

— Опаснее?.. — Джерард задумался. — Может быть, ты и прав. Левеллеры, и Лилберн в их числе, хотят заменить власть короля и аристократов властью мелких владельцев — ремесленников, фригольдеров... Я же здесь говорю о другом — об истинном равенстве всех людей, об общности, об объединении всех в одно братство.

— Ну хорошо. — Генри встал, прихрамывая, подошел к окну. — Но ты только что призывал всех подписывать клятву верности Республике. Писал «Открытие духа Англии». А сейчас требуешь ниспровергать?

— Я хочу показать цель, куда мы должны идти. Конечную цель, понимаешь? Там действительно не будет ни лордов, ни правителей, ни власти вообще. И церкви продажной не будет. Но сейчас нам надо поддержать Республику: она сделала немало. Она осмелилась казнить короля, свергнуть тиранию. И может быть, правителям нашим удастся встать на правильный путь.

— Им удастся, как же... — проворчал Генри. Ему тоже хотелось верить. И не получалось...

По ночам, воровски оглядываясь, они валили деревья в общинном лесу и везли их на продажу. На дорогах встречали беженцев — худых, бледных, как тени. Сколько семей в Англии не имели ни семян для нового сева, ни денег на их покупку?..

А последний раз, возвращаясь на рассвете из Гилфорда, они с Томом наткнулись на мертвецов. Три трупа лежали у дороги — тщедушный мужчина с серым обострившимся лицом, худая женщина и поперек — девочка лет пяти; они лежали на ледяной земле, на лицах и руках чернели пятна. «Чума...» — сказал Том и невольно перекрестился.

Пытаясь отогнать мрачные мысли, Генри спросил:

— А слышно что-нибудь о наших сборщиках пожертвований?

— Да, нам удалось связаться с несколькими графствами. Ты знаешь, у нас есть единомышленники...

— Здесь он, здесь! Давайте сюда! — отчетливо произнес громкий голос, и дверь широко распахнулась. Генри отпрянул в угол, Джерард, заслоняя его собой, сделал шаг вперед.

На пороге стояли Том, Джекоб, Роджер, Колтон, Полмер. За ними толпились женщины. Впереди всех возвышался, опираясь на плечо Джона, черноволосый рослый человек с глубоко посаженными голубыми глазами.

— Вы мистер Уинстэнли? — спросил он хриловатым басом.

— Да, я, — ответил Джерард. — Заходите.

Диггеры вошли, в каморке стало тесно. Незнакомец подошел к Джерарду, торжественно встал перед ним, помедлил.

— Значит, так, — проговорил он и достал из-за пазухи свернутый вчетверо лист. — Мы из Уэллингборо, Нортгемптон.

— Присядьте, — предложил Джерард. — Давайте все сядем.

Крестьяне деликатно задвигали табуретами, расселись. Человек из Уэллингборо снял шляпу, аккуратно положил бумагу перед собою на стол.

— Джозеф Хичкок, — представился он. — Нас, значит, в одном приходе тысяча сто шестьдесят девять человек живут на милостыню.

Кто-то из женщин тихо ахнул. Гость повернулся туда всем телом:

— Я правду говорю. Это чиновники насчитали... Судьи тогда издали приказ по всему городу собирать деньги. Не знаю, когда их соберут... По-моему, никто и не шевелится. — Он снова повернулся к Уинстэнли. — Все, что у нас было, мы проели. Жены и дети плачут. Работы нет. Пойдешь просить — не дадут, красть начнешь — повесят. Да нам и жизнь уж... — он махнул рукой, помолчал. Сказал тихо: — На что такая жизнь?..

Все молчали, смотрели в пол. Джозеф продолжал:

— Так вот, мы решили: довольно нам мучаться. Земля — наша мать, бог дал ее всем для пропитания. Мы, кое-кто из бедняков, собрались, вышли на пустошь Бэршенк и, благословясь духом святым, начали копать, как и вы... Это общинная земля, мы ничьих владений не тронули. Захотят богатые — сами придут, и мы их примем. Правда ведь?

Он посмотрел на диггеров. Джерард улыбнулся.

— Конечно. Вы самый верный путь избрали. И добьетесь успеха, вот увидите. Хотя и горя хлебнете...

Джозеф положил тяжелую ладонь на рукав Уинстэнли и, понизив голос, доверчиво сказал:

— Мы уже кое-чего добились. Благодарение богу, те, кто мог заявить свои права на эту пустошь, нам ее отдали совсем. Не пожалели. А йомены дали зерна на посев.

— Ну вот видите! — лицо Джерарда просияло, он бросил торжествующий взгляд на Генри. — И богатые в конце концов придут к нам. Даже те, кто сейчас против. Правда победит.

— А те, кто против, — добавил Джозеф и оглянулся, словно опасаясь чего-то, — кто против, так они и против парламента. А мы с республикой — заодно.

— Прекрасно. — Джерард, волнуясь, встал с места. — Вам надо написать об этом. Обязательно написать и напечатать, я помогу. Надо, чтобы Англия узнала о вас.

— Да мы уже написали... — Джозеф протянул ему листок. — Мы хотим, чтобы эту нашу декларацию прочел парламент. И чтобы бедняки не отчаивались, а увидели, что господь дает им выход. Чтобы приходили к нам работать.

— Замечательно! Замечательно, — повторил Джерард. — Вот, мы дождались. Англия просыпается. Мы не одни. — Он поочередно останавливал глаза на лицах диггеров, и они светлели, люди тянулись к нему. — Братья! Настало время действовать. Весна на дворе, скоро апрель. Что нам мешает? Довольно слов, пора на поля, за дело!

Он вытянул вперед руки, небольшие крепкие руки, которые могли делать любую работу. Крестьяне зашумели, задвигались. Полмер поднялся с места, пробрался к Хичкоку и, стоя над ним, стал тихо советовать что-то. Как копать... Где что сеять... Куда класть торф...

Генри подошел к Джерарду, улыбнулся, и что-то от прежнего лихого офицера промелькнуло в его глазах.

## 7. ПАСХА

— Проповедники ему мешают. — Пастор Платтен сердито мерил шагами мягкий половик сумрачного зала. — Царство божье на земле!? Ересь какая!

— А вы обратили внимание — он предлагает отнять у священнослужителей десятину, — поддакнул Нед Саттон. Он сидел в кресле у камина, и блестящая лысая голова его каждый раз поворачивалась вслед пастору.

— Это и есть ниспровержение устоев, — убежденно сказал Платтен и поднял указательный палец. — Смотрите, что он пишет: «Король Карл... правил Англией как

завоеватель, ибо его властью нас не допускали к земле, и он был бы рад лучше увидеть, как мы умираем с голоду, или повесить нас на суку, чем позволить нам возделывать общинную землю для нашего пропитания». Но этого мало! Он утверждает, что с установлением республики мы, лорды, уже не имеем права на свою землю!

От возмущения маленькие глазки бейлифа потемнели.

— А не хочет ли он сказать, что мы, фригольдеры, тоже не можем называть землю своею! Но ведь сразу, как установили республику, издали акт, что все старые законы остаются в силе.

— А вы знаете, что он на это отвечает? Постойте... Вот: этот акт, видите ли, был издан только для того, чтобы помешать беспорядкам и мятежам, которые могли возникнуть сразу после казни. А теперь, после отмены монархии и установления республики, и этот акт, и все другие древние законы потеряли силу!

— Как потеряли силу? — Нед вскочил, и они вместе с пастором склонились над брошюрой.

— Вот, пожалуйста, — Платтен тыкал большим длинным пальцем. — Читайте: «Наша республиканская армия... боролась против нормандского ига и разбила его и одержала победу. Благодаря этой победе и титул короля, и титулы лордов маноров, и вместе с ними их право на землю отменено. Земля отныне так же свободна для других, как и для них, без ограничений...» Подождите, Нед, вот еще: королевская власть пала, и теперь «все собирающие десятину священнослужители и собственники церковной земли... не имеют более над нами власти». Вы теперь понимаете?

— Да... — Нед сокрушенно покачал головой. — Это уже... Что же это... Открытый мятеж? А?

— И посмотрите еще: они и на Армию ссылаются, хотят перетянуть на свою сторону. Да, чернь разгулялась. Это прямой призыв к бунту.

Он опять заходил большими шагами по залу. Потряс книжкой:

— Этот Уинстэнли говорит здесь, что отныне и копигольдеры, и арендаторы свободны от повиновения лордам маноров. Могут не обращаться к ним в суд, не приносить клятву верности, не платить штрафы, подати... Вы понимаете, что это значит? Эдак они весь мир перевернуть могут!

Пламя в очаге вздрогнуло, рассыпая искры, Нед испуганно попятился.

— Правда ваша, это призыв к бунту, — проговорил он шепотом. — Они не захотят на нас работать.

— А я вам говорю, они хуже левеллеров, хуже Лилберна и всей его братии. Те шли открыто, и Кромвель, хорош он или плох, разбил их, за то ему слава. А эти...

— И вы знаете, они теперь не только у нас, — почему-то опять шепотом сказал Саттон. — Тут сколько подписей стоит? Двадцать пять? Но это еще не все. Они в Нортгемптоне появились, а на днях Томас вернулся из Кента, говорит, в Коксхолле, пять миль от Дувра, тоже... копают... Ходят по округе, пожертвования собирают. Они скоро так всю страну... взроют. И что тогда?

— Довольно. — Пастор достал большой красный платок, снял очки, протер их, и, когда снова надел, Нед увидел, что он совершенно спокоен. — Довольно, — повторил Платтен. — Я обязан перед богом и людьми не допустить этого. Мой долг мне ясен. И немедленно! — он решительно повернулся к Неду. — Они опять вышли на пустошь?

— Да, с начала апреля, как в прошлом году. И уже успели возвести там хижину.

— Хорошо, Нед. Зовите своего брата Томаса. Он ведь больше других земли здесь имеет. Я знаю, что делать.

Пасха в этом году была ранняя, первый день страстной недели приходился на начало апреля, и весна все никак не могла проснуться по-настоящему. Было сыро, туманно, промозгло. Джерард, шагая через лужи, подошел к пасторскому дому, отворил калитку и пересек просторную лужайку. Никого не было, дом будто вымер. Прежде чем взяться рукой

за дверной молоток, он помедлил, собираясь с мыслями.

Не далее как вчера, в воскресенье, прямо после проповеди пастор и Томас Саттон, брат бейлифа, явились на маленькую пустошь в одиннадцать акров, где уже обнажились зеленые всходы злаков, явились не одни, а в сопровождении толпы фригольдеров, настроенных отнюдь не по-христиански. На пустоши стояла новенькая хижина — ее построили все вместе для Джилса Чайлда, который рассудил, что кому-то надо бы жить поближе к посевам, присматривать. Да внизу и тесновато становилось: Дороти вот-вот собиралась родить четвертого.

Толпа во главе с пастором и братом бейлифа напала на ни в чем не повинное семейство, пинками выгнала всех на улицу, а хижину разрушила до основания. Когда один из карателей ударил четырехлетнего мальчонку, Дороти бросилась на защиту, поскользнулась, упала и получила удар ногой в живот. К вечеру начались схватки, ребенок родился мертвым. Сама она при смерти лежала в хижине у Дженни Полмер. Джерард вспомнил ее серое лицо, ввалившиеся страшные глаза, неловкую фигуру Джилса рядом... Решительно взялся за молоток и постучал в дверь.

Маленькая служанка провела его в темноватый зал с камином и оставила одного. Все было тихо. Одна из дверей приоткрылась, и на него прямо, пристально, посмотрел мальчик лет восьми, с серьезным неподвижным лицом. Джерард шагнул к ребенку и хотел заговорить, но ступеньки наверху скрипнули, дверь моментально закрылась, мальчик исчез.

На верхней ступени лестницы стоял пастор. Большой продолговатый живот туго обтянут черной материей, подбородок лежит на белом воротнике.

— Это вы, — проговорил он и стал спускаться.

Ступени отскрипели. Перед Джерардом в двух шагах стоял его враг, гонитель... Он притронулся рукой к шляпе.

— Я пришел к вам, — сказал он, — поговорить о вчерашнем.

Пастор молчал, его глаза за очками изучали лицо Джерарда.

— Ребенок родился мертвым, — проговорил Джерард. — Женщина умирает. Пастор, ведь вы проповедуете Христа.

Лицо Платтена дрогнуло, он отвел глаза.

— Люди грубы, — проговорил он как бы нехотя. — Они не рассчитали удара...

— Но их привели вы. И вы ответственные... Они — темные души, но вы-то!..

— Я... Может быть, вы возьмете вот это... — Он достал несколько монет и не глядя протянул их. — Для той семьи... — Рука его застыла в воздухе.

— Я не за этим к вам пришел, — глухо ответил Джерард. — Обещайте, что вы позволите нам спокойно жить на этой земле, работать и кормить наши семьи. Благословение неба да будет вам наградой.

Пастор выпрямился, лицо его приобрело вдруг злое, враждебное выражение.

— Вы пришли обвинять меня, — сказал он, остановившись прямо перед Уинстэнли. — Я виноват, не спорю. Пасторское дело — убеждать словом, а не разрушать и бить. Но повторяю, я не хотел крови. А вы? Кто затеял это дело с копанием пустошей? Кто собрал темных, невежественных бедняков, которым только и забот, что пить, есть и плодить детей, — кто собрал их и убедил занять чужую землю? Кто одурачил их безумной мечтой о счастье для всех? О царстве божием на земле? Нет и не может быть такого царства, запомните это! Неужели вы не можете понять, что бедняки счастливее тогда, когда делают свое дело, сводят концы с концами, рожают детей и не помышляют о Новом Иерусалиме на этой грешной земле! Вы маните их безумной мечтой — но тем горше будет разочарование. Они отвернутся от вас и проклянут как обманщика и шута, которому пригрелись Кокейн с молочными реками и кисельными берегами!..

Пока он говорил, он распалялся все больше, лицо его покраснело, шея налилась кровью, подбородок трясся.

— Это неправда, — хрипло ответил Джерард. — Бедняки всегда, во все времена мечтали о царстве справедливости на земле. Эта мечта давала им силы жить и бороться,

делала их людьми. Не я ее выдумал. Само Писание говорит, что земля дана всем людям в равное пользование. Что не было в начале начал ни слуги, ни господина, ни раба, ни хозяина.

Пастор усмехнулся с презрением.

— Вы беретесь доказать это на текстах? — спросил он. — Если так, я готов поклясться, что никогда не стану больше досаждать вашим диггерам. Я позволю им возделывать пустоши в моем манере и строить хижины, сколько им надо!

Он опять заходил по залу, покачивая головой и саркастически усмехаясь. Он-то лучше, чем кто-либо другой, знал, что найдет в том же Писании любой аргумент, опровергнет священными словами любые доводы. Пусть пишет. На Пасху их все равно здесь не будет.

О, тяжела ты, страстная неделя! Превозмогая боль в груди, которая теперь уже не оставляла его ни днем, ни ночью, превозмогая странную тяжесть и онемение в правой руке, сжимавшей перо, Джерард опять писал — писал доказательства для Платтена. Старинный фолиант, который приходилось то и дело переворачивать, казался невыносимо тяжелым.

Он вспоминал своих бедных, голодных, избитых колонистов — таких долготерпеливых, так много помогавших ему! Их ненавидели, били, изгоняли — а они снова упорно возрождались из пепла и делали свое дело, и верили в добро и правду. Они, его диггеры, и есть неопалимая купина — куст, который горит и не сгорает. Главный закон человечества — свобода распоряжения землею; почему же люди, которые в других обстоятельствах кажутся мягкими и добрыми, превращаются во львов, в дьяволов, готовых убить и изничтожить бедных копателей? Причем не только джентри, но и духовные лица доходят до безумства: власть тьмы одолевает их души.

Генри заходил к нему в хижину, топтался возле стола, читал написанное. Но Джерард всем своим видом показывал: занят, очень занят, потом. Наконец поднял голову:

— Ты что? Что-нибудь случилось?

Генри молчал. Джерард внимательно посмотрел на него и вдруг заметил, что его израненный хроменький диггер Роберт Костер тщательно умыт, подстрижен, подтянут; ус его завивается колечком вверх, и новенькая кожаная перевязь наискось перетягивает грудь. Перед Джерардом стоял бравый армейский офицер. Небрежной рукой он двинул листки на столе:

— Все пишешь? Для Платтена? Думаешь, это что-то изменит? Вас все равно разгонят.

— Ты говоришь «вас»? А сам?

— Ну, нас... — Генри потупился, потом вздернул подбородок и посмотрел в маленькое зарешеченное окошко. За ним виднелось небо — бледное голубое небо весны; в вышине плыли птицы.

— Ты только из Библии ссылки приводишь? — спросил он.

— Нет, это только первая часть. Я еще напишу о нормандских завоевателях... Что власть их отменена с казнью короля и установлением республики... — Он почувствовал, что говорит в пустоту; от этого мысли, выстраданные всей жизнью, казались бледными, стертыми... Генри легонько присвистнул, глаза его не отрывались от неба за окном.

— Это говорилось тысячу раз — парламенту, армии, духовенству, Сити, университетам... Кому еще? Ах да, английскому народу. А ты уверен, что все это нужно твоему народу? Что он от твоих писаний станет хоть чуточку счастливее? Или богаче? Или умнее? Уверен?

— Уверен. — Джерард с удивлением смотрел на Генри. — Это нужно народу. Ты знаешь, что кроме нас, начали работу в Кенте, в Нортгемптоне... Скоро все бедняки выйдут на поля, и тогда...

— А что тогда? — Генри резко обернулся, перевязь скрипнула. — Тогда вас объявят мятежниками и пустят в дело войска, как на нас прошлым маем. — Он машинально коснулся шрама на шее. — И все. Только вы и видели ваше царство. Вон Кромвель, говорят, возвращается из Ирландии. — Генри вдруг остыл, поскущел, замолчал. Джерард придвинулся к нему вплотную, взял за плечи:

— Генри, скажи, что случилось? Что с тобой? — Внезапная догадка осенила его. — Ты



был дома?

Генри высвободил плечи.

— Да. Я видел своих. Мне давно уже сестра сказала, я только тебе не говорил... Друзья отца хлопотали перед Кромвелем. Он отца очень любил, ты знаешь... В общем, я теперь могу жить под своим именем. И долю наследства получил. Был у них — скучно там... Сестры ссорятся с матерью, Джон дерзит... Земля запущена, пивоварня стоит, прислуга разбежалась... Я ведь старший сын, я теперь хозяин. И Элизабет трудно...

Джерард медленно отвернулся. Вот оно что! Генри Годфилд теперь — наследник отцовского имения, хозяин. Глава семьи. Сам Кромвель простил его. Он теперь собственник, офицер, а значит, — с теми, гонителями: пастором, бейлифом, судьей...

— Я понимаю, — сказал он, не глядя на молодого человека. — Я все понимаю... Ты только... Знаешь, не забудь их. Они тебя укрыли, помогли, когда тебе было плохо... И хлеб свой с тобой делили... Ты не забудь об этом...

Комок встал у него в горле, он не мог продолжать. Холод бессилия и одиночества сковал душу, а в сердце проснулась знакомая смертная тяжесть. Она сдавила грудь и удержала готовые было пролиться слезы.

— Да что ты? — сказал Генри. — Ты что обо мне подумал? Да я никогда вашим врагом не стану.

Он подошел к Джерарду сзади и вдруг неловко обнял его и припал головой к плечу, к шее.

Джерард обернулся и крепко обнял Генри последним — прощальным — объятием.

Он снова стоял на пороге пасторского дома и держал в руке небольшую книжку. Первый день пасхальной недели звенел птичьим щебетом; небо было бледно-голубым, высоким, чуть подернутым дымкой.

На страстной неделе ему не только удалось закончить подбор доказательств, но и съездить в Лондон и напечатать у Калверта то, что он написал. Он доказывал правоту своего дела не только Платтену — вся Англия должна поверить в него. Он не терял надежду: его доказательства возымеют наконец силу. И все Платтены в Англии, сколько бы их ни было и в каком бы обличье они не являлись миру, оставят их, бедняков, в покое. Тогда... тогда они станут без опаски работать на земле, все вместе, под благодатным небом, и муки их обретут смысл и воздаяние. Ему представилась жатва. Золотое августовское солнце, пронзительная густая синева неба и золото колосьев в руках. Острыми серпами они срезают тяжелые от налитого зерна стебли, вяжут снопы, заполняют амбары хлебом... Доживут ли они до этого счастья — радостный, вольный труд, общий хлеб, общие склады... Каждому досыта. И сознание, что мир наконец живет по справедливости.

Пастор был вежлив, снисходителен. Да, сказал он, он возьмет это и прочтет, но сейчас ему недосуг, началась пахота, да и праздник требует священной службы.

В пятницу на пасхальной неделе день был погожий, все вышли работать. В поле Роджер Соьер водил тощую лошадку с плугом; Полмер рыхлил землю под бобы; Хогрилл, привязав лукошко с семенами на шею, одной рукой разбрасывал семена, и они ложились во влажную, подогретую солнцем землю.

Джерард и Джилс Чайлд копали грядки под овощи возле хижин. Им помогали дети, сосредоточенно работая мотыгами, слишком тяжелыми для их рук. Женщины затеяли большую стирку, веревка возле одной из хижин пестрела разноцветными чулками, рубашками, детскими штанишками. Жаворонки заливались в небе.

Все были так заняты работой, что подняли головы и выпрямились уже тогда, когда толпа была совсем близко. Впереди чернело одеяние Платтена, рядом шел Томас Саттон с топором в руке. Пять или шесть человек несли зажженные факелы, тускло трепетавшие в солнечном свете. За ними — еще с полсотни арендаторов с дубинками.

«Это конец», — сразу подумал Джерард. Бросил мотыгу на землю, отряхнул руки и

шагнул навстречу толпе.

Платтен не взглянул на него. Приказал факельщикам:

— Дома сжечь. Посмотрите только, нет ли кого внутри.

Несколько человек бросились к хижинам, заглядывая в двери и окна, постукивая по стенам:

— Выходи! Выходи все, кто там! Мы сейчас подожжем дома! Живее!

Дженни выскочила с ребенком на руках, горестно охнула, сорвала белье с веревки. Из другой хижины вывели под руки смертельно бледную, с черными кругами вокруг глаз Дороти. Матери подхватили детей на руки и отошли к грядкам, за спину к Джерарду. Он решительно подошел к Платтену.

— Пастор! — сказал он. — Пастор! Вы же обещали. Я написал вам то, что вы требовали.

Платтен, по-прежнему не глядя, резко отмахнулся.

— Отойдите, мы сейчас будем поджигать дома. Эй, Питер, Ральф! Что стоите? Тащите соломы, так ведь не загорится!

— Но что случилось? — добивался Джерард. — За что? Ответьте!

Пастор вдруг сжал кулаки и заорал, наступая и топая ногами:

— Вон! Вон отсюда! Вот мой ответ! Чтобы духу вашего здесь не было — вас и ваших ублюдков! Бесы, порождение преисподней! Я изгоняю вас — властью, данной мне от бога!

— От бога?! — Из-за спины Джерарда выскочил Роджер Сойер. — От бога?! — крикнул он срывающимся высоким голосом, сжимая кулаки. — Да разве вы — от бога? Вы сейчас — первый хриstopродавец! Иуда!.. Что вы говорите нам в церкви? А сами... Вы... Да вы сами разрушаете в нас веру! И в нас, и в них! — он протянул руку в сторону карателей. — Да вас самого... Убить надо, вот что!..

Дженни с младенцем на руках рванулась вперед, прикрывая его собой.

— Не слушайте его, — заговорила она низким грудным голосом, снизу вверх глядя на пастора. — Не слушайте его, ваше преподобие, он не знает, что говорит... Мальчишка еще, ваше преподобие. Молчи! — прикрикнула она на Роджера, который пытался еще что-то говорить. — Ваше преподобие! — она крепче сжала нежную спинку ребенка. — Я понимаю, вы хотите разрушить... Наши дома... Хорошо, мы уйдем, в другое место, куда-нибудь... Но не жгите добро, разруьте и ладно, а? Ведь дерево нам недешево досталось. Мы его возьмем, мы бедные люди... Зачем жечь-то?..

— Нет! Нет! — крикнул пастор ей в лицо. Зубы его оскалились, глаза вылезали из орбит. — Замолчи, женщина! Эй вы! Поджигайте, чего стоите! Мы спалим все дотла, и вон отсюда, вон, вон! Это язычники, поганные твари, они не знают бога! Не бойтесь, ничего не бойтесь, вы служите господу. Жгите все, чтобы они не понастроили опять!..

Арендаторы закопошились вокруг хижин, подтаскивая хворост и солому. Факелы задымили под порогами, под стенами, и скоро бедные убогие жилища пылали, потрескивая под солнцем, вместе со всем их нехитрым скарбом — кроватями, детскими люльками, коробами для продуктов, столами, тряпьем... Пылала старая большая Библия и рукопись на столе у Джерарда, пылали детские деревянные лошадки...

Огонь трещал, накалял воздух невидимым на солнце жаром, воздух дрожал над пламенем, к светлому весеннему небу возносились черные густые клубы дыма.

К вечеру они собрались на пепелище. Слабый костер едва тлел, напоминая о дневном пожаре. Словно табор цыган — голодные и нищие, с женщинами и детишками, без крова, без надежды. Жатва... Вот она, жатва...

Они стали устраивать ночлег для женщин и детей. Апрельская ночь светилась мутноватыми звездами.

— Эй вы! — раздалось из темноты. К ним приближались трое с факелами. Тот, кто шел впереди, вид имел страшный и звероподобный: голову его, щеки и подбородок покрывала густая копна волос, маленькие глазки блестели свирепо. Одной рукой он поднимал над головой факел, другой сжимал суковатую дубину.

— Эй вы! — крикнул он. — Убирайтесь покуда живы!

— Ты кто? — спросил его Джерард. — Садись, потолкуем.

Детина ощерился.

— А чего мне с вами толковать. Нам приказано — всех долой.

— Кем приказано?

— Хозяином.

— Ваш хозяин — пастор Платтен?

Детина угрожающе придвинулся.

— Нам не велено разговаривать, понял? Убирайтесь отсюда. И все — долой! — Он ткнул огромным башмаком в костер, головешка отскочила, посыпались искры. Некоторые из женщин подняли головы.

— Кто здесь? Тише, детей разбудите.

— А ну встать всем! — зычно крикнул детина и еще раз ударил ногой в костер. Мужчины поспешно встали, начали подниматься женщины. Мучительным сонным голосом заплакал ребенок.

— Куда же нам идти? — спросил Джерард. — У нас нет крова. Ваш хозяин не сказал, куда нам идти?

Сухой жилистый человек, тоже с дубинкой, подскочил и затараторил:

— А нас это не касается, куда вам идти. Нам приказано выгнать вас вон и сжечь то, что от вас останется. Давай за дело, ребята! — Он схватил за ножку табурет, на котором сидел Колтон, дернул, старик упал, ахнув, на землю; жилистый стукнул по табурету дубинкой, и тот разлетелся на куски. Потом схватил за угол одеяло, на котором лежала Рут, и с силой дернул на себя. Женщины закричали.

— Мамм... Мамм... — взывал испуганный детский голос.

— Что ж это вы делаете, свести у вас нету совсем! — говорил Хогрилл, пытаясь остановить то одного, то другого.

— Скажи им, Дэвид, — бросил волосатый, стаскивая жалкие пожитки в задымивший костер. Юркий жилистый человечек, которого называли Дэвидом, крикнул:

— Нам сказано, что вы бога не знаете и в церковь ходить не желаете. Поэтому убирайтесь. И учтите, мы будем караулить всю ночь. И завтра придем, и послезавтра, таков приказ! А если вы в другом месте палатки или дома поставите, и там до вас доберемся и спалим. Землянки вырастят, мы вас и там, как лис в норах, прикончим. Ни на земле, ни под землей вам жизни не будет!

Джерард смотрел, как, подхватив пожитки, взяв за руки сонных детей, диггеры уходили в ночь. Ни на земле, ни под землей, ни на небе... Он сжал кулаки и медленно пошел следом за ними.

— Куда же вы пошли?

— Кто куда... Кто у родных здесь в Кобэме, кто в Уолтоне... Кто в Гилфорд подался, а кто и в Лондон. Рут с детьми на север...

— А сам ты где?

— Мы, несколько человек, у Бриджет ночевали. Она добрая...

Генри и Джерард стояли под дождем в роще и не смотрели друг на друга.

— Знаешь что, — сказал Генри, — я тебе дам один адрес. Манор Пиртон в Хертфордшире. Леди Элеонора Дуглас.

Джерард горько усмехнулся:

— А сам-то ты что надумал? Тут, в Кобэме хозяйничать будешь?

Генри помолчал, лицо побледнело. Он снял шляпу, и по щекам заструились капельки дождя.

— Тут не нахозяйничаешься, — сказал он, — мы почти разорены. Арендаторы разбежались, долги выросли. Здесь мне семью не прокормить. И еще, знаешь... После того, как я побыл с вами, после всех ваших бед... Не могу я больше здесь, понимаешь? Я бы их всех до одного... Ненавижу! Задушил бы голыми руками. А так, как вы... Ничего у вас не

выйдет.

— Подожди, мы еще поднимемся. Мы все живы, слава богу. Нас рассеяли, лишили крова, хлеба. Но мы появимся снова — вот увидишь. Наши колонии возродятся и в Бекингемшире, и в Уэллингборо, и в Кенте, и на севере! Мы будем вставать из пепла снова и снова, пока не покорим всю землю. Мы непобедимы!

Генри вдруг приблизил лицо вплотную к Джерарду и зашептал горячо, срываясь и по-детски тараща глаза:

— Не могу я. Не могу, и все. Тебе хорошо, ты веришь. А я ненавижу.

Джерард внимательно посмотрел ему в лицо:

— Ты что задумал, Генри? Бежать?

— Да! — страстным шепотом воскликнул тот. — Бежать! Слыхал про такую землю — Массачусетс? Может, вместе соберемся, а? Кто из наших остался, захватим? Потом семьи перетащим, сестры приедут, Джон...

Джерард улыбнулся, посмотрел на Генри ласково. Решительно покачал головой.

— Нет, милый. Я не могу. Моя страна, моя Англия несчастна. Я нужен ей здесь.

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ПРАВЕДНЫЙ ЗАКОН

*«Ты спросишь, где, слепец, беру я силы?*

*В сознание, что огонь моих очей*

*Служение свободе угасило —*

*О ней я возвещал Европе всей».*

МИЛТОН

### 1. ДИАСПОРА

Весна 1650 года принесла тревогу. Роялисты вновь собирали силы. На этот раз угроза шла с севера, из Шотландии, с которой и начался десять лет назад великий мятеж. Шотландские пресвитериане не хотели примириться с казнью Карла Стюарта. Как только весть о том, что голова монарха скатилась, достигла Эдинбурга, его сын и наследник был провозглашен королем Карлом II. Представители враждебного Английской республике шотландского парламента отплыли в Голландию, где находился принц Чарльз, для переговоров. Ему предложили сделать пресвитерианство государственной религией Англии, Шотландии и Ирландии. Молодой принц согласился, и 1 мая в Бреде подписал соглашение.

В последних числах мая Кромвель с триумфом въехал в Лондон и расположился в покоях Сент-Джеймского дворца. После краткого отдыха ему и Фэрфаксу предстоял поход на север.

Фэрфакс и Уайтлок беседовали наедине в кабинете главнокомандующего. Разговор был неприятным.

— Вы твердо решили, генерал? Несмотря на опасность, которой вы подвергаете Республику своим отказом?

— Республика не спрашивала моего согласия в куда более важных делах. — Фэрфакс раздраженно прошелся по кабинету, левая щека со шрамом вздрагивала.

Уайтлок тоже поднялся с кресел, распрямил дородное тело, задумчиво посмотрел в окно большими, навывкате глазами.

— Кромвель говорит, надо спешно готовить новую экспедицию.

— Пусть Кромвель сам и готовит. А меня увольте. Я здесь и так бог знает чем занимаюсь. Полюбуйтесь! — он сердито зашелестел бумагами на столе, одна упала на пол. — Вот! Приказ Государственного совета от 23 февраля. Они получили жалобу из Серри, что там кто-то срубил деревья в общинном лесу, и требуют от меня, главнокомандующего,

принять меры! Они, видите ли, не могут справиться своими силами. Это уже четвертый приказ такого рода только по Серри!

— По Серри? Не о холме ли святого Георгия речь, где действуют эти... диггеры? — спросил Уайтлок. Его удивлял раздраженный тон генерала. — Я слышал, они недавно разослали письма по всей стране — требуют, чтобы за ними признали право на обработку общинных земель, право не платить ренту... И еще просят пожертвовать им денег. Им не на что купить пищу и зерно, чтобы засеять землю.

— Вызвали страшные, убийственные силы, разрушили порядок, попрали иерархию, традиционное благочестие, обычаи... А теперь недовольны. — Фэрфакс опять нервно заходил по кабинету. — И я должен вести регулярные войска наказывать каких-то землекопов. Нет, нет! Пусть сами!

— А вы знаете, что эти копатели и в Нортгемптоне появились, в Кенте, Мидлсексе, Бекингемшире, Хантингдоне... — Уайтлок извлек из кармана тетрадку, с которой никогда не расставался, свой неизменный дневник, полистал. — Вот например: Государственный совет пишет мистеру Пентлоу, мировому судье Нортгемптона: «Мы не сомневаемся, что вы сознаете, какую опасность несут в себе подобные действия и сколь необходимо решительно им воспрепятствовать...» И что любопытно: «Действуйте смелее против таких людей на следующей судебной сессии, а если кто-либо, кому надлежит наказывать их, будет увиливать от своих обязанностей, дайте нам знать, чтобы мы могли привлечь их к ответу».

— Конечно. А орудием для карательных действий будет армия генерала Фэрфакса. А я, знаете, не удивляюсь, что находятся люди, которые этим диггерам сочувствуют. — Он вдруг остановился перед Уайтлоком и поглядел ему в глаза.

— Сейчас голод свирепствует в Ланкашире, — продолжал тот, — и чума разразилась...

Смутное лицо генерала было печально. Он вспомнил север, родной Йоркшир, куда недавно отослал леди Анну с дочкой, и тоска по дому сжала сердце.

Дверь распахнулась, тяжелой поступью вошел Кромвель. Фэрфакс и Уайтлок невольно выпрямились, наблюдательный глаз лорда — Хранителя Большой печати отметил нездоровую желтизну кожи, набрякшие мешки под глазами, поредевшие волосы... Ирландия нелегко далась Непобедимому.

Едва поклонившись, Кромвель подошел к креслу, сел, жестом пригласил сесть Фэрфакса.

— Милорд, — начал он низким, хриплым голосом, — я пришел поговорить с вами о той опасности, которая угрожает Англии с севера. Нет, нет, мистер Уайтлок, останьтесь. Дело касается всех нас. Вам, вероятно, известно, что первого мая принц Чарльз заключил договор с шотландцами. Так вот, вчера он отплыл из Бреды в Эдинбург, возглавить войско. Мы должны действовать со всей поспешностью. Вы ведете экспедицию на север. Выступить надо в ближайшие же дни, чтобы не дать им пересечь границу. Я, разумеется, иду с вами как ваш заместитель. Давайте наметим путь следования. — Он с некоторым усилием поднял грузное тело с кресла и подошел к карте на стене. Фэрфакс тоже встал. Тонкие губы его побелели, лицо сделалось неподвижным.

— Я не поведу Армию в Шотландию, генерал. Вам придется действовать без меня.

— Вы что... Хотите отказаться? В такой момент? Вы понимаете, что это равносильно предательству? — короткая шея Кромвеля начала наливаться кровью.

Фэрфакс еще больше выпрямил спину, поднял подбородок.

— Я не считаю это предательством, сэр. Я сохраняю преданность парламенту и Армии, но я не вижу достаточных оснований для вторжения в дружественную нам страну.

— Дружественную? Но они провозгласили королем принца!

— И тем не менее. Мы связаны с шотландцами договором — Национальной Лигой и Ковенантом. Вопреки ему и без всякого повода с их стороны вторгнуться к ним с войском и навязать войну? Я не вижу к этому оснований — ни перед богом, ни перед людьми.

Кромвель внимательно изучал лицо генерала.

— Милорд, — проговорил он мягко, — если бы они не дали нам повода к вторжению,

мы были бы не вправе это сделать. Но, милорд, они ведь вторглись к нам после подписания Ковенанта и вопреки его условиям! Вы помните? А теперь они собирают войска и деньги.

Фэрфакс заложил руки за спину.

— Но вы уже достаточно наказали их, сэр, — сказал он тихо. — Их войско разбито, Гамильтон казнен. Не слишком ли мы поспешим? Да и достоверны ли сведения об их приготовлениях?

— Вполне. Война неизбежна, хотим мы того или нет. И вы понимаете... лучше вести ее на их земле, а не на нашей. У вас ведь поместье на севере, я знаю. И надо поспешить...

Фэрфакс отвел взгляд.

— Человеческие чувства, генерал... и человеческие предположения... недостаточны для того, чтобы начинать войну против соседней страны. Я бы предпочел выждать.

— Но если они начнут, мы можем проиграть! — лицо Кромвеля вновь начало наливаться яростью, но он сдержал себя и положил руку на плечо Фэрфакса. — Солдаты вас знают, они верят вам. Ваши победы... Ваши блестящие дарования... Мистер Уайтлок, да скажите же ему, что отказываться преступно!

Фэрфакс вежливо высвободил плечо, отступил.

— Нет, милорд. Бесполезно. Я отвечаю только перед своей совестью. Я не должен делать того, что кажется мне сомнительным.

Через несколько дней главнокомандующим всеми вооруженными силами Английской республики был назначен лейтенант-генерал Оливер Кромвель. Фэрфакс отбыл домой, в Йорк.

Из Бекингемшира они шли в Серри, из Серри в Мидлсекс. Оттуда в Хертфордшир, в Бедфордшир, опять в Бекингемшир, потом в Беркшир и снова в Серри, а из Серри в Мидлсекс, оттуда в Хартфордшир и в Бедфордшир, а потом в Гентингдоншир и на север — в Нортгемптон... Старинные одинаковые городишки вставляли на их пути — то ли городишки, то ли деревни с похожими друг на друга домиками, крытыми соломой, с огородами, амбарами, курятниками... С древними, иногда смешными именами: Колбрук, Хэрроухилл, Кемпсон, Каменный Стрэтфорд, Эмерсли, Петни, Годманчестер...

Солнце к середине лета подсушило дороги, они сделались пыльными, и шагать было легко, хотя дождик иногда припускал как из ведра или жара заливала глаза потом. Они останавливались в харчевнях, на постоянных дворах или у друзей, которых никогда до этого не видели, но о которых прослышали по дороге.

Их было несколько человек — то больше, когда кто-нибудь из местных жителей присоединялся к ним, то меньше, когда кто-нибудь заболел в пути или отставал по делу. Джекоб нес на груди письмо. Они доставали его в каждой таверне, бережно разглаживали ладонями и читали собравшимся вокруг беднякам письмо, которое призывало помогать диггерам из Кобэма, лишенным средств к существованию, и создавать общины на пустошах по всей Англии, чтобы сделать эту страну прекрасной, счастливой и свободной.

Иногда во время этих чтений приходил шериф или мировой судья и требовал, чтобы они убрались из города. Иногда на улице или на рыночной площади в них летели камни, и они поспешно убегали, стараясь увернуться от ударов. Но в некоторых местах их ожидало счастливое известие, что есть уже здесь люди, копающие общинную пустошь, что они живут сообща, как апостолы, и трудом своим на земле ищут пропитания. Их вели к этим людям, и они обнимались, как братья, и делили хлеб, сидя вечером у костра и задумчиво говоря о том, что скоро, совсем скоро придет в мир царь справедливости. Так было в Айвере, графство Бекингемшир, в Коксхилле, графство Кент, в Инфилде, графство Мидлсекс...

Но бедны были диггеры, малочисленны, разрозненны, нищи... А силы, поднимавшиеся против них, — соседи-фригольдеры, лорды, солдаты, бейлифы, пресвитерианские пасторы, судьи, — силы эти были могущественны и беспощадны. Они обрушивались на бедных копателей и сметали колонии, подобно тому, как разогнал пастор Платтен диггеров Кобэма. В Уэллингборо они застали одни руины.

И опять стлались перед ними извилистые пыльные дороги Англии...

Проповедник стоял на опрокинутой бочке, вокруг тесно толпились слушатели. Джон пробрался в самый передний ряд и, приоткрыв немного рот и кося глазом, слушал. В Кобэме появились новые сектанты, которых все называли смешным именем — квакеры. Сами же они именovali себя «Общество друзей внутреннего света».

— Горе тем, — говорил оратор, — кто алчно присоединяет дом к дому и так приближает поле к полю, что бедняк остается без всякой земли... Горе тому, кто алчно тащит себе в дом неправдой добытое добро!

После разгона колонии, ухода из Кобэма Уинстэнли и многих диггеров, после отъезда брата за океан Джон, которому минуло уже шестнадцать и который принял на себя мужские обязанности в доме, стал ходить на собрания к Бриджет. Она теперь держала нечто вроде молельного дома. Квакеры не гнушались проповедовать и на базарной площади.

Слова «свет» и «любовь», которые так часто повторялись в их речах, волновали, притягивали. Квакеры, Джон это ясно ощущал, были куда чище и серьезнее рантеров. А их видимая доброта и незащищенность рождали доверие и ответную теплоту. Один раз Томас Саттон на площади бросил в них камень, и другие фригольдеры, пришедшие с ним, последовали его примеру. Но квакеры не ответили им тем же и даже не побежали, а пали на колени и подставили грудь ударам.

— Брат, — крикнул один из них Саттону, — побей лучше меня, чем этих праведников!

Джон приходил домой и рассказывал о квакерах сестре. Дома было невесело. Мать, постаревшая и сдавшая после смерти полковника, раздражалась и ворчала по всякому поводу, особенно сетуя на отсутствие денег. Письма от Генри приходили редко. Сестры притихли, только у Френсис глаза загорались беспокойным зовущим блеском, когда к ним зааживал длинноносый насморочный Сандерс. А зааживал он все чаще и чаще; похоже было, что дело идет к свадьбе. Джон хоть и не терпел Сандерса, но на эту свадьбу был согласен.

Пастор Платтен по-прежнему проповедовал в Уолтонской церкви, но вся семья теперь не ездила туда, а ходила пешком к святому Андрею в Кобэме. Элизабет молчала целыми днями, никуда не выходила и лишь оживлялась немного, когда слушала рассказы Джона, лицо ее розовело, разглаживалось, она кивала головой и изредка вздыхала. Джон понимал, что она вспоминает Джерарда Уинстэнли.

А Джерард шагал по пыльной дороге к северу от Лондона, и легкая котомка за плечами составляла все его имущество. Рядом шли еще двое: худой, всегда бледный Том Хейдон и однорукий солдат Хогрилл.

У них не было больше дома. В Кобэме на полях караулили наемники Платтена с топорами, а в Кингстонской магистратуре лежало дело о привлечении диггеров к судебной ответственности. Они стали бродягами. Их братья разбрелись кто куда: Джекоб и еще несколько человек ходили по графствам, собирая средства на новую колонию; семейные осели в деревне — те, кому удалось выпросить прощение у лорда; иные уехали неизвестно куда, и след их потерялся.

Как-то раз, сидя в придорожной таверне, они услышали рассказ такого же, как и они, бродячего работника. Он говорил, что совсем близко от Серри, в Беркшире, некий Джон Пордедж, последователь Якова Беме и фабилист, основал общину любви.

— Ты говоришь, — встрепенулся Джерард, — они вместе работают? — Он обернулся к друзьям. — Может, пойдем туда?

— Община-то община, да чудно они живут... — сказал работник и усмехнулся невесело. — Я там был. Там ничего не разберешь — где мое, где твое, кто муж, кто жена, кто слуга, кто хозяин. Его дом в Брэдфилде открыт для всех, а больше всего для рантеров. Один человек, может, колдун, а может, просто помешанный, дьявола вызывал, дракона... Некоторые видели. Пасть огнем пышет, зубы — во, а в лапах меч... И серой запахло. Он и

ангелов, говорят, показывать может, этот Эверард. Я сам не видел, врать не стану. Он-то Пордеджа и обратил...

— А больше об этом Эверарде ничего не слышно? — спросил Джерард. В нем всколыхнулись старые воспоминания. Скандал в церкви святой Марии, похороны Саймона... Начало работы, поездка к Фэрфаксу, время великих надежд... И ссора, до сих пор отзывавшаяся в душе досадой.

— Его потом в Лондоне видели, — услышал он. — Но он там, кажется, совсем бешеным стал, неистовым. Его в Брайдуэлл посадили, в исправительную тюрьму, или в Бедлам, не помню точно...

Бедный Уильям! Нет, они не пойдут в Беркшир, подумал Джерард. Они распрощались с незнакомцем и продолжали путь дальше, к северу.

Джерард вел своих друзей в манор Пиртон, в Хертфордшире, к хозяйке его, леди Дуглас. На что он надеялся? Он сам не смог бы ответить. Может быть, она позволит диггерам основать всемирное братство на своей земле? Или одолжит им денег? Может быть, она, приняв их веру, сама возглавит и воодушевит новую колонию? А быть может, просто даст на время хлеб, приют и какую-нибудь работу, чтобы им, бездомным, прокормиться некоторое время.

Он нарочно ничего не загадывал, и на сердце у него было пусто. Отчаяния, пожалуй, не было, но было ощущение огромной утраты, конца, усталости, пустоты — именно пустоты. Холм святого Георгия, все радости и муки, взлеты духа и боль, с ним связанные, и любовь, которую подарила ему эта бесплодная каменистая земля, покрытая вереском, — все осталось позади. Что он мог сказать своим товарищам? Какую веру вдохнуть в них еще? Какую надежду? Он молчал.

Шагали быстро, говорили мало. Ночевали в тавернах или прямо под открытым небом, под звездами. Ничто не обременяло тела и духа — котомки были почти пусты, вчерашний день прожит. Впереди — неизвестность. Поздними июльскими сумерками завидели на невысоком холме раскидистые деревья парка, шпиль колокольни и старую усадьбу с остроконечной черепичной крышей.

Открыли калитку сада, прошли меж кустами и клумбами к дверям, постучали. И в проеме стремительно распахнувшейся двери предстала перед ними высокая женщина с необыкновенным, одушевленным внутренней жизнью лицом и блестящими черными глазами.

— Вы ко мне? — спросила она, быстро глянув в лица пришедших. И взяла у Джерарда письмо. — Генри Годфилд? Боже мой, ну конечно! Такой прелестный, такой чистый юноша! Я сама лечила его от ран... Где он? Ну заходите же все, я вам рада!

Они переступили порог дома. Когда сели вокруг стола и служанка принесла свечи, Джерард всмотрелся в лицо хозяйки внимательно и понял, что уже видел эту женщину; и даже больше того — он словно давно знает ее душу, пылкую и готовую отозваться на всякое высокое стремление; знает, что послана она ему не случайно и что если кто-то и может сейчас им помочь, то это именно она, Элеонора Дуглас.

## **2. МЕЛЬХИСЕДЕК, ИЛИ НАПРАСНАЯ НАДЕЖДА**

Они говорили и не могли наговориться. С самого утра, встречаясь за завтраком, потом гуляя до обеда в парке или по окрестным лугам, а после обеда сидя внизу, в двусветном просторном зале или в соломенных креслах в саду, и опять вместе за ужином, до позднего вечера...

Он вспомнил, где ее видел. Галерея в Уайтхолле, толпа просителей, поспешные адъютанты и эти блестящие черные глаза, с благородной мольбой устремленные на генерала... Забыть это лицо было невозможно. Джерард никогда не встречал такого живого отклика, такого удивительного понимания. Он говорил о королевской тирании, которая, отдавая предпочтение богатым и высокомерным, отрицает Писание. Элеонора, сверкая



глазами, вспоминала свое свидание с Кромвелем.

— Он освободитель народа, — убеждала она, — он побьет шотландцев, как осилил уже врагов республики в Ирландии, одолеет роялистов!

Они вместе дружно ополчались на духовенство — жадное, лицемерное сословие, потомков фарисеев, которые обманывают бедняков и отбирают у них десятую часть урожая. Обоим было что вспомнить.

И вот однажды Джерард рассказал ей о колонии. Он поведал ей все — и о той ночи в Бекингемшире, под соснами, где властный голос внутри него повелел: «Работайте вместе и вместе вкушайте хлеб свой». И о том, как они начали, благословясь, первого апреля прошлого года вскапывать общинную пустошь на холме святого Георгия и каким радостным, свободным был их труд, как они верили в скорую победу новой жизни. О разгонах, избиениях и муках, которые они претерпели. О переселении на землю пастора Платтена. О новых надеждах и новых погромах и, наконец, об окончательном изгнании из Серри и рассеянии по стране.

Она слушала, печально кивая головой и вздыхая, крутя пальцами черный, с проседью локон. Потом подняла на него глаза и неясно, едва коснувшись, провела ладонью по его щеке.

— Бедный... — сказала она. — Как вы исстрадались. Вам надо отдохнуть, укрепиться духом. Вы должны пожить у меня. Я ведь Мельхиседек... Да, да, пророк Мельхиседек, царь Салима. Я спасу вас.

Дни шли за днями. Август был жарким, сухим, они допоздна засиживались в саду под звездами, вдыхая запах зрелых трав и цветов. Она иногда замолкала, устремив взор к небу, и вздыхала. Он тоже молча смотрел на небо, думая о тайнах природы, которые и есть самые великие духовные тайны в этом мире. К чему измышлять невидимые небесные сферы, ангелов и серафимов, если столько неоткрытых, действительных тайн встает перед твоими глазами? Гармонический ход планет, сияние далеких звезд, раскрытие зерна во влажной почве, зарождение жизни в утробе матери... Познать эти тайны...

Джерард никогда не жил в таком покое, довольстве. Он загорел, помолодел; скорбные морщины на лице разгладились.

Том и Хогрилл помещались во флигеле вместе с работниками, их тоже досыта кормили и иногда поручали кое-какие дела по дому.

Но долго так продолжаться не могло, он это понимал и при первом удобном случае сказал Элеоноре, что не должен больше оставаться гостем в ее доме. Он пришел не для приятных бесед, не для праздного отдыха. Его жизнь — его дело — должно продолжаться во что бы то ни стало. Может ли она отвести на своей земле участок для создания новой колонии? Его друзья прошлись по окрестным деревням и говорили с крестьянами. Некоторые бедняки готовы выйти на пустошь и работать и жить сообща, так, как жили диггеры на холме святого Георгия. Позволит ли она, владелица манора? А может быть, и сама она, слушавшая его рассказы с таким сочувствием, присоединится к колонии, вдохнет в нее свою веру, поддержит своим пророческим даром?

Они сидели внизу, в двусветном зале. Небо быстро темнело, собиралась гроза. Было тихо. Он говорил горячо, он старался передать ей ощущение радости от совместного праведного труда на общей земле.

— Я должен работать. Для будущей колонии. Я верю, что нам удастся возродить ее. И знаете... Лучше я переберусь во флигель, к друзьям. И вам и мне будет удобнее.

Она молчала, глядя в пол и терзая пальцами локон. За окном гроыхнуло. Он вдруг почувствовал, что слова его падают, словно в пустоту, и от этого делаются вялы, неодушевленны...

Леди Дуглас, не поднимая глаз, сказала холодно:

— Хорошо. Перебирайтесь во флигель. Идите... А ваша колония подождет до весны...

В этот вечер он переехал жить из ее дома во флигель, к Тому и Хогрилли. А наутро Элеонора объявила, что поручает Джерарду обязанности управляющего в ее имении и

работу по уборке урожая. Начинается страда — хлеб надо сжать, связать в снопы, обмолотить, свезти в амбары. Вместе с ним будут работать Том и Хогрилл.

— Я заплачу, — сказала Элеонора. — Двадцать фунтов. Вы согласны?

Он посоветовался с друзьями, и они решили, что заработанных денег будет достаточно для того, чтобы весной начать строительство новой колонии. Может быть, даже здесь, в маноре Пиртон. Пока нет другого выхода — придется работать по найму; но впереди снова затеплилась надежда.

Трудиться пришлось усердно — хлеб уродился, земли было много, и Джерард теперь с рассвета до вечерней зари пропадал в поле, в конюшнях, на скотном дворе. Он объезжал работы, нанимал жнецов и возчиков, наладил с помощью Хогрилла молотилку. Работать было приятно — отдохнувшее тело просило движения, руки — труда. Он стал интересоваться рыночными ценами, платой наемным рабочим, количеством смолоченного зерна, укладкой соломы.

Элеонора казалась спокойной и веселой. Джерард днем был занят, и она не могла теперь проводить с ним так много времени, как в первые дни. Теперь она занялась своими делами, видимо, обычными для нее. Она писала трактат со странным названием «Просьба Илии», составляла анаграммы, пела. В доме ее стали появляться новые лица — то молодой поэт, то музыкант, импровизировавший на спиноле и флейте, то алхимик, то предсказатель.

Они проводили многие часы за разговорами и музыкой, за долгим ужином. Джерард, возвращаясь с поля, часто заставлял этих гостей у своей хозяйки. Элеонора была весела, беспечна, все ей нравились: один восхищал голосом, другой — мистической одухотворенностью, третий — стихами или предсказаниями.

Джерард вначале пытался говорить с ними серьезно, но они не слушали. Каждый из молодых гениев был сам по себе и увлекался лишь собственной персоной. Друг друга и вообще людей они мало любили. Какое им было дело до совместного труда бедняков на общинных пустошах? До справедливости?

Они собирались вокруг Элеоноры, каждый говорил свое, а она всех слушала и восхищалась и царила среди них, как пророчица и святая. Однажды он слышал, как она сказала:

— У меня дух не женщины, а мужчины. Я пророк Мельхиседек, царь Салима, священник бога всевышнего. Да, да, тот самый, который встретил Авраама и благословил его. Мельхиседек значит царь справедливости, а Салим — это мир. Кого я благословлю, будет благословен навеки.

Толстый, неповоротливый музыкант при этих словах неловко схватил и прижал к губам ее руку, юный алхимик упал на колени:

— О, благословите меня, ваше прелестнейшее преподобие! Я готов, как Авраам, отдавать вам десятину со всех своих доходов!

Джерард, стараясь не обратить на себя внимания, вышел из гостиной, прошел в сад. Стоял уже сентябрь, ночь была прохладной. Он вдохнул в себя бодрый чистый воздух, глянул вверх и увидел меж листьев яркую голубую звезду. Что он делает в этом доме? Зачем пришел сюда? Заработать денег, подобно рабу, наемнику? Нет. Он мечтал возродить здесь свою общину, самое дорогое свое детище... Но возможно ли это?..

В октябре Элеонора объявила, что уезжает в Данингтон, другой свой манор, а Джерарда оставляет в Пиртоне домолачивать зерно. Он и его товарищи обещали к декабрю закончить работы, чтобы получить обещанные двадцать фунтов и вновь стать свободными.

Однажды вечером он вошел в свою комнату. Пора было ложиться, но спать не хотелось. Он достал из угла старую котомку и со дна ее вынул пожелтевшие, погнутые по углам листы. Заметки, наброски...

Он оглянулся вокруг — стол, кровать под пологом, хорошие, крепкие стулья. В камине огонь. На столе в канделябре — свеча. Он один. Не землянка под нависшим берегом, не лучина, не опрокинутый ящик из досок... Как мог он так долго не брать пера в руки?

Он сел за стол, придвинул ближе свечу и разгладил ладонью замявшиеся листы.

Третьего декабря поздним вечером, он сидел, углубившись в работу над новой книгой. Выстраданные всем опытом жизни слова ложились на бумагу.

«Все великие устремления сердца в наши дни, — писал он, — направлены на то, чтобы найти, в чем заключается истинная свобода... Одни говорят, что она заключается в свободе торговли и в том, чтобы все патенты, лицензии и ограничения были уничтожены; но это свобода по воле завоевателя. Другие говорят, что истинная свобода заключается в свободе проповеди для священников, а для народа — в праве слушать кого ему угодно, без ограничения или принуждения к какой-либо форме богослужения; но это неустойчивая свобода. Иные говорят, что истинная свобода — в возможности иметь общение со всеми женщинами и в беспрепятственном удовлетворении их вожделений и жадных appetитов, но это свобода необузданных, безрассудных животных, и ведет она к разрушению. Иные говорят, что истинная свобода в том, чтобы старший брат был лендлордом земли, а младший брат — слугою. Но это только половина свободы, порождающая возмущение, войны и распри. Все это и подобное этому — свободы, но они ведут к рабству и не являются истинной, основополагающей свободой, которая устанавливает республику в мире. Истинная же республиканская свобода...»

Дверь распахнулась, испуганный встрепанный лакей крикнул, что его немедленно требуют к госпоже. Тогда только Джерард понял, что мешало ему писать: какая-то беготня во дворе, крики, топот... Он встал, одернул куртку, поправил воротник у шеи и шагнул за порог.

Она стояла посреди зала, высокая, в черном бархате и кружевах; глаза метали молнии, Джерард остановился перед нею, почтительно склонив голову.

— Вы... — сказала она и перевела дыхание, — почему вы до сих пор не прислали мне отчета о ходе работ?

— Мадам, — ответил он, — все в порядке. Работы идут к концу. Если бы вы предупредили меня, что вам требуются отчеты, я выслал бы их в должный срок.

— Но как вы можете думать, что мне не нужны отчеты? Я должна все знать, что творится в моем имении. Вы думаете, меня можно безнаказанно обманывать? Я все сама сумею проверить. Где бумаги?

Он не понимал ее гнева. Он взглянул ей в лицо и поразился: на нем лежала печать будничности и практичности. Лицо, обезображенное заботой о деньгах и выгоде.

— Я сейчас принесу счета, — сказал он, — и вы сами все посмотрите. У нас здесь все в порядке, уверяю вас.

— Я не желаю слушать ваших уверений! Вы работаете уже пятнадцать недель, а результатов пока никаких. Вы должны были смолотить по крайней мере девяносто возов!

— Девяносто возов мы никак не могли смолотить, потому что работаем всего четырнадцать недель, и две из них пошли на службу вашему дому.

— Какую службу? Вы все выдумываете! Вы пытаетесь нагреть руки... Вы ни гроша от меня не получите! Где счета? Идемте, я сама хочу все посмотреть!

Она быстро вышла во двор и направилась к флигелю. Он растерянно ступал за нею, недоумевая, что могло произойти... Она почти вбежала в его комнату и принялась быстро перебирать разбросанные по столу листы, расшвыривать их, ища улики его нечестности.

— Я все узнаю... — бормотала она, — я выведу вас на чистую воду... Что это? «...Истинная свобода — в возможности иметь общение со всеми женщинами?» Так вот вы чем тут занимаетесь! Я верила вам, как... как другу, а вы... — Джерард подошел к ней, чувствуя, как давнее, почти забытое холодное бешенство наполняет грудь. Сузан! Дьявол плоти! Она лжива сама, вот почему подозревает его!.. Он твердой, ставшей вдруг очень сильной рукой взял ее за локоть и сказал с ледяным бесстрашием:

— Успокойтесь, миледи. Завтра утром мы разберем с вами счета. Я вам все покажу и во всем отчитаюсь. А сейчас — негоже вам так долго находиться в моей комнате. Ступайте, я провожу вас.

Он вывел ее из флигеля и довел до дверей господского дома. Когда дверь за ней

закрылась, он вернулся к себе, собрал листки и нашел последний. «Истинная же республиканская свобода...» — стояло там. Он сел, упрямо стиснул зубы и дописал: «...заключается в свободном пользовании землею. Истинная свобода там, где человек получает пищу и средства для поддержания жизни, а это заключается в пользовании землею».

Но утром, поднявшись чуть свет, он не увидел ее кареты в сарае. Двор был истоптан и пуст, легкий снежок заметал следы копыт, солому, обрывки веревок... Она уехала ночью. Джерард вздохнул, покачал головой и действительно принялся за счета.

Когда все было проверено и подведен итог, он написал ей письмо — на Лондон, Чаринг-Кросс у Марии Иветты, где был ее дом.

«Мадам, — писал он, — когда вы уехали, я просмотрел счета; там я увидел один недосмотр, и не могу быть спокоен, не послав вам весточки». По его подсчетам, они работали в Пиртоне четырнадцать недель, но две из них ушли на уход за домом и садом и обслуживание ее лошадей и кареты. Поэтому молотильщики работали всего двенадцать недель и обмолачивали в среднем по пяти возов хлеба за неделю — всего шестьдесят возов. Откуда она взяла девяносто?

Все это он объяснил ей в письме и прибавил с горечью, что явилась она вчера, словно тать в ночи, не предупредив его, чтобы уличить в обмане, найти пятно на его совести; но тщетно, ибо он ни в чем перед нею не виновен. Он просил еще раз рассмотреть все счета и амбарные книги, которые прилагал к письму. «Это умерит вашу подозрительность, — писал он, — и даст вам терпение подождать, пока все зерно будет обмолочено. А за сим я остаюсь...» — он хотел написать «покорнейшим вашим слугою», но слово «слуга» претило ему, и он, подумав, вывел: «...остаюсь тем, кто любил вас истинной дружеской любовью, — Джерардом Уинстэнли».

Он вдруг вспомнил, как она назвала себя Мельхиседеком, первосвященником, который благословил самого Авраама. И еще, кажется, похвалялась, что обладает духом мужчины в женском теле. И тут же — бесконечные молодые обожатели вокруг, и кокетство, и легкие, как бы невзначай, касания, пожатия рук, легкомысленный смех... Он поморщился. А денег, обещанных им, не заплатила. Он-то ладно, он переживет, — не ради денег он пришел сюда, но Том и Хогрилл... Но будущая колония... Нет, надо высказаться до конца. Не нужно ни льстить, ни выбирать слов.

Он снова взял перо, и на чистый лист бумаги побежали слова: «А теперь, мадам, позвольте мне сказать вам о безрассудстве вашей опрометчивой ошибки, я действительно должен это сказать, будете вы меня слушать или нет, ибо вы для меня не более чем одна из ветвей рода человеческого».

Он упрекнул ее в том, что она называет себя Мельхиседеком, — а это непростительное высокомерие. Все равно что назвать себя Иисусом Христом. «Мельхиседек был царем справедливости и князем мира, а вы? Люди просят заплатить им деньги, которые они заработали у вас честным трудом, а вы все откладываете уплату».

«И потому не позволяйте больше тайной гордости и своеволию, которыми вы полны, ослеплять ваше сердце. Посмотрите Писание, и вы найдете там, что истинные пророки и пророчицы не откладывали своих договоров и обещаний. Они не обирали своих братьев. Они трудились собственными руками, добывая хлеб насущный... Они не стали бы есть плоды чужого труда, а сами жить в праздности, ибо гордый, надменный дух, возвышающий себя над другими, — это Сатана, или Дьявол; его личину с легкостью сдернет и ребенок...»

Он вспомнил оскорбительные слова, которые она выкрикивала ему вчера ночью, и гнев ее вдруг заразил его. Она ему не верит. Может быть... Может быть, она думает, что он пришел к ней извлечь выгоду из ее поместья? Нет, надо все высказать прямо.

«Я пришел под ваш кров, — написал он, — не для того, чтобы заработать денег как раб. Меня интересовала не тяжесть вашего кошелька — я стремился обратить ваш дух к истинному благородству, которое сейчас столь низко пало на земле. Вы знаете, я ни о чем

вас не просил, я пришел и занялся вашими делами, потому что вы сами попросили меня помочь вам этим летом. И вы обещали мне заплатить 20 фунтов. По вашим законам собственности я действительно заработал их и ожидаю исполнения вашего обещания, ибо должен поделиться с моими бедными братьями».

Чудная мысль пришла ему в голову, и он приписал в конце: «Без сомнения, вы потеряли свои брюки, которые есть знак истинного разума и силы в мужчине. Вы теперь должны носить очень длинную рубашку, чтобы позор ваш не стал заметен... Внутри вас правит бешенство и раздражение...»

Леди Дуглас получила эту отповедь незадолго до рождества. Она прочла письмо довольно бегло и небрежно, потом взяла перо, обмакнула его в серебряную изящную чернильницу и быстрым бисерным почерком вывела наискосок сверху: «Он ошибается, т. к. с 20 августа по 8 декабря прошло пятнадцать недель, и по его отчетам он должен мне за 75 возов пшеницы, это если считать по пять возов в неделю; но надо было делать по шесть возов, значит, с него причитается по крайней мере еще за 15 возов».

Речь шла о ее деньгах — и как же могла она написать иначе?

### 3. УТОПИЯ

Ощущение неминуемой беды то приближалось и завладевало духом, подобно болезни, то отступало и скрадывалось под напором событий, проблем, требований дня, но никогда не исчезало совсем. Слишком большую власть господь вложил в его руки.

Кромвель в тяжком раздумье прошелся по кабинету. Он хоть и жил теперь в Уайтхолле, на Петушином дворе, но обстановка его комнат была самой непритязательной. Спартанская простота их убранства поражала иностранных послов. Стол, несколько жестких стульев, очаг, карты по стенам. Он остановился у высокого решетчатого окна. Февраль катился к концу, скоро весна. Весна 1652 года...

Он победил шотландцев осенью прошлого года, и этой замечательной победой всякое сопротивление Республике было сломлено. Опасности роялистского мятежа более не существовало. Теперь, вернувшись наконец домой, можно было оглянуться вокруг и решить, что нужно сделать, чтобы Англия стала воистину землей обетованной.

Страна была разорена. Торговля, ремесло, земледелие — в упадке. Получившие полную свободу земельные собственники беззастенчиво грабили крестьян. Вместо старых лордов, бежавших в роялистскую армию или на континент, появились новые господа, более циничные и корыстные; они с еще большей энергией огораживали поля, сгоняли крестьян с земли. «Мы не имеем возможности предоставить нашим детям и семействам надлежащее пропитание и предаем их как рабов во власть клириков и владельцев десятины, которые жестоко мучат нас...» — писали люди Кромвелю — не в парламент, не в Государственный совет, а лично ему.

Толпы нищих и бездомных бродили по дорогам. Тюрьмы ломились от несостоятельных должников. Законы не соблюдались. Огромная разбухшая Армия требовала жалованья и продовольствия. У власти стоял очищенный Прайдом парламент — не парламент, а 50–60 человек, которые давно уже никого не представляли. Страна нуждалась в конституции, в твердой власти. И как тут поступить? — думал Кромвель. Посадить на трон малолетнего принца Глостерского и стать при нем регентом? Ему предлагали это недавно юристы — Уайтлок, Сент-Джон. Но Армия этого не захочет. Солдатам дорога Республика и ее идеалы: стройные справедливые законы, отмена монархических установлений, регулярная выплата жалованья, обеспечение вдов и сирот.

В дверь быстро постучали, она сразу же распахнулась с треском, влетел увешанный оружием Хью Питерс. Безалаберный, взбалмошный, восторженный, как всегда. И, как всегда, полон новостей. Кромвель любил его.

— Затмение! — выкрикнул Хью, не успев поздороваться и потрясая пачкой газет. —

Затмение солнца. Астрологи предсказывают — полное. Светило небесное закроется черным диском, мрак охватит землю, среди бела дня покажутся звезды.

— Когда? — Кромвель взял листки, подошел к столу за очками.

— В марте, в черный понедельник. Сектанты ожидают конца света и второго пришествия. А богачи из Сити бежать собрались, трясутся за свое добро.

Кромвель нахмурился, пробежал глазами газетный листок.

— Еще затмения нам не доставало. Надо сказать, пусть Государственный совет издаст бумагу. Что это, мол, естественное явление и жителям нечего опасаться. Все, конечно, от господ, но могут найтись смутьяны.

— Найдутся, найдутся. Смутьяны всегда найдутся. Вот я вам еще принес... — он полез за пазуху и вынул довольно объемистую книжку в дешевой обложке. — Вам посвящено, между прочим. Посмотрите. «Закон свободы» называется.

— Что, опять про мои победы? Или новая конституция? Ладно, положи.

— А знаете, как в народе говорят о парламенте? «Охвостье» или еще — «огузок». Сменяются...

— В том-то и дело. — Кромвель заволновался, сорвал очки, тяжело заходил из угла в угол. — «Огузок»... Армия хочет республики и реформ. Юристы требуют возврата к традиционной монархии с малолетним принцем на троне. Им только намекнешь на реформу права — они кричат, что это разрушит собственность. А этот... огузок... Хью, ты святой человек, скажи, что делать?

— Молиться, — быстро и легко ответил Питерс; в детских глазах его зажегся восторженный огонек. — Обратиться к слову божью и в нем искать тот образ правления, который исцелит зло.

Когда он ушел, Кромвель открыл принесенную книжку. На титульном листе значилось: «Закон свободы, изложенный в виде программы, или Восстановление истинной системы правления. Почтительно поднесенный Оливеру Кромвелю, генералу республиканской армии в Англии. И всем моим братьям англичанам, внутри церкви и вне церкви, идущим по жизни согласно своему пониманию Евангелия; а от них — всем народам мира. Где объясняется, что есть королевское правление и что есть республиканское правление». Ниже стояло имя автора: Джерард Уинстэнли.

Собственно, именно об этих вещах Кромвель неотступно думал все последние месяцы. Он сел за стол, перевернул страницу и углубился в чтение. «Сэр, — писал неизвестный Кромвелю человек, — бог одел вас величайшей для человека почестью со времен Моисея, поставив главою народа, который изгнал угнетателя фараона... Вы занимаете такое место и облечены такою властью, что можете снять все бремя с плеч ваших друзей, простых людей Англии».

Да, господь вознес его на невиданную высоту, власть его, ничтожного червя, огромна, но сколь тяжелее власти ответственность!.. Он читал: «Желательно еще, чтобы вы сделали следующее: искоренили власть угнетателя вместе с его особой и озаботились тем, чтобы свободное владение землею и правами было отдано в руки угнетенных простых людей Англии». Кромвель нахмурился: в каком смысле свободное владение землею? Какая свобода? О, свобода — опасное слово, он хорошо это знал. Он сам был за свободу — свободу веры, свободу от королевского произвола, свободу торговли. Но терпеть не мог крикунов вроде Лилберна, которые понимали свободу как равное для всех участие в выборах. Не может быть свободы для всех, как и равенства для всех, это чепуха! А тут еще автор, как его... Кромвель посмотрел обложку — Уинстэнли... Похоже, он покушается и на собственность. Что значит «свободное владение землею»?

Не разводя насупленных бровей, он перевернул несколько страниц. «А теперь я поставил светильник у ваших дверей, ибо в ваших руках власть при сей новой благоприятной возможности действовать ради всеобщей свободы, если вы пожелаете. Я не имею власти. Возможно, кое-что вам не понравится, поэтому прошу вас прочесть все и, уподобясь трудолюбивой пчеле, высосать мед и отбросить лишнее. Хотя сия программа

подобна грубо отесанному куску дерева, все же искусные работники могут взять его и сложить стройное здание. Она похожа на бедняка, приходящего к вашим дверям в старой, изорванной деревенской одежде, незнакомого с обличьем и обхождением ученых горожан; отбросьте грубую речь, ибо под ней вам может предстать красота...»

Густые брови разошлись, лоб просветлел, Кромвель усмехнулся. Искренность и скромность этих слов тронули его сердце. Посвящение заканчивалось словами: «Итак, я предаю сие в ваши руки, смиренно склоняясь перед вами, и остаюсь истинным почитателем республиканского правления, мира и свободы».

Республиканское правление... Кромвель задумался. Это сейчас самое важное: республиканское или монархическое? Он слишком хорошо знал, что многие подозревают его в желании самому сесть на английский престол — не только кавалеры, но и республиканцы, левеллеры, юристы, тот же Уайтлок... Что же предлагает автор?

Перед ним был проект установления в Англии равной и счастливой республики.

Несколько больших глав трактовали вопрос о природе правления — его происхождение, суть, задачи. «Общее самосохранение, — читал Кромвель, — является первоначальным источником управления... Если правители заботятся о поддержании мира и свобод простого народа и о том, чтобы освободить его от гнета, они могут пребывать у кормила правления и никогда не встретить помехи. Но если их нахождение у власти имеет целью лишь собственные интересы — это предвещает их падение и часто свидетельствует о язве, поразившей всю страну...»

Все это так... Кромвель согласен. Тиранию — королевскую тиранию, власть епископов, монополий, аристократов — следует устранить. Все, что писал этот Уинстэнли о королевской власти, весь гнев его против ига Карла Стюарта Кромвелю нравились. А парламент? «Парламент, — читал он, — есть высшая палата справедливости в стране и должен избираться ежегодно; от каждого города и от деревенских районов по всей стране должны быть избраны в нее по два-три и более человек. Этой палате должна принадлежать вся полнота власти, так как она является представительницей страны...»

А вот это уже пахнет опасным уравнильным принципом. С этим Кромвель решительно не согласен. Избирать в парламент должны не все жители (ни в коем случае!), а лишь почтенные, имущие, заинтересованные в сохранении порядка. Губы его надулись сердито. Если предоставить право выборов всем без разбора, подумал он, парламент станет покровителем бездельников и бродяг, всей великой нищей братии! Этого нельзя допустить.

Кромвель полистал книжку с конца. Глава о законах. Это важно: реформа права сейчас — одна из самых насущных задач. Вот: «Краткие и сильные законы — лучшие для управления Республикой». Он стал читать внимательно. Беда английских законов — их многочисленность, запутанность, противоречия. Народ законов не знает, а это рождает произвол в судопроизводстве и тянет из людей деньги без удержу. Законов должно быть немного. Они должны быть известны каждому, а для этого общественные проповедники зачитывают их перед приходом. Примерный свод законов, предлагавшийся автором, насчитывал всего 62 пункта. Законы об управлении... Об обработке земли... Закон против праздности... О складах... О наблюдателях... Против купли-продажи, о лицах, утративших свободу, о браке...

А вот и об армии. Всех высших офицеров в ней назначает парламент. Он дает им распоряжения, ибо он, и никто другой, есть глава республиканской власти. С этим Кромвель тоже не мог согласиться. Его армия — простой придаток, слуга парламента? Наоборот, она его противовес, гарантия против неумеренной власти «охвостья». Кромвель начинал сердиться. Перелистал несколько страниц. Речь пошла о «республиканской земле». Нахмурия лоб, набычив шею, он пробежал глазами строчки. «Вся та земля, которую отняли у жителей короли-тираны и которая теперь возвращена из рук этих угнетателей соединенными личными усилиями и средствами простых людей страны... не должна снова передаваться в частные руки по законам свободной республики... В том числе монастырские земли... а также все коронные земли, епископские земли со всеми парками, лесами и охотами... Также

все общинные земли и пустоши... Бедняки должны иметь часть в них... Теперь задача парламента — сделать распоряжения, поощрения и указания бедным угнетенным людям страны, чтобы они немедленно начали обрабатывать и удобрять эту их собственную землю для свободной обеспеченной жизни своей и своего потомства...»

Кромвель представил, как войдет завтра в парламента и предложит сделать такое распоряжение. Его после этого, чего доброго, — прямо в Бедлам... Нет, все это несерьезно. Бедняки, пустоши... Конечно, о бедняках тоже надо позаботиться, но не это сейчас главное. Реформа церкви, реформа права и на первом месте — конституция. Республика или монархия? Вот над чем он сейчас бился. И не обнародовать каждое постановление, прежде чем сделать его законом, как предлагает автор, а действовать умно, осторожно, ухватисто...

Кромвель оттолкнул от себя «Закон свободы», встал, снял очки, крепко потер ладонями лицо. Затмение солнца... Неминуемая война с Голландией... «Охвостье», которое не желает уступать власть... Жалование солдатам... И главный, первейший, проклятый вопрос — каким же должно быть правление в Англии?

Он взял колокольчик и сильно, сердито встряхнул. Пора было заняться государственными делами.

— Ну что скажете, Нед? Входите, я всегда вам рад.

Так говорил пастор Платтен, спускаясь по скрипучей лестнице навстречу гостю. Нед Саттон стоял в дверях, держа в одной руке круглую черную шляпу с высокой тульей, в другой — пачку бумаг.

— Давно вас что-то не видно, — сказал пастор. Он и сам теперь редко бывал на людях. Два года прошло с той памятной Пасхи, когда он отстоял свое право на землю, право лорда, право землевладельца и пастора, охраняющего собственность. Пока последний отщепенец не убрался из его владений, пока мятежные арендаторы вроде Полмера, Уидена, Чайлда не повинились перед ним и не вернулись в свои дома, обещав уплатить ренту сполна и никогда не бунтовать больше, — наемники из Уолтона и из отряда капитана Стрэви дежурили денно и ночью на холме святого Георгия. Почти до середины лета... А когда порядок был восстановлен и пастор избавился от гнева и страха, — меланхолия, так подробно описанная Робертом Бертоном, овладела им с новой силой, он замкнулся в своем безмолвном доме и выезжал только в церковь — на проповеди и требы. Лоб его еще больше облысел, полнота давала себя знать заметнее.

— Садитесь, Нед, сюда, поближе к огню. Что нового?

— Я из Лондона, ваше преподобие. По делам ездил, хочу землицы прикупить, пока распродают конфискованное. А то расхватают, охотников много. Вот, привез вам кое-что. — Он положил пачку бумаг на стол. — Вы в этом лучше меня разбираетесь.

— Спасибо, Нед, посмотрю. А что слышно в Лондоне?

— Затмение солнца, говорят, будет. Парламент десятину хочет отменить. И с Голландией, верно, воевать придется. Значит, новые налоги... А еще знаете что? — Он вынул из пачки толстенькую книжцу. — Помните смутьяна этого, который копателей на холме собрал?

На лице пастора промелькнул испуг.

— Уинстэнли?

— Он самый. Книжка его вышла — «Закон свободы».

— О чем это? Опять ересь? Или мятежный бред?

— Он там о лордах ох, забористо пишет! Позвольте, я найду. — Он раскрыл книжку, поискал и прочел вслух: «Власть лордов маноров до сих пор тяготеет над их братьями, лишая их свободного пользования общинными землями...» Видите, куда клонит?

Пастор нахмурился, чувствуя, как просыпается старая, неотболевшая ненависть. Опять этот человек является, чтобы нарушить его покой!

— Довольно, Нед! — Пастор хлопнул по столу ладонью. — Что станется с Англией, если она посягнет на власть лордов? Все погибнет! Они хотят добывать свой хлеб не трудом,



а грабежом, вот в чем суть! «Освободиться от рабского подчинения лордам!» Это отказ от веры! Ибо, кто ропщет на господина своего, тот ропщет и на самого господа бога! Он хочет, чтоб бедные стали богатыми, а лорды нищими? Да это же... — пастор волновался и никак не мог подобрать слово. — Это... коммуны на земле устроить, вроде Мюнстерской! Что господь тебе дал, тем и пользуйся, не пожелай земли ближнего... И это напечатали! Что ж это делается, Нед, что делается в мире! Они хотят отнять десятину, запретить огораживания, лишить нас всякой власти и свободы пользования собственностью... Как же жить, Нед, а?

Нед хитро и недобро улыбался, черные глазки его блеснули.

— Он говорит, что никто нуждаться не будет. Пусть все, мол, работают, копаются в земле, как они, а еду и имущество получают из общественных складов.

Пастор встал, колыхнув животом, и заходил по залу.

Нед тоже поднялся с кресла: «Я вам оставлю книжечку, вы посмотрите. А сам пойду — март на дворе, дел много по хозяйству». Он поклонился и вышел.

Пастор брезгливо взял книгу, поправил очки, полистал... Взор упал на слова «гнет духовенства». «Если кто-нибудь выскажет свое суждение о боге, — прочел он, — противоположное тому, чему учит духовенство, или несогласное с мнением высших должностных лиц, то его лишают должности, заключают в тюрьму, подвергают лишениям, губят и объявляют преступником за одно слово... На том, чем мы владеем, лежит до сих пор бремя десятины... Таким образом, хотя их проповедь забивает умы многих безумием, раздором и неудовлетворенными сомнениями, ибо их вымышленные и необоснованные доктрины не могут быть поняты, мы все же должны уплачивать им солидный налог за то, что они этим занимаются...»

Пастор опустил книжку, горло от волнения перехватило, он сглотнул, но отвратительный комок не проходил. Он ясно понял, что эти слова написаны о нем. Возмездие явилось. Ибо что ни говори, а он, пастор, проповедник Евангелия, разрушал и жег дома, выгонял на мороз детей, топтал посевы... Его именем и волей избивали безоружных... Он хотел забыть об этом — все эти два года он только и делал, что старался забыть. Лорд Платтен прав в своем гневе. Но пастор Платтен должен был действовать иначе. Его насилие уязвимо, более уязвимо, чем их блаженное непротивление. Он вспомнил, как они пели свою песню перед горящим домом. А он, пастырь, проповедник благодати — неистовствовал, словно зверь. Уж не проклял ли его господь навеки?

Он закрыл лицо руками. Потом спохватился, оглянулся, нет ли поблизости детей. Все было тихо. Тогда он взял книгу, прижал к животу и стал подниматься по лестнице в кабинет. Он должен прочесть все до конца.

Пастор читал о равном и справедливом обществе, где все одинаково трудятся и живут в изобилии. Никакого посягательства на чужое имущество или общности женщин нет и в помине: дом, личные вещи, семья — священны. Покушение на них карается законом. А вот и о духовенстве. Лицо, избранное проповедником на один год, каждое воскресенье читает перед народом новости о состоянии дел в стране. Он зачитывает вслух законы республики, чтобы напомнить их пожилым и довести до сознания молодых и неопытных. А потом в вольной беседе поясняет события древних времен, ведет речь об искусствах и науках, о законах движения звезд и навигации, о хлебопашестве, химии, астрологии... И о природе человека говорит он — о темных и светлых сторонах ее, слабости и силе, любви и зависти, скорбях и радостях...

И только? Пастор привык, что главное его дело, как и всякого духовного лица, — говорить о боге, об искупительной жертве Христа, о покаянии. О суде и возмездии в той, иной жизни. Здесь же места таким речам не оставалось. Природа, наука, человеческие радости и пороки...

Пастор рывком отодвинул от себя книжку. Но ведь это значит... Не только упразднить духовенство как посредствующее звено между богом и человеком, но и... страшно вымолвить... Упразднить самого господа бога! Он не богохульник, этот Уинстэнли, не еретик, он хуже! Он атеист!.. Он сводит понятие бога к видимому миру вещей — и только.

Высшее знание духовных и небесных сфер он низводит до познания природы. Это материализм и атеизм, учение холодное, иссушающее и гораздо более страшное, чем мистический бред сектантов.

Патрик Платтен почувствовал под ногами твердую почву. Отрицание бога всегда представлялось ему чудовищным, непростительным пороком. Чего можно ждать от человека, который решается утверждать, что бог сводится к тварному миру? Так может быть, он, пастор, правильно поступал тогда, когда боролся не на жизнь, а на смерть с этим дьявольским учением?

Прокашлявшись, пастор поправил очки и, ободрившись, стал читать дальше. Но слова незримого обличителя жгли его огнем; он уже не в силах был оторваться от книги. «Ваше божество не говорит правды... Ваше священное духовное учение есть обман, ибо в то время, когда люди взирают на небеса и мечтают о счастье или страшатся ада после своей смерти, их лишают глаз, дабы они не видели, в чем состоит их прирожденное право и что они должны делать здесь, на земле, при жизни. Это — обольщение сна и облако без дождя».

Всю жизнь проповедовал пастор Платтен славу и воздаяние на небесах, после смерти. Он звал народ к пренебрежению земными благами. Он полагал, что это и есть христианство. Но со страниц книги на него смотрел обличитель, он укорял его в том, что делал он это для своей выгоды. Для порабощения народа, для бессовестного пользования его трудом. Для обмана... И не мог не согласиться пастор в глубине души, что это правда. Недаром уже сбывались пророческие слова: «Народ не будет внимать голосу вашего обольщения, как бы мудро вы ни прельщали его...»

Платтен сорвал очки, закрыл лицо ладонями и надолго застыл в неподвижности.

— Ишь как он их! Все точно так и есть.

— А еще — слушайте, слушайте! «Во многих приходах двое-трое видных лиц захватывают все влияние при распределении налогов, оказывая нажим на чиновников; а когда приходит время распределить на постой солдат, они вмешиваются и в это дело, избавляя себя и перегружая слабых». Хорошо сказано, а?

Хогрилл оглядел столпившихся вокруг людей. Таверна в Чилтернах была полна. За некрашеными длинными столами, за кружками эля сидели крестьяне, работники, подмастерья. Они слушали то, что читал им однорукий солдат, инвалид великой войны с королем. Две сальные свечи поставили прямо перед ним, чтобы ему было светлее; дверь изредка впускала посетителей.

— Давай. Давай дальше, — попросил чернявый горбоносый Джо. — В самом деле, он правду пишет.

— «Существует и другое бремя, очень волнующее народ: деревенский люд не может продавать хлеба и других плодов земли на рынке в городах — или он должен заплатить пошлину, или его выгоняют из города... Народный ропот гласит: мелкие держатели и работники несут все тяготы, пахут землю, платят налоги, держат постой свыше своих сил, поставляют солдат в армию, несут самое тяжелое бремя войны; однако дворяне, которые угнетают их и живут в праздности их трудами, отнимают у них все средства к обеспеченной жизни на земле».

Питер, худой и изможденный еще больше, нервно дернул головой:

— Вот-вот. Земли общинной нас лишили, друзей на войну забрали — мы молчим. Сносим безропотно, потому что нам обещана свобода. А где она, свобода?

За столом зашумели.

— Какая свобода, живем куда хуже, чем раньше!

— Короля нет, а тягот прибавилось!

— Новые хозяева еще прижимистей...

— Не шумите, слушайте! — крикнул Джо. — Тут человек как раз о законе свободы пишет! Давай, солдат, дальше.

Хогрилл продолжал читать:

— «А разве это не рабство, говорит народ, хоть в Англии и достаточно земли, чтобы содержать в десять раз больше населения, чем в ней есть, все же некоторые вынуждены просить милостыню у своих же братьев, исполнять на них тяжелую работу за поденную плату и либо голодать, либо воровать и быть повешенным».

Питер, сидевший по другую сторону от Хогрилла, заглянул в книжку, пошевелил губами, потом воскликнул:

— Слушайте, братья, как сказано: «Для человека лучше не иметь тела, чем не иметь пищи для него; а посему это отстранение от земли братьев братьями есть угнетение и рабство, а свободное пользование ею есть истинная свобода».

— Земля и есть свобода, это верно, — задумчиво произнес Джо. — Читай, брат, как мы жить-то будем.

Том перевернул страницу.

— Вот: «Землю следует обрабатывать и плоды ее собирать в склады с помощью каждой семьи; и если какому-либо человеку или семье понадобится хлеб или другие продукты, они могут пойти на склад и получить их без денег».

— А если на складе чего-то не будет? — прищурил глаза, спросил седой человек с морщинистым жестким лицом. — Да если и будет, так всем станут выдавать без разбора?

— В том-то и дело, что все будет! — убежденно ответил Хогрилл. — Ведь работают-то все, значит, везде царит изобилие.

— Ну да, — пояснил Том, здесь же сказано: склады имеются повсюду, в деревнях и в городах, и все товары свозятся туда — и плоды земли, и изделия ремесленников. А выдаются по потребности.

— По потребности... — вздохнул мальчуган, сидевший против Тома. Ему хотелось есть всегда — даже после обеда. А по этой книжке выходило, что голода не будет, можно есть сколько хочешь.

— По потребности — да, — назидательно произнес Хогрилл, — но ничего лишнего. А то, может, у твоей жены будет потребность кружева на себя напяливать. Нет уж, пища, одежда, крыша над головой — вот главные человеческие потребности. А что сверх того — от лукавого.

Хогрилл продолжал читать. Эту книжку, уже потрепанную по углам от постоянного перелистывания, передал ему как великую драгоценность Джекоб Хард, с которым они столкнулись раз в лондонских доках. Однорукий солдат и Том по-прежнему ходили по дорогам Англии, ища заработка, нанимаясь то к одному хозяину, то к другому и нигде не останавливаясь подолгу. С работой было туго. Джерард расстался с ними больше года назад, получив наконец деньги от леди Дуглас. Он тогда дал им по несколько фунтов — больше, чем оставил себе, и попрощался с ними. Он должен писать, сказал он. Хогрилл и Том теперь понимали, что он писал. Большая книга! Они прочли ее залпом, за один вечер, и были потрясены. Теперь куда бы ни забрасывала их судьба, всюду они носили с собой эту книжку и читали людям. И везде бедняки, простые души, откликались.

— Друзья! Помолчим немного. Пусть дух снизойдет на нас и скажет устами того, кого ему угодно избрать, — богатого или бедного, слуги или хозяина, молодого или старого, мужчины или женщины... Все мы равны перед господом, все достойны света.

На столе горели две свечи, ни кружек с пивом, ни тарелок с мясом. И сама хозяйка, Бриджет, совсем другая. Волосы аккуратно прибраны под чепец, темное платье застегнуто наглухо. Здесь собрались самые смиренные жители Уолтона и Кобэма — те, кто всю жизнь искал и не мог найти справедливости. И Джилс Чайлд все в той же порыжелой куртке, и маленький Уиден, и старик Колтон, и длинный Уриель. И тонкий высокий юноша с небольшими светлыми усиками и чуть косящими глазами — Джон Годфилд. Они сошлись сюда, чтобы помолчать и помолиться вместе.

Они не только молились, эти люди. Они продолжали сопротивление — героическое, упорное сопротивление силам куда более могучим, чем они сами: несправедливым законам,

произволу властей, официальной церкви; они боролись с неравенством, бедностью, нищетой. Они требовали республиканского устройства в Англии. Злоупотребления чиновников и лендлордов они клеймили как зло и позор для имени божьего. Они верили, что бог полон любви ко всем творениям и желает блага любому, а значит, любое ущемление свободы и прав личности — тяжкий грех, который можно искупить, лишь полюбив ближнего как самого себя и поделившись с ним всем, что имеешь.

Джон, уже взрослый юноша и хозяин в доме, примкнул к этим людям. Их молчаливый, но стойкий протест напоминал ему дело, начатое Джерардом Уинстэнли весной 1649 года на холме святого Георгия. Пусть нельзя пока распахивать общинную пустошь. Но бороться и строить новое царство можно иным путем. И он делал все, что мог, с упорной последовательностью: не снимал шляпы перед властью имущими и пасторами; отказывался брать в руки оружие, приносить присяги и клятвы, даже установленные законом; вопреки постоянному ворчливому недовольству матери не ходил в церковь и не платил с имения десятины.

В Кобэме, Уолтоне и округе бедняки стали собираться опять. Они, единомышленники, называли на «ты» не только друг друга, но и тех, кому полагалось кланяться в пояс. Они не снимали шляп перед лордом и пастором. Они делились между собой имуществом, едой и одеждой. Они старались по мере сил продолжать дело общины, основанной Уинстэнли.

Однажды друзья из Уолтона и Кобэма толпой вошли в церковь святой Марии. Некоторое время молча слушали проповедь пастора Платтена, и вдруг Джилс Чайлд крикнул на весь храм громовым голосом:

— Сойди вниз, лжепророк, обманщик, слепой поводырь слепых, наемник!

Поднялся шум. Почтенные горожане повскакали с мест, пришельцев стали гнать из храма. Их вытолкнули на паперть, Джону кто-то посадил фонарь под глазом.

Сейчас он сидел, изредка дотрагиваясь до горящего синяка, и смотрел на пламя свечи. Он ждал того особого состояния сосредоточенности, твердости и веры, которое давало ему силы говорить и действовать в этой новой общине, среди друзей. А Джон среди них был не последним. Ему, восемнадцатилетнему юноше, была поручена казна — общие деньги, фонд, который по крохам собирали эти бедняки для помощи братьям.

Тишина напряглась, глаза заворуженно следили за дрожанием пламени...

И вдруг быстрым, легким рывком поднялся с места маленький Полмер. Волнуясь, он достал из-за пазухи завернутую в красную тряпицу книгу. Дженни помогла ее развернуть.

— Мы с Дженни не сильны в грамоте... — надтреснутый слабый голос дрогнул. — Может быть, юноша почитает, эта книга написана для нас, она полна света...

Он протянул книгу Джону, тот, нахмурясь от волнения, раскрыл первую страницу, и глянуло с нее имя его учителя Джерарда Уинстэнли. Юноша начал читать вслух. Посвящение Оливеру Кромвелю. Посвящение дружественному и непредубежденному читателю. Что есть истинная свобода... Друзья слушали внимательно. Полмер ладошкой пригнул ухо, боясь проронить слово. Глаза Дженни, его жены, мечтательно устремились вверх. Бриджет сохраняла серьезность, а Уриель то и дело дергался, порываясь вставить слово.

— «Но разве ни один человек не будет богаче другого? — читал Джон. — В этом нет никакой надобности, ибо богатство делает человека тщеславным, гордым и угнетателем своих братьев; и оно же служит причиной войн. Ни один человек не может стать богатым иначе, как либо от трудов рук своих, либо от трудов других людей, помогавших ему... Богатые люди живут в довольстве, питаюсь и одеваюсь трудами других людей, а не своими собственными. И в этом их позор, а не благородство. Ибо давать — более благословенное дело, чем получать».

— Так! Так, замечательно! — не выдержал Уриель. — Благородство не в титуле, не в богатстве, а в душе! Внутри нас!..

— В труде благородство, вот в чем, — сказал Чайлд.

— А как все-таки быть, если кто-то не захочет работать? — спросил Роджер. Он стал

совсем взрослым и очень походил на отца. Мать его, Рут, с младшими жила на севере, а он вернулся в Уолтон, к друзьям. Здесь он работал по найму, пас коров у соседей, как некогда Джерард, и посылал матери заработанные деньги.

— Милый, для этого и введен закон, — Полмер ласково улыбнулся. — Над работниками стоят наблюдатели, их выбирают каждый год. Они увещевают ленивых, а коли те не поддаются, наказывают. А над всей республикой — старейшины, парламент, правители. Ты читай, Джон, дальше. Там все сказано.

И Джон читал:

— «Выбирайте мужественных людей, не боящихся говорить правду, ибо это позор для многих в Англии наших дней, что они погрязли в вязкой тине рабского страха перед людьми. Выбирайте служащих из числа людей старше 40 лет, потому что в таком возрасте скорее встречаются опытные люди и среди всех этих людей скорее найдутся мужественные, поступающие честно и ненавидящие алчность...»

И чем больше он читал, тем большей надеждой наполнялись сердца тех, кто его слушал. Можно ведь, можно жить на этой земле в любви и мире! Можно установить такой закон, чтобы все были равны, все трудились на общее благо и наслаждались плодами своего труда. Можно открыть в себе свет и наполнить душу любовью к братьям, ко всем людям, ибо все мы — ветви одного древа.

Они, бедняки, всем сердцем соглашались с тем, что было написано в книге. Их платье изнашивалось, башмаки были худы, а желудки всегда голодны. Их дети просили хлеба, а жены надрывались в непосильном труде. Им нравился справедливый закон: «Ни один глава семьи не позволит, чтобы к обеду или к ужину было приготовлено мяса больше, чем может быть израсходовано или съедено в его хозяйстве... Если же в семье какого-либо человека пища станет постоянно портиться, наблюдатель сделает ему выговор за это перед всем народом и пристыдит его за безрассудство. В следующий раз он будет обращен в слугу на двенадцать месяцев под надзором смотрителя, дабы он знал, что значит добывать питание...»

О, им было ведомо, каким тяжким трудом добывается хлеб насущный! Но внутренне они уже освободились. Они познали истинную цену вещей и верили, что может быть на свете мир, и справедливость, и радость. И готовы были работать для этой грядущей радости — работать руками на земле, которая их взрастила, и работать каждый день и каждый час в душе своей, искореняя злобу, жадность, зависть, неправду. К этому звал их невидимый учитель со страниц своей прекрасной книги.

А Джону грезился неведомый далекий мир. Возможно, века пройдут, прежде чем люди научатся жить, как братья.

В этот раз друзья разошлись поздно. Весенняя ночь стояла над холмом святого Георгия. Когда все вышли на улицу из дома Бриджет, Джон подошел к Полмеру.

— А можно я попрошу у вас эту книгу? — сказал он тихо. — На один день, а? Мне для сестры... Ей очень нужно это прочесть.

Полмер достал из-за пазухи завернутую в тряпицу книгу и молча отдал Джону.

— Спасибо! — сказал он. — Спасибо, завтра отдам! — крикнул он еще раз, уже спеша своей неровной, слегка подпрыгивающей походкой к дому.

Элизабет сидела у себя наверху, забыв загасить ненужную при свете весеннего раннего утра свечу, и читала не отрываясь. Она искала ответа на свои вопросы: где он? Что пережил за эти годы? Какой он теперь? Помнит ли?..

Нота печали явственно звучала с сероватых, наспех набранных страниц. Нота страдания. «О, сколь велико заблуждение и глубок мрак, объявивший наших братьев. Я не имею сил рассеять его, но оплакиваю его в глубине моего сердца...» Из этого Элизабет заключала, что жилось ему невесело. Он будто жаловался ей, рассказывал, как бывало, о нелегких своих исканиях. «Мой дух, — говорил он, — углублялся в поисках основы этого священного учения, и, чем больше я искал, тем больше утрачивал, и никак не мог успокоиться и познать бога в моем духе, пока я не узнал того, что написано в этой книге».

Он, видно, был очень одинок эти годы. Сердце обожгла мучительная горькая жалость, когда она прочла: «И вот мое здоровье и имущество потеряны, я старею. Я должен либо просить милостыню, либо работать за поденную плату на другого...»

Элизабет вздохнула прерывисто и горестно. Она тоже была одинока. От Генри изредка приходили письма из-за океана — письма бодрые, но не длинные, из которых можно было понять, что он стал землевладельцем и даже принимает участие в управлении колонией. Он посылал и деньги, которые очень выручали обедневшую семью. Джон жил своей мужской, отдельной жизнью. Он стал очень серьезен, деловито управлялся с хозяйством их маленького имения и все свои силы отдавал работе в обществе друзей. Элизабет гордилась им и грустила об утрате их детской доверчивой близости. Джон, впрочем, звал ее не раз на собрания к Бриджет, но она ходить туда почему-то не решалась.

Френсис вышла замуж за Чарльза Сандерса и жила теперь в Лондоне, близ Судейского подворья: Чарли служил там адвокатом. Анна стала рослой, румяной, смешливой девушкой и вместе с матерью была более всего озабочена приисканием себе достойного жениха. С ней можно было говорить только о молодых джентри или судейских, о том, кто как на нее посмотрел или что сказал, кто сел с ней рядом в церкви, у кого сколько фунтов годового дохода и сколько земли...

Элизабет сидела дома, читала то, что приносил Джон, а также старые любимые отцовские книги, иногда ходила гулять на холм святого Георгия... Но нечасто. Воспоминания были слишком мучительны. И вот книга Джерарда лежала перед нею. Она читала всю ночь и не могла оторваться.

Эту книгу, «Закон свободы», он, оказывается, писал уже давно: он уверял Кромвеля, что предназначил ее ему на рассмотрение свыше двух лет назад, но беспорядки того времени заставили отложить ее в сторону. И, чем больше Элизабет читала, тем явственнее вставал в ее памяти один их ночной разговор на холме, над ожерельем далеких огней деревни...

Лазурные волны омывают зеленый остров, который, подобно изумрудной переливающейся раковине, встает над морем. Счастливые и свободные люди живут на этом острове. Мудрый и справедливый закон правит ими, мудрые и честные люди стоят во главе...

Тогда Джерард надеялся, что такой закон будет установлен в Англии в самое ближайшее время.

Закон... Он много говорил ей о законе. Одни люди мудры, другие глупы, одни ленивы, другие трудолюбивы, одни опрометчивы, другие вялы, одни доброжелательны и щедры, другие завистливы и жадны, ищут спасения только для себя и избытка в жизни... По этой причине им необходим закон, который должен стать правилом и судьей всех человеческих поступков, хранить общий мир и свободу. Однажды она сказала ему, что он — сам закон для нее...

Но что это? Где-то с середины книги появились незнакомые, несвойственные Джерарду раньше мысли. Нарушение закона... Лишение свободы... Солдаты, доставляющие нарушителя в палату судей... Если ленивые и корыстные будут уваливать от работы и не будут спокойно подчиняться закону, смотритель назначит им скудное питание и будет бить их кнутом, «ибо лоза уготована для спины глупцов», до тех пор, пока их гордые сердца не склонятся перед законом...

Нет, Джерард, при всей его доброте, — не безответный, не слабый, нет... Элизабет вспомнила, как твердо он требовал права оправдаться в суде, с каким упорством всякий раз возрождал колонию после разгромов — вопреки всему снова строил, сеял, вселял надежду в сердца работников... Он прав. Закон есть закон, он один для всех. Только так можно установить подлинную справедливость.

А пуще всего карается купля и продажа земли. Оба, кто продает и кто покупает, подлежат смертной казни как изменники делу Республики.

И армия имеется в его республике. Она содержится для обороны от иностранного вторжения либо поднимается для защиты от невыносимого гнета, чтобы свергнуть негодных

правителей и покарать темных людей, ищущих своей собственной корысти.

Элизабет опять вздыхала. И удивлялась: где ссылки на откровение? На духа, явившегося ему ночью и произнесшего громовые слова? Где поиски бога? Ничего такого не было в «Законе свободы». Он земной и о земном. О людях, их жизни в этом мире, о справедливости мира сего. Высокой, но здешней, человеческой справедливости. А что будет там, за гробом? Горькие и трезвые слова звучали в ответ: «Постичь бога вне творения или узнать, что будет с человеком после смерти, помимо разложения его на сущностные элементы, — огонь, воду, землю и воздух, из которых он состоит, — есть уже познание за гранью черты или способности человеческих достижений...».

...Видимо, она забылась ненадолго в легком сне, сидя над книгой, и привиделась ей странная, удивительная картина: будто сидит она в незнакомой уютной комнате у очага и два маленьких мальчика — ее сына — играют возле ее ног, лепеча нежными голосами. Дверь открывается, и входит Джерард — ее Джерард. Его голова совсем седая, но голос бодр и взор ясен. Он целует ее, садится рядом у очага и рассказывает ей — что-то о хлебе... о друзьях... о помощи бедным... Мальчики строят на полу домик и стучат деревянными чурками, все выше поднимаются стены, все громче удары молотков...

В дверь стучали уже, кажется, несколько минут. Джон пришел звать ее к завтраку. Мачеха сердилась.

— Нет, нет... Я не могу... Скажи, я нездорова...

А она читала последнюю главу «Законы о браке». И слезы капали на серые страницы. «Каждый мужчина и женщина будут располагать полной свободой вступить в брак с тем, кого они полюбят... и ни рождение, ни приданое не смогут расстроить союза, потому что все мы одной крови, одного человеческого рода...» Книга кончалась стихами.

*Вот праведный закон. Скажи, о человек,  
Поддержишь ты его — или убьешь навек?  
Являет правда свет, а ложь имеет власть.  
Как видя это все, в отчаяние не впасть?*

Стихи эти говорили ей о нем лучше, полнее, чем все девяносто страниц книги. Она снова увидела его перед собой — широкоплечего, темноволосого, с тяжелой благородной головой и скрытым выражением страдания на лице. Она любила только его, а он любил весь мир, и скорбь этой великой любви тяжким бременем лежала на его душе. Скорбь и стремление исправить зло...

*Что ранишь, знание, зачем не исцеляешь?  
Я не стремлюсь к тебе: меня ты обольщаешь.  
Чем больше знаю я, тем боле дух скорбит,  
Изведав тот обман, который мир таит.*

Он испил злобу людей, узнал предательство и жестокость. Он испытал нечеловеческие муки — муки души, призванной творить добро в этом мире. И ничего не боялся.

*Ты нынче друг, наавтра стал врагом.  
Все клятвы рушатся, добро встречают злом.  
О где же власть, что может мир спасти,  
Согреть сердца людей и правду принести?*

Слезы капали все чаще.

*О, где ты, смерть? Простишь, излечишь ли недуг?  
Я не боюсь тебя, приди, мой милый друг.*

*И плоть мою возьми, и прах в земле сокрой,  
Чтоб вновь я мир обрел, единство и покой.*

— Бетти, Бетти! — в дверь стучали. — Бетти, открой, это я!

Она откинула щеколду, и Джон широкими шагами вошел в комнату.

— Прочла? Замечательно, да? Ты знаешь, друзья говорят, что так все и будет! Ты что, плачешь? Не плачь, он наш! Он придет к нам, вот увидишь. Мы еще будем вместе. И закон свободы воссияет...